

МАСТЕР

СЕРИЯ

АЛЕКСЕЙ Л. КОВАЛЕВ

СИЗИФ



ЛИМБУС ПРЕСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА

Алексей Л. Ковалёв

Сизиф: Роман. — СПб.: ООО "Издательство «Лимбус Пресс»",
2003. — 384 с.

Согласно древнегреческим мифам, Сизиф славен тем, что организовал Истмийские игры (вторые по значению после Олимпийских), был женат на одной из плеяд и дважды сумел выйти живым из царства Аида. Ни один из этих фактов не даёт ответа на вопрос, за что древние боги так сурово наказали Сизифа, обрекая его на изнурительное и бессмысленное занятие после смерти. Артур, взявшийся написать романа о жизни древнегреческого героя, искренне полагает, что знает ответ. Однако, работа над романом приводит его к абсолютно неожиданным открытиям.

Исключительно глубокий, тонкий и вместе с тем увлекательный роман «Сизиф» бывшего актёра, а ныне сотрудника Русской службы «Голоса Америки»

ISBN 5-8370-0081-X

© Алексей Л. Ковалёв / ООО "Издательство «Лимбус Пресс»", 2003

© Е. Г. Рабинович, послесловие, 2003

© А. Веселов, оформление / ООО "Издательство «Лимбус Пресс»", 2003

© Оригинал-макет / ООО "Издательство «Лимбус Пресс»", 2003

СИЗИФ

“...these are the pasts we need to have had in order to become the people we think we are”.

Michael Dirda. “Another Fine Myth”

«...это – прошлое, которое нам было бы необходимо, чтобы мы стали теми, кем, по нашему разумению, являемся».

Майкл Дёрда. «Еще один прекрасный миф».

1993-1997

ОГЛАВЛЕНИЕ:

	Стр.
Глава 1.....	3
Глава 2.....	20
Глава 3.....	38
Глава 4.....	50
Глава 5.....	80
Глава 6.....	99
Глава 7.....	128
Глава 8.....	181
Глава 9.....	216
Глава 10.....	237
Глава 11.....	256
Глава 12.....	273
Глава 13.....	296
Послесловие. Елена Рабинович.....	297

1.

Вы ждали эту книгу достаточно долго, и, отнимая у вас ещё несколько минут, я делаю это лишь из уважения к вам и к самой книге.

Поскольку именно мне выпала честь её представить, я почел своим долгом избавить вас от затруднений с которыми встретился сам, когда рукопись впервые попала мне в руки. Она не предназначалась для публикации и не была оснащена той необходимой расположенностью к читателю, которая делает книгу доступной и притягательной с первых страниц. Кроме того, обстоятельства, сопутствовавшие её возникновению, оказались столь непосредственным образом связанными с её сюжетом, что одно никак нельзя было оторвать от другого. А записи этих обстоятельств велись автором и вовсе небрежно, и тут мне пришлось приложить руку, о чём я не могу не предупредить заранее, как и о том, что всю ответственность за непредвиденные последствия, связанные с опубликованием книги, готов, в соответствии с желанием её автора, взять на себя.

Наконец, предмет авторского интереса сам по себе нуждается, кажется, в том, чтобы его хотя бы поверхностно представили. Я допускаю даже, что прочитав название книги, вы в какой-то мере рассчитывали на ту или иную форму пояснений.

Мир, который автор облюбовал для своего исследования, кажется нам относительно знакомым. Неуверенность же наша отчасти объясняется тем, что традиция велит считать миф наивной формой первоначальных религий. И поскольку позднейшие, более совершенные формы мы принимаем за собственное достижение и неотъемлемую принадлежность, властители Олимпа, их помощники и управляемое ими человечество древней Эллады вызывают у нас улыбку.

Осложнения наступают когда выясняется, что вопрос о том, насколько мы действительно владеем свежими религиозными идеями, а они - нами, и в какой мере их можно считать нашим достижением - вопрос болезненный. Конечно, всегда остаётся выход не утруждать себя поисками ответа, но без полного права на новую истину чувство превосходства над старой теряет пряность. Откладывая выяснение отношений с категорическим императивом и испытывая временами некоторую дезориентацию, мы иногда непрочь вникнуть в коллекцию мифов, щедро завещанную нам древними авторами и их популяризаторами, но тут нам быстро приходится убедиться в наивности собственной. Мифическая древняя Греция как бы возвращает нам улыбку.

К тому моменту, когда стали появляться первые страницы рукописи, автор её оставил далеко позади ощущение такого *qui-pro-quo* и ориентировался в том мире довольно свободно. Нам же, чтобы свободно за ним следовать, придется в экономные сроки обзавестись неким подобием его осведомленности.

Я не предлагаю вам осваивать цикл за циклом, углубляться в списки легендарных имен и их запутанные родословные. Наше знакомство будет носить любительский характер, что как раз в наибольшей степени соответствует положению застигнутых врасплох. Нам нужно лишь слегка освоиться в особой атмосфере удивительных происшествий и отношений, а вовсе не приобрести какое-то критическое количество знаний.

Оглядим сначала со стороны – скажем, с вершины Арарата эту страну, крепко вросшую в южную часть европейского материка, окунувшуюся в синие воды Средиземного моря и разбросавшую вокруг себя множество островов в титанической попытке дотянуться до Африки и Малой Азии. Именно тут, среди олив и виноградников, каменистых склонов, глубоких заливов, огнедышащих вулканов и землетрясений создавалась одна из наиболее впечатляющих летописей сотворения мира. Может быть, нам следовало бы сказать «восстанавливалась», так как есть предположение, что люди, заселившие эту землю, были беженцами, спасались от сокрушительного катаклизма, случившегося с Атлантидой, где подобная летопись была, в сущности, хроникой, отражая события повседневной жизни.

Из этой летописи мы выберем наугад несколько лиц и сюжетов, по большей части второстепенных, не входящих в основной мифологический канон, чтобы не испытывать чрезмерной ответственности и не чувствовать себя обязанными прийти непременно к каким-то окончательным выводам. Наша задача – уловить отдельные позы, цвета, запахи и звуки, напомнить себе еще раз о сверхъестественном могуществе неземных сил и о скрытых возможностях человека, одним словом - освежить в памяти то, что нам, в общем-то, известно.

Опустим те сюжеты, где говорится о начале начал, о сотворении мира, об Уране-небе и Гее-земле, не бывших еще нашими небом и землей, а представлявших собой вселенского масштаба энергии, трудившиеся над превращением Хаоса в Космос, и в борении своем производившие на свет столь же неохватных для нашего сознания киклопов и гекатонхейров. Чтобы лишний раз убедиться, насколько все это от нас скрыто, давайте вспомним хотя бы, что отпрысков своих Уран, ужаснувшись их видом и силой, сбросил в Тартар, удаленный от поверхности земли на такое же расстояние, как земля от неба, и попробуем вычислить мрачное местечко. Во всяком случае, эта ранняя метафора относительности подтверждает, что речь идет не о знакомых нам небе и земле. Кроме того, и самого Аида, угрюмой сердцевиной которого должен был быть Тартар, тогда существовать не могло, Аиду только предстояло появиться в третьем поколении богов, и этот анахронизм мы как раз можем попытаться понять, потому что времени тогда тоже еще не было. Оно, а точнее говоря, он – Кронос вступил в свои права после уже после того, как участь уродов привела в отчаяние их мать Гею.

Об этом следующем производном изначальных сил, поколении титанов и титанидов, мы также лишь упомянем, и они были больше похожи на идеи явлений, чем на сами явления, о чем можно судить по их нарицательным именам, таким, как Океан, Мнемозина-память, богиня законного порядка Фемида или уже названный Кронос.

И только третье поколение приближается к нам настолько, чтобы мы с трудом, фрагментарно, но успевали уследить за перемещениями и взаимодействиями этих богов, хотя бы потому, что их предводители поделили между собой власть над небом, океаном и землей, стало быть – было что делить. А потом, они не только создали человечество, но вступали с ним в интимные отношения, и появление их общего потомства значительно укрепляет в наших душах ощущение связи, невообразимо дальней, но безусловно имеющей место.

Последнее, о чем я хочу напомнить, переходя к ряду древнейших судеб, это о неустойчивости времени в тот период. Оно уже существовало, но не выбрав еще направления и меры, не определив окончательно своих отношений с Вечностью. Нам, приученным складывать события на исторические полки, эта аритмия очень мешает составить себе более или менее полную картину той, в некотором смысле на удивление компактной эпохи. Будет легче, если постараться с самого начала избавиться от привычного, но не такого уж необходимого стремления ставить одно происшествие в затылок другому и задаваться вопросом: сколько лет было тому или другой, когда они родили третьего. История, как таковая, соединилась в сознании людей с одной из дочерей Зевса и Мнемозины, музой по имени Клио, но произошло это гораздо позже. Вначале Клио воплощала собой прославление героических событий вне какой-либо их последовательности, не более того.

Теперь обратимся к самим доисторическим событиям.

Грозное оружие, от которого никому не было спасения, досталось красивому, мужественному Кефалу только после того, как он испытал горькое разочарование, а затем жгучий стыд. Древний автор^{1*} рассказывает, что Кефалом, мужем красавицы Прокриды увлеклась богиня утренней зари Эос, которая, похитив его, сделала своим возлюбленным. Кефал выполнял новые обязанности очень неохотно, богиня отослала его обратно, спросив на дорогу, так ли уж он уверен в столь же глубокой привязанности жены, и тот решил Прокриду испытать. Испытания она не выдержала. После того, как была удвоена предложенная сумма вознаграждения, она согласилась прийти в дом некоего незнакомца. Незнакомец оказался вымышленным, встреченная самим Кефалом и уличенная в неверности Прокрида сбежала от стыда на Крит, самый большой остров в архипелаге, удаленный от собственно греческой земли на севере на такое же расстояние, как от Ливии и Египта на

Юге.

Там она совершила доброе дело, научив отчаявшегося царя Миноса, как себя вести, чтобы у него появились дети. За это Минос подарил Прокриде дротик и собаку. То и другое были неотразимыми охотничьими средствами, ибо от дротика нельзя было увернуться, а от собаки убежать. Вооруженная таким образом, Прокрида вернулась в Аттику и стала охотиться вместе с мужем, который ее не узнал, так как она выглядела юношей, сменив одежду и прическу. Кефала вдруг покинула удача - вся дичь доставалась новому напарнику – и он выразил желание разделить волшебное снаряжение. Прокрида, все еще в мужской роли, предложила отдать ему дротик, если он согласится возлечь с ней на ложе любви. Кефал принял предложение, и у Прокриды, открывшей свое истинное обличье, появилась возможность вернуть супругу обвинения в измене, язвительно приправленные готовностью Кефала к однополый любви.

Счеты были сведены, униженный красавец получил и дротик, и собаку, и на этом след Прокриды теряется. По другой версии супругов помирила воительница Артемида, у которой Прокрида спасалась от позора, и она же подарила Кефалу убийственное двойное оружие. Но это примирение не привело к добру, так как жена, услышав однажды поэтические призывы охотника остудить его разгоряченное тело, обращенные к богине облаков Нефеле, всплакнула в кустах. Кефал решил, что там спрятался зверь, метнул дротик, и все было кончено в мгновение.

В обоих случаях у сюжета остается нерастроченный запас инерции, пользуясь которым, мы продолжаем следовать за судьбой мифической собаки. Кефал предоставил ее в распоряжение Амфитриона для охоты за столь же удивительной лисицей, похищавшей жителей Кадмеи. Кроме прозорливости и людоедства, это чудовищное создание обладало еще свойством неуловимости: ни одно существо в мире не способно было ее догнать. Быстроногая собака долго бегала за стремительной лисицей, пока на фиванской равнине они не попались на глаза Зевсу, и тот разрешил противоречие, обратив обеих в камни, которые и венчают миф о взаимной неверности и сверхъестественных, но несогласованных способностях.

От этой истории мы переходим к нескольким фрагментам путешествия аргонавтов. Это побочные эпизоды грандиозного предприятия, с успехом осуществленного группой героев, отправившихся во главе с Язоном на корабле Арго за Золотым Руном в Колхиду.

Отвага героев, среди которых мелькают имена Орфея, Тезея, неразлучных Кастора и Полидевка, будущего бога врачевания Асклепия, да и самого Геракла, правда, раздумавшего на полдороге продолжать поход, их решимость была столь велика, что они вышли в море, еще не зная пути в Колхиду. А страна эта располагалась на дальнем

восточном побережье совсем другого моря, глубоко влившегося в европейский материк Эвксинского Понта, теперь называемого Черным. Помог им слепой прорицатель Финей, когда путешественники, прощупывая берега знакомого моря - Эгейского, поднялись вверх, повернули на восток и оказались в его фракийских владениях. Наделив даром ясновидения, боги затем ослепили Финея за то, что он этой способностью злоупотреблял и слишком точно предсказывал. Иногда приводят другую причину: он будто бы указал обратную дорогу в Элладу детям Фрикса - того самого, который, спасаясь от безумного отца, улетал вместе со своей сестрой Гелой в Колхиду на золотом баране. Эта вторая причина слишком темна для нас. Мы встретимся еще с несколькими абсурдными мотивами и происшествиями, и тогда попробуем их хоть как-то оценить.

Слепота была не единственным наказанием богов. Вторая жена внушила Финею, что в его недуге виновны ее пасынки, он поверил, заточил сыновей в темницу и был наказан еще раз - прорицателя мучали Гарпии, крылатые существа, слетавшиеся каждый раз, как только Финей садился за стол. Они уничтожали почти всю еду, оставляя за собой такое зловоние, что не могло быть и речи о продолжении трапезы. Довольно грустное зрелище, не правда ли: несчастный старик, которому окружающий мир непрерывно подает сигналы, ничего не значащие для остальных, но заставляющие его сознание без устали трудиться над их прочтением, старик слепой и голодный, судорожными взмахами ослабевших рук наугад отгоняющий вонючих, прожорливых, вьющихся над его столом тварей. Финей согласился указать аргонавтам дорогу, если они избавят его от Гарпий. К счастью, среди героев оказались братья Зет и Калаид, у которых тоже были крылья. Вонючкам устроили засаду и затем преследовали их, пока те не дали клятву не обижать Финея. Летучие братья встречались с фракийским царем не впервые, в его судьбе они уже успели перед тем развязать один узел. Зет и Калаид были детьми северного ветра Борея, как и первая жена прорицателя, Клеопатра, и, стало быть - дядьями заточенных Финеем мальчишек. В свое время они освободили племянников и помирили с отцом, после чего тот отослал оклеветавшую их мачеху домой. На гарпий, однако, это впечатления не произвело.

Оттеняет эту побочную линию то обстоятельство, что матерью Зета и Калаида была все та же утренняя заря Эос, так неудачно вмешавшаяся в счастливый брак Прокриды и Кефала, о котором мы уже вспоминали. Я привожу здесь эту подробность не с тем, чтобы побудить вас к каким-либо умозаключениям, а лишь для того, чтобы сохранялось ощущение тесного единства того мира, который мы начали обходить по периферии. А теперь – интересующая нас грань сюжета. Благодарный слепец разъяснил аргонавтам, как им добраться до цели, чего ожидать в пути и как себя вести на месте. Не скрыл он и опасности, которая ожидала путешественников в Босфорском проливе. Симплегады - так назывались две скалы, сдвигавшиеся, как только между ними оказывался корабль. По совету

Финея аргонавты выпустили сначала голубку, и она сумела пролететь, оставив в сомкнутых камнях несколько перьев хвоста. Столь же удачно проскочил и Арго, лишившись только кормовых украшений. Тут, кажется, имела место некоторая психологическая уловка. Симплегадам не следовало реагировать на голубку, но в возбужденном ожидании новой жертвы, которая уже находилась в пределах видимости, они, вероятно, попались на обманное движение, а для следующего удара им все-таки нужно было разойтись. С тех пор скалы оставались неподвижными, ибо таковым был предначертанный им конец, если они пропустят хотя бы один корабль.

Покидая эту историю и оставляя за спиной еще два неподвижных камня, мы обращаемся теперь к делу другого слепца.

Тиресий был сыном нимфы Харикло, которая дружила с самой Афиной, но эти полезные отношения как раз и привели к потере юношей зрения. Охотясь поблизости от матери, он увидел подруг купающимися в быстрых водах Ипокрены, богиня вскрикнула, и Тиресий ослеп. Горькие упреки матери ни к чему не привели, Афина объясняла, что несчастье произошло не по ее вине, никому нельзя безнаказанно смотреть на божество без его разрешения. Но в утешение обоим она наделила слепого даром предвидения, долголетием и кизилковым посохом, позволявшим ему передвигаться не хуже зрячего.

Возможно, именно так и произошло, но мы обязаны упомянуть и другую версию, которую разыскал Овидий, тем более, что тут действуют божества гораздо более могучие. Зевс и его супруга Гера сочли, что единственно справедливым арбитром в их споре о степени наслаждения, испытываемого мужчиной и женщиной от близости, может быть только Тиресий, который в то время еще прекрасно видел и уже успел побывать и тем, и другой. По какой-то причине ему однажды сделалось невыносимым зрелище спаривающихся змей. Он прервал любовную игру пресмыкающихся ударом палки и в тот же миг превратился в женщину и оставался ею в течение семи лет. Не следует забывать, что срок этот условен. Число семь заслуживает всяческого уважения, но длительность года в те времена была еще неустойчивой, как и само долголетие, дарованное впоследствии Тиресию. Известно например, что он прожил семь или девять человеческих жизней. Так или иначе, женщиной он побывал и вернулся в мужское естество лишь спустя некоторый срок, когда вновь счастливо наткнулся на двух змей, свившихся страстным жгутом. Уже предполагая возможные последствия, Тиресий не поколебался еще раз влезть в чужие дела с помощью палки и вновь стал мужчиной. Так что выбор верховных олимпийских супругов был обоснованным.

Судья решил спор в пользу Зевса, объяснив, что восторг, испытываемый женщиной в девять раз сильнее ощущений мужчины. Тут-то Гера и лишила его зрения. Супруг, будучи не в праве отменить волю другого божества, возместил утрату даром прорица-

ния и долгой жизнью. Наградой Тиресий пользовался смело. Достаточно сказать, что именно он открыл царю Эдипу глаза на то, что тот убил своего отца и женился на матери, после чего и царь себя ослепил, не захотев больше смотреть на мир.

Но вот отблестали могучие имена, отшумели тяжкие приговоры и вести о щедрых дарах, а в сознании продолжает тускло светиться крошечный уголек – представление о двух ничтожных созданиях, нашедших друг друга в горячей пыли.

Конечно, зрелище беспросветной тьмы, обрушивающейся на человека, который несколько не подготовленным встречается лицом к лицу с обнаженным божеством, завораживает. Хотя, чудится в этом явлении и нечто само собой разумеющееся, как и в том, что с несчастьями, посылаемыми нам богами, неизменно соседствует удача, или наоборот. Впечатляет и идея соразмерить мужские и женские наслаждения. Но едва слышное любовное шуршание пары ядовитых тварей, которым в этот момент не до сравнений, предчувствие восхитительной судороги, безжалостно прерванное сухим ударом палки, просто наводит смертельный ужас. Недаром такой поступок потрясает всю природу обидчика до основания, так что от прежнего его ничего не остается.

Попрощавшись с Тиресием, мы отправляемся, наконец, на остров Крит, где обитает уже названный нами Минос.

Он был рожден Европой, которую Зевс унес на Крит, приняв для этой цели облик смиренного быка, и стал в конце концов правителем острова, но не без дополнительных ухищрений. У него были два брата, и право Миноса на власть не было безусловным. Он же утверждал, что это право принадлежит ему по воле богов, и доказывая, что любая его просьба к ним будет выполнена, взмолился Посейдону, чтобы тот выслал ему из пучины быка, который тут же будет принесен обратно в жертву морскому богу. Явившийся бык был так хорош, что Минос удержал его на своих пастбищах, а в жертву принес другого.

Недовольный Посейдон внушил своему быку свирепость, а жене Миноса Пасифае – страсть к этому животному. Тут мы знакомимся с новым лицом, талантливым строителем, мастером на все руки Дедалом, к которому обратилась за помощью потерявшая голову царица. Он изготовил для Пасифаи полую деревянную корову, обтянул ее шкурой, женщина спряталась внутри и утолила свое вожделение, родив в результате Астерия – человека с головой быка, получившего прозвище Минотавра. Три причины удержали Миноса от того, чтобы решительно разделаться с уродливым плодом греха: прежде всего, он сам обманул Посейдона, и совесть его была неспокойна; кроме того, из-за мерзкого физиологического качества он не мог дать жене детей; и наконец, боги сообщили ему с помощью оракулов, как следует поступить с Минотавром. Тот же Дедал выстроил во дворце в Кноссе сложный лабиринт, куда и был заключен человеко-бык.

Позднее судьба этого устрашающего, но убогого создания была фатальным образом решена Тезеем. Он прибыл на Крит вместе с тринадцатью другими жертвами, которых ежегодно поставляли Миносу Афины в качестве расплаты за убийство сына Критского царя во время спортивных состязаний. Другие источники указывают, что эту скорбную дань Афины платили раз в девять лет, но мы уже знаем, что год в этих случаях – понятие относительное. Тезей избежал двойной опасности безвыходного лабиринта и голодного Минотавра, благодаря собственному мужеству и содействию девы. У Миноса к тому времени появились собственные дети, в чем, как вы помните, ему помогла красавица Прокрида, которую загнал на остров стыд. Вот одна из его дочерей, Ариадна, влюбившись в афинского героя, и вручила ему клубок ниток. Это простое приспособление, облегчившее Тезею обратный путь из лабиринта после того, как он задушил Минотавра, сохранилось в нашей памяти как нить Ариадны, в самом деле спасительная, путеводная нить.

Но мы вновь слишком приблизились к каноническим, парадным и громким событиям греческой мифологии. Пора вернуться на менее людные, не столь популярные, не усыпанные метафорами пути. Один из них мимолетным касанием соединяет загадочный остров Крит с аргонавтами. Их победоносный обратный путь был, однако, извилистым и в какой-то момент привел к острову, пристать к которому им помешал Талос, медный человек или, по некоторым свидетельствам, опять-таки бык. В любом случае у него была всего одна жила, тянувшаяся от шеи до лодыжек и заткнутая медным гвоздем. Охраняя остров, Талос трижды в день обегал его кругом, и лицезрение этой сверкающей точки – ярко розовой на утренней заре, ослепительно алой в полдень и зловеще багровой в лучах закатного солнца должно было внушать трепет проплывавшим мимо путешественникам. Тех же, кто пропустил это зрелище или, не смутившись им, отважился причалить, ждала мучительная гибель: Талос бросался в костер и, раскалившись, заключал незваных гостей в объятия.

В этот раз он не стал дожидаться высадки и начал забрасывать приближающийся Арго камнями. Но измученные долгими морскими скитаниями аргонавты, которым необходимо было передохнуть, воспользовались коварными способностями Медеи, супруги своего предводителя Язона. Она пообещала Талосу сделать его бессмертным и вытащила гвоздь, удерживавший в его жиле ихор – божественную кровь. Все же какая-то тревога от встречи с медным человеком не давала аргонавтам покоя и после его смерти. На Крите они оставались всего одну ночь.

Я закончу критский раздел предисловия последними днями Миноса, этого во многих отношениях выдающегося правителя, удостоившегося чести быть одним из судей в загробном мире, собственная кончина которого была, однако, жалкой. Когда Тезей одолел Минотавра, избавил Афины от жестокой дани Криту и отбыл с острова вместе с Ариадной, Минос начал искать виновного, которым оказался Дедал. Это он по просьбе Ариад-

ны подсказал ей, как можно выбраться из лабиринта. В тот же лабиринт Минос и заключил Дедала. Изобретательский дар строителя был, однако, неистощим, ему удалось вылететь из темницы вместе со своим сыном Икаром, сделав две пары крыльев. Икар, как известно, послушался отца и поднялся слишком высоко, где солнце растопило клей, скреплявший хитроумное приспособление. Дедал же благополучно, хотя для него это слово, возможно, потеряло всякий смысл, приземлился в Сицилии.

Пустившись на поиски беглеца, Минос взял с собой раковину, закрученную волнами и ее прихотливым обитателем в спираль, что еще раз подтверждает живость ума критского царя. Обещая большую награду тому, кто сумеет продеть сквозь эту раковину нить, Минос надеялся обнаружить присутствие редкого умельца. Местный царь Кокал, у которого Дедал скрывался, пообещал выполнить заказ и отдал раковину ему. Изобретатель запустил в недра морского чуда муравья, обвязав его ниткой. Получив украшение, Минос догадался, что без Дедала тут не обошлось, и стал требовать его выдачи. Ему морочили голову, продолжая оказывать гостю всяческое внимание, но во время очередной бани он неожиданно скончался. Говорят, что дочери Кокала прониклись к умельцу таким почтением, что облили Миноса кипящей водой.

Завершая линию критской династии, закручивая ее, так сказать, окончательно, выжимая из нее остатки смысла, внук Миноса Алтемен сначала лишил жизни сестру, а потом отца. Апомосина пала жертвой настойчивого внимания Гермеса. Этот олимпийский посланец, который не мог просто догнать девушку – она быстро бегала – расстелил на ее пути свежесодранные шкуры животных. Набрав в источнике воды, она выходила на дорогу, поскользнулась, и Гермес ею овладел. Жертва насилия чистосердечно рассказала обо всем брату, но тот решил, что она лукавит, пытаясь скрыть свою вину, и убил ее ударом ноги.

Ну, вот тут, пожалуй, пора разобраться в этих случайностях.

В первый раз, если помните, мы встретились с одной из них в мифе о прорицателе Финее, которого ослепил Посейдон за то, что тот указал сыновьям Фрикса путь домой в Элладу. Какое дело было морскому богу до детей изгнанника, тетка которых, несчастная Гела не удержалась к тому же на золотом баране, уносившем ее с братом в Колхиду, упала в Геллеспонт, названный затем ее именем, и стала невольной щедрой жертвой тому же Посейдону? Никто даже не пытался это объяснить.

А теперь еще несколько примеров.

Ойней принимал кое-какое участие в известных событиях, первым, например, получил от Диониса виноградную лозу, а дочь его, Деянира, стала женой Геракла. Но нас интересует лишь один ранний эпизод его биографии.

Женившись, он породил сына, которого сам же убил за то, что тот перепрыг-

нул ров. Больше никаких подробностей не сообщается, и тем, кто приучен в любом мифологическом событии угадывать существенную подоплеку мироздания, придется сломать себе голову, прыгая вместе с мальчиком через ров раз за разом к неизменной гибели. Разве что они примкнули к сторонникам осторожного прогресса, утверждая, что не так уж много времени прошло с тех пор, как Кронос глотал всех своих детей, как только они появлялись, вообще без всякой причины. Не считать же, мол, причиной предупреждение о гибели от рук собственного сына, потому что, если такого бояться, нечего было и огород городить. Но если посмотреть трезво, то, хотя мы и не знаем еще, в какой точке времени находимся, мир освоен уже более чем десятью поколениями, и никто давно не убивает своих детей ни с того, ни с сего. Да и сам Ойней с другими сыновьями и дочерьми обращался гораздо бережнее.

Амфитрион выкупил и вернул микенскому царю Электриону угнанный скот, но при передаче его бросил в отбившуюся от стада корову дубинку, которая отскочила от рогов, попала царю в голову и сразила его наповал. И не было в этом никакого смысла, так как тот уже успел передать убийце не только правление страной, но и свою дочь.

Отдельную главу могут составить покушения сыновей на отцов. И я говорю не о масштабных событиях космического характера, таких как оскпление Кроносом Урана, и не о трагических стечениях обстоятельств, как в случае Эдипа.

Тот же Алтемен, убивший сестру ударом ноги, уже знал к тому времени, что оракул предсказал его отцу Катрею гибель от руки одного из сыновей. Не желая стать убийцей родителя, он покинул дом и обосновался на острове Родос, лежащем у турецкого берега и составляющем вместе с ним, а также с Критом и материковой Грецией, чашу Эгейского моря. Когда Катрей почувствовал приближение кончины, он решил передать власть сыну и отправился на Родос. Местные пастухи приняв критского царя и его спутников за пиратов, стали обороняться. Катрей пробовал объяснить мотивы своего появления, но пастухи, не расслышавшие его слов из-за лая собак, продолжали бросать камни. Алтемен, поспешивший на помощь своему люду, быстро довершил дело, метнув дротик и убив отца.

Мы кое-как смиряемся еще с глухотой черни, не способной утихомирить своих собак, но близорукость сына вызывает отчаяние и укор богам, которые нечто пообещав, не желают вносить в свои обещания необходимые поправки, даже когда пророчество плетется позади самих событий. Узнав о своем преступлении, Алтемен взмолился богам, и его поглотила расступившаяся земля, что никак еще не разрешает, на мой взгляд, загадку суматошного, под собачий лай убийства.

Необъяснимо печальна судьба предводительницы амазонок Ипполиты. Выполняя по приказу царя Эврисфея свой девятый подвиг, Геракл отправился за поясом Иппо-

литы, которого пожелала царская дочь. В порту Темискиры, в дальней дали, между Колхидой и Крымом, куда Гераклу пришлось на этот раз добраться, его встретила сама Ипполита и спросила, чего хочет герой. Переговоры, видимо, были взаимно уважительными, так как пояс Гераклу был обещан без каких бы то ни было условий. Но в стане амазонок возникло смятение, посеянное богиней Герой, внушившей девам, что Геракл насильно увозит их царицу. Увидев вооруженных всадниц, он заподозрил ловушку, убил Ипполиту и, сразившись с остальными воительницами, отбыл домой, намотав на мускулистую руку пояс – подарок бога войны Ареса, бесполезный отныне знак главенства Ипполиты среди лишившихся правительницы амазонок. Есть и другие, не столь кровавые, как Аполлодорова, версии, но каждая по той или иной нелепой причине сводит на нет величие воительницы, этой земной ипостаси Артемиды.

Надо сказать, что Гера преследовала своего пасынка Геракла с самого младенчества, в котором также есть событие, способное вызвать недоуменное пожатие плеч. Мне придется еще раз назвать имя Амфитриона, который, как вы помните, уговорил Кефала использовать волшебную собаку в погоне за кровожадной лисицей, а позднее неловким броском дубинки убил своего тестя. Приняв его облик и превратив одну ночь в три, к жене Амфитриона, Алкмене в отсутствие супруга явился сам Зевс. По возвращении муж заподозрил неладное и в прохладном поведении жены, и в ее неправдоподобных объяснениях. Прибегнув к помощи ясновидца Тиресия, тоже упоминавшегося выше, он узнал правду. Алкмена тем временем родила с разницей в одну ночь двух мальчиков. Затянувшиеся и, тем не менее, одновременные роды сыновей от разных отцов тоже достойны внимания, но настоящее недоумение приходит, когда нам рассказывают о способе, использованном Амфитрионом, чтобы узнать, который из них его наследник. Он запустил в постель младенцев двух змей, справедливо посчитав, что родная кровь, если не умрет от ядовитого укуса, то проявит себя самым постыдным образом, тогда как его сводный брат поведет себя, как мужчина и божий отпрыск. Ификл побежал, Геракл вступил в борьбу и задушил гадов.

Остальные похождения Геракла хорошо известны, и чтобы держаться по-прежнему в отдалении от триумфальных событий, мы ограничимся одним его именем. Отметим только, что вспышки ревности, овладевавшие время от времени женой Зевса Герой, приносили Гераклу немало хлопот. Так его знаменитые подвиги были добровольной расплатой героя за убийство собственных детей в припадке безумия, тоже внушенного ему Герой. С этими смертями давайте примиримся, ибо наивно задавать вопросы безумию.

Но вот одно позднее событие в жизни матери Геракла, Алкмены может служить дополнительной иллюстрацией бессмыслицы. Геракла уже не было в живых, а оставшиеся дети его спасались от преследований Эврисфея, который все никак не мог

свыкнуться с мыслью, что лишился такого исполнительного и могучего слуги, смиренно выносившего любые подлости и в конце концов совершившего вместо десяти положенных подвигов все двенадцать. Однажды афиняне, вступившись за потомков героя, помогли им избавиться от преследователя. Самого Эврисфея настиг сын Геракла Гилл и привез его голову бабушке, которая выколола у нее глаза ткацким челноком. Но обо всем этом довольно сказано – как часто повторяют древние повествователи, вежливо скрывая, может быть, понятное раздражение.

Суть в том, что примеров бессмыслицы хватает и без крайних поступков, лишаящих жизни или жизненно важных функций, как наперед, так и задним числом.

Некто Главк - это имя встречается много раз и принадлежало самым разным людям, но тот, о ком идет речь сейчас, ничем особенным не отличился – так вот Главк, еще один из сыновей критского царя Миноса, будучи ребенком, погнался за мышью, упал в бочку с медом и утонул. Из-за одного этого недоразумения, мягко говоря, не стоило бы, наверно, прибавлять лишнее имя к сонму Главков, да и ко всей бесчисленной галерее лиц, действовавших в мифологические времена. Хотя у того злополучного мальчишки, вся судьба которого состояла в прыжке через ров навстречу смертоносному возмущению отца, тоже было имя – Токсей.

На этот раз, по крайней мере, бочка с медом не оборвала жизнь недотепы. С помощью гадателя Полиида, жившего в пелопонесском Аргосе, в западной части кольца, в которое опрарвлено Эгейское море, отцу удалось не только найти мальчика, но и оживить его. Наградой же спасителю был запрет возвращаться домой, пока он не научит Главка искусству прорицания. Полиид выполнил требование, но перед тем, как отплыть в Аргос, попросил ученика совершить ритуальный жест приплеывания, сказать «тьфу» в рот учителю. Тот послушался и забыл все, чему был обучен. В этом легкомысленном, последовательном зачеркивании двух нешуточных даров – жизни и ясновидения – как раз и состоял смысл существования малолетнего Главка.

Но довольно об этом в самом деле. Мы ведь замечаем, как жадно наш мозг пользуется нелепостями, чтобы злословить по поводу того, что понимать не обязательно. Отточив остроумие на мелочах, мы, чего доброго, рискнем испытать свою иронию на более значительных сюжетах. Но не трудно сообразить, что долгое, тяжелое давление людского скептицизма давно могло бы отцедить эти досадные семечки в частое сито забвения. Этого не произошло, раздражающие глупости по-прежнему соседствуют с безукоризненными подвигами, превращениями и сплетениями судеб, божеских и человеческих. И может быть, стоило бы признать еще один факт: все наши попытки высечь искру смысла, чиркая по мифу кремнем иронии, разогреть его на огне собственных идей, чтобы он, размягченный, вылился в полезные здравому сознанию формы, или

отжечь его в звонкую теорию долгим калением научного анализа, все эти усилия пропадают даром. Изрытый выбоинами, потрескавшийся и закопченный миф сохраняет прежнее достоинство, наводя на мысль о том, что в своих пластически-развлекательных формах он просто не осязателен и, стало быть, служит знаком какой-то другой реальности.

Но мы приближаемся, тем временем, к концу воображаемого пути, опоясывающего мифическую Элладу. Не ставя себе целью проникнуть в ее загадки, стараясь сохранять дистанцию, чтобы не попасть под магическое воздействие ее главных событий, мы осуществили ни к чему пока не обязывающее знакомство с людьми, героями и богами и с размахом совершаемых ими поступков. Мы заново убедились, что мир этот не прост, что посреди обычных людских переживаний и стремлений в нем действуют силы, превышающие человеческие возможности. Вместе с тем мы наблюдали и странные промахи этих сил. А иногда наше внимание причудливо удерживалось на третьестепенных подробностях, отвлекая от основных персонажей, событий и панорам. Я надеюсь, что вы сохраните и впредь это спокойное чувство недоверчивого любопытства, потому что нет, по моему мнению, другого способа вытянуть из гигантского клубка мифов золотую нить мудрости. От кропотливого нащупывания она ускользает, а энергичные подергивания оставляют в руках блестящие, но бесполезные обрывки, возможно способные обрадовать отблеском истины целое поколение, но затем неизменно тускнеющие, так как являются они, по существу, мертвой эпидермой бытия, подобной прядке волос, состриженной с детской головки.

Но если рассматривать этот мир с надлежащим почтением, не цепenea, однако, от его подавляющего величия, если не вздрагивать каждый раз, натываясь на знакомое громкое имя, и удержаться от броска к книжной полке за первичными знаниями о Персее и Андромеде, короче говоря, если верить своей интуиции, вам непременно откроется хотя бы одна из могущественных тайн мироздания не в этой, так в следующей истории, не сегодня, так завтра.

С любопытством поглядывая по сторонам, мы пройдем оставшиеся пару стадий, а я тем временем успею рассказать вам еще один-другой сюжет.

Во всем огромном цикле о Персее то тут, то там возникают отражения уже приведенных выше коллизий. Он родился от Зевса, просочившегося золотым дождем в подземный медный терем, куда спрятал Данаю ее отец, испугавшись предсказания о том, что внук принесет ему гибель. Но ни заточение, ни последующая попытка избавиться от дочери с новорожденным, ни побег Акрисия от возмужавшего Персея, который приехал повидать деда, не ведая о пророчестве - ничто не помогло. Участвуя в соревнованиях пятиборью в Лариссе, Персей метнул диск, попал Акрисию в ногу, и тот поспешил скончаться. Ларисса, главный город одной из северных областей Греции Фессалии, заслуживает особого внимания, так как именно тут, в многочисленной семье царя Эола

родился герой нашей основной истории, которая вот-вот начнется. Уместно будет завершить эту последнюю географическую справку упоминанием о том, что Фессалия, довольно равнинный край, расстилается у подножия самого Олимпа. Здесь следует ступать с особой осторожностью, так как головокружительное воздействие заоблачной вершины, где собрались властители мира, чрезвычайно велико. Сосредоточимся лучше на самом несчастном случае, лишившем дедушки одного из самых славных героев Эллады.

Можно предположить, что у запуганного предсказанием грека чрезмерно развилось воображение, и когда ребро тяжелого снаряда раскрыло ему лодыжку, он припомнил знаменитого Ахилла с его незащищенной пятой и испытал сильнейший шок соперничества. А могло сыграть роль несовершенство античной медицины, так что Акрисий умер от сильного кровотечения из вскрытой паховой артерии или от какой-то быстротекущей гангрены. Мы видели уже, что мифы отнюдь не гнушаются иногда самыми житейскими подробностями.

Одним из подвигов Персея было уничтожение Медузы Горгоны. Для наших прозаических целей можно называть ее горгоной Медузой, так как Медуза это было ее имя, а горгона – естество, объединяющее ее с двумя другими сестрами чудовищами, Эвриалой и Стено.

Горгоны были так невероятно страшны видом, что каждый, кто отваживался прямо на них взглянуть, превращался в камень. Даже одна голова побежденной Медузы продолжала действовать столь же неотразимо, чем и пользовался еще некоторое время Персей в стычках с врагами. В конце концов он отдал страшную голову Афине, которая поместила ее в центр своего щита. Тут нам снова хорошо бы не потерять легкости и беззаботности нашей прогулки и не споткнуться. Афина помогала Персею в течение всего предприятия, потому что преследовала собственные интересы. Дело в том, что горгона Медуза выразила желание состязаться с богиней в красоте.

Попробуем все же не задерживаться и не осуждать красавицу Афину. Что если у Медузы были какие-то, неведомые нам шансы, о которых догадался, например, Челлини, изваяв ее мертвое лицо притягательно прекрасным, с измученными, полными печали, закрытыми глазами?

Но вот в поле нашего зрения оказывается крылатый конь Пегас, выскочивший из тела горгоны при отсечении ее, покрытой змеями вместо волос головы. Вообразим, что нам удалось его оседлать, и, оставляя заверченный нами круг обозрения, вернемся к самому началу истории.

2.

Артур занимался одним древним греком, собрал интереснейшие подробности, и дело двигалось, пока работа не оборвалась категорическим внешним запретом. Грек вдруг явился собственной персоной, и попросил оставить его в покое. Поскольку возражения грека были, хотя и впечатляющи, но в определенном смысле эфемерны, а намерения Артура серьезны, он еще какое-то время упирался, однако вскоре их противостояние перешло совершенно в иную сферу, где авторское самолюбие перестало что-либо значить.

Я не составляю руководства по общению с потусторонним миром, могу только свидетельствовать со слов самого Артура, что вас будто бы свивает в тугой жгут, как скручивают сильные руки прачки мокрое белье и никаких внешних следов не остается. Говорят, что не так уж это несбыточно. Все, что требуется, это сильная вера, желание соединиться с вечным разумом, умеренная доля аскетизма, удержание от слишком явного зла, выбор одного из принятых формальных путей и значительное время. Но в случае Артура ни одной из этих предпосылок в полной мере не существовало.

Как я уже упоминал, героем этой истории должен был стать один молчаливый древний грек, а желание заняться его судьбой родилось у Артура из размышлений о словоохотливости, как отличительной черте греков, которые оставили так много трудов на самые разные темы, что иногда кажется, будто никаких других греков и не было. Артуру пригрезилась тут причина некоторых наших недоразумений. «Элладу вместе с иудео-христианским миром принято считать основой нашей европейской цивилизации, - думал он, - и когда от поспешных, поверхностных размышлений нам всетаки приходится обратиться к некоторым крайним вопросам, мы спускаемся туда, к истокам, к уродливо гармоничному и перенаселенному миру Олимпа или к напряженным поискам единого Бога, предпринятым другим народом, который страстным и непрерывным усилием даже заставил Его воплотиться, сам этого воплощения, однако, не выдержав, а только перепоручив миру новую истину, все вместе с теми же крайними вопросами.

Раньше или позже мы находим там и ответы, или так нам по необходимости кажется, ибо далее искать негде. Можно сколько угодно перемещаться на Восток или на Запад, но те, кто более или менее серьезно пытался это сделать, обнаруживали те же общие основы, а разницу ощущали лишь в привычках и предпочтениях, в расположении души. Так что чаще всего мы остаемся на своем месте, получая привычное утешение у Эллады и Иудеи, которые его предоставляют, но лишь на время, как если бы советы, даваемые развернуто и с охотой, оказывались в конце концов неудовлетворительными. Недоразумение заключается в том, что чем острее и настоятельнее вопрос, тем уклончивее ответ, вплоть до того, что некоторые вещи объясняются ими не иначе как с помощью

параллельных примеров, так называемых притч или мифов, что немедленно лишает наставников каких-либо преимуществ и во всяком случае снимает с них всякую ответственность, потому что разгадывание символики притч – это еще одна, новая проблема. А тем временем в этой разногласии начинают обращать на себя внимание отдельные фигуры, которые уклоняются не столько даже от наших вопросов, сколько от общения как такового. И тут впору испытать замешательство: может быть, мы не к тем обращаемся?»

Важно заметить, что меньше всего Артур хотел расшатывать какие бы то ни было системы. Как раз напротив, именно на одной из них должно было строиться повествование, которое он собирался начать с общей картины мира в самых что ни на есть классических традициях.

«Мы живем в пятую эпоху человеческой истории, - провозглашали первые страницы рукописи, - Пятый век – так называют в некоторых книгах эти неопределенные периоды, в течение которых высшие силы вновь и вновь предпринимали попытки создать человечество достаточно разумное, чтобы оно не уничтожало самое себя. Я тоже склонен воспользоваться этим коротким словом, этим звуком откусываемого яблока вместо греческого стона «эон». Некоторые считают, что веков было три, а четвертый только еще предстоит, если и мы не сумеем образумиться. Иные полагают, что таких веков было всего два: первый начался с райской жизни и закончился Великим Потопом, после чего некто Ной, по версии греков его звали Девкалион – оставшийся в живых праведник – заселил землю новым людом, к потомкам которого принадлежим и мы. Это было бы слишком хорошо, такой успех свидетельствовал бы о невероятном совершенстве человека.

Никому, однако, не приходит в голову, что человечество могло бы развиваться гладко, всем ясно, что раз-другой его существование надо было прервать и начать снова. Но тогда не так уж важно сколько раз. Чем больше, тем полнее для нас возможность уяснить свои ошибки, и если кто-то с достаточным основанием насчитал пять попыток, чего же еще желать?

Есть мнение, что наша эра полна героических деяний, что среди нас рождались великие люди, высоко поднявшиеся над общим уровнем полубоги. Но такие люди и деяния имели место в четвертом веке, предшествовавшем нашему, и это не привело к торжеству эксперимента, почему и понадобился следующий, пятый век. Более скептически настроенные мыслители находят наше время чудовищным, перенасыщенным ненавистью, страстью к взаимному уничтожению и жестокости, которая давно вышла за пределы человеческого постижения. Неверно и это: такие люди жили в третьем веке, его иногда называют бронзовым, и были в самом деле уничтожены потопом. Так что потоп действительно

был предпринят, но уже после третьей попытки, а чтобы удержаться в рамках исторической перспективы, напомним, что по некоторым подсчетам это наводнение произошло в третьем тысячелетии до Рождества Христова.

Наконец, есть и такие, кто надеется, что мы обрели все-таки нужное направление, что у нас-то как раз есть шанс оказаться в блаженном состоянии всеобщего мира и благоденствия. Но было и это, такими счастливыми были люди первого века, не знавшие забот и мирно угасшие без вмешательства свыше. Все это наводит, конечно, на размышления о целях творческой силы: знает ли она, чего добивается? А если стоящие перед нами задачи так головоломны, что скудным людским умом их не постичь, что же не привьют нам ума иного? Мы ведь, повторим еще раз – пятые по счету, и некоторые характерные черты, определяющие наш век, в самом деле многого не обещают.

Детям не удастся договориться с отцами, как и отцам с детьми. Уже не редкость, когда дети поносят старых родителей последними словами. Нет конца и даже передышки ни тяжелым трудам, ни бедствиям, а если к ним изредка примешиваются скудные блага, это лишь усугубляет отчаяние. Правда ли правит миром или кулак, на этот вопрос вряд ли кто задержится с ответом, непременно прибавив, что мало выгоды быть честным, добрым или справедливым. Кто же преуспевает? Наглецы и злодеи, не задумываясь порочащие ложными наветами хороших людей, что означает, что совести больше нет. Но нет и стыда. Вот уж кто нас покинул так покинул, отчаявшись, как видно, поколебать спесь, с которой мы называем себя железными людьми. И не двести, не пятьсот лет назад и даже не при начале нового летоисчисления, а за пять столетий до того вырвалось у человека горькое восклицание: Если бы мог я не жить с поколением пятого века!

Но подумать только – в пятый раз. И за вычетом самых первых созданий, с самого начала всем обеспеченных, появившихся, видимо, вследствие лившегося через край изобилия, ликующей потребности Создателя разделить хоть с кем-нибудь бесконечную полноту бытия, то есть, рожденных для самих себя и счастье это полностью исчерпавших, с растворением этих счастливых золотого века все последующие эпохи были, вероятно, попытками исправить первую ошибку и имели цель, которую вновь зарождавшиеся поколения призваны были осуществить. Их наделяли самыми широкими способностями, снабжали всем, кроме бессмертия и знания того, что, собственно, они должны доказать. Немудрено, что со всей мощью своих дарований они ударились в крайности.

Серебряные люди были благонамеренны и послушны. Я бы назвал это идеалом послушания, когда до ста лет человек сосет большой палец и держится за мамину юбку. Беда в том, что на самостоятельную жизнь им оставалось всего ничего, и досконально изучив искусство подчинения, так что не оставалось в нем для них ни единой загадки, эти

вечные паиньки достигали сознательного возраста только для того, чтобы утратить всякое уважение не только к матерям, но и к самим богам. Говорят, что хорошо управляет тот, кто научился подчиняться. Ну тут, я полагаю, какие-то пропорции были все же нарушены. Если тебя учат послушанию сто лет, то на сто первый ты захочешь не управлять, а выкаблучивать и самодурствовать. Эти сгнули, не сумев себя прокормить.

Бронзовые люди были созданы сильными и самостоятельными с пеленок и проявляли эти качества буквальным образом - дрались друг с другом из-за малейшего пустяка, так что на полезные дела, уж не говоря о молитвах, времени не оставалось. Вот их-то и пришлось утопить, не дожидаясь, когда они размножатся, что тоже затягивалось из-за повышенной смертности.

Можно представить, что и высшую творческую силу посещало разочарование. Но в ближайшем окружении, как правило, находились заступники, спасавшие кое-кого из обреченных или склонявшие Творца к новым попыткам. Кроме того, помимо разочарования должны были себя проявить и амбиции. Все эти неудачи бросали ведь косвенную тень и на образ единственного в своем роде демиурга. Так что следующий, например, этап был из высокого упрямства повторно назван бронзовым.

Тут человечество наделили в равной мере благоразумием и независимостью духа, и одновременно ему было оказано усиленное внимание. Мир небесный оказался до такой степени вовлечен в земные дела, становясь в лице своих представителей то на одну, то на другую сторону, что запутал людей окончательно. Получалась уже не земная жизнь, а модель самих высших сфер с их вечными конфликтами и бесконечными спасительными трансформациями, в чем этим сферам пришлось в конце концов признаться. Очередной эксперимент был закрыт, а в признание их человеческих заслуг и отважных попыток отыскать ответы на вопросы, которые перед ними не стояли, героев второго бронзового века наградили вечным блаженством Элизиума.

Граница между этим предшествовавшим веком и нашим несколько смазана. Возможно оттого, что переход не сопровождался гибельной катастрофой, а может быть, при всей нашей умудренности, мы не так уж далеко успели продвинуться и не находим в себе решимости окончательно порвать все связи с той эпохой, чтобы определиться как отдельное, само отвечающее за свою судьбу человечество. Новейшие исследования помещают Троянскую войну всего за тридцать пять столетий до нашего времени, а в тех событиях еще участвовали многие герои второго бронзового века. Продолжали они появляться и позже, что свидетельствует о чрезвычайно усложнившейся технологии творящих сил в обращении с самим творением, которое уже не так легко поддается реновациям и вынуждает даже самые радикальные перемены осуществлять на ходу.

Так прояснилось ли для нас что-либо? Мы зажились на этом свете, но если су-

дить по нашим делам, не похоже, чтобы мы сознательно осуществляли высшую волю. А если вспомнить, что Создатель, оставив нас на этот раз, в общем-то, в покое, однажды все-таки сжалился, снизошел до немыслимой благодати и послал нам на помощь своего Сына, которого мы сначала торопливо распяли, а потом, не спеша, забыли, то вся эта затея с человечеством начинает казаться делом бесконечным и бессмысленным, похожим на неправдоподобно жестокое наказание.

Тут можно бы остановиться, позабыть о притязаниях – если нам не дано понять для чего нас создали, то уж конечно не откроется и за что нас наказывают – и ограничиться теми немногими развлечениями, которые в нашей жизни все-таки есть. Известно, однако, что и по завершении земного бытия, нас могут ожидать наказания, среди которых снова есть вполне бесконечные и абсолютно бессмысленные. Против этого способен восстать даже самый покорный и невозмутимый дух. Это пахнет уже не утратой надежд, а полным безверием и атеизмом, чего мы все-таки еще не можем себе позволить.

Но какую же, например, мерзость перед Богом надо совершить, чтобы оказаться приговоренным к вечному, непрерывному и бесполезному труду? Убив своих детей и накормив ими приглашенных богов, вы, как Тантал, получите в наказание всего лишь длящуюся муку неутолимого голода. За массовое убийство своих женихов в брачную ночь сорок девять дочерей царя Даная без конца носят худыми ведрами воду, наполняя ею бездонный сосуд, что не слишком отличается от их земных занятий, разве что делать это в большой компании наверно веселее. Сами древние греки уже додумались, что таскать воду в целых, а не дырявых ведрах было бы тяжелее.

Все это вообще немного несуразно - терзаемая плоть, даже и в пасти Вельзевула, похожа все-таки на дурной сон, неизбежную муку сознания в привычных формах земного бытия, непрекращающийся кошмар. Таким нас ни запугать, ни предостеречь, это не Господне наказание, а месть художника его гонителям и всем врагам человечества. Мы говорим: «Нет. Такого не может быть». А он отвечает: «Нет? Тогда смотрите». И мы видим, чувствуем, как бы нам ни хотелось отказаться от этого зрелища и этих ощущений, и по окончании сеанса восторгаемся: как божественно изложено! Божественная комедия.

Но камень в гору катить – это не надо даже воображать, это каждый делает ежедневно с единственной надеждой, что когда-то оно кончится. И если нет, это серьезно. Тут закрываются все двери, все вытяжки и поддувала, и исчезает даже последняя возможность сойти с ума. А он есть, этот безумец, в одиночестве волокущий в гору каменную глыбу, которая во много раз тяжелее его самого, успевший развить свои метафизические мышцы и приобрести сноровку в этом занятии, что нисколько не помогает ему уравновесить камень на вершине. Кроме имени и легковесной метафоры, в которой от вечного дела его смерти не осталось ничего кроме синонима неоправданно

тяжелого, зряшного начинания, нам известно немного. Но жизнь его не прошла незаметно, и некоторые из деяний Сизифа, послужившие причиной его удручающего положения в загробном мире, заставляют задуматься.

Утверждают, что он был свидетелем кражи Зевсом дочери речного бога Асопа, и не колеблясь открыл отцу имя вора. Это вынудило громовержца предпринять дополнительные ухищрения, чтобы уйти от погони, и впервые привлекло недоброжелательное внимание олимпийцев к имени коринфского царя. Затем, в урочное время пришла за Сизифом смерть, которую ему удалось обманом лишить свободы, спасая тем самым не только собственную жизнь, но жизнь вообще, поскольку смерть одна на всех. Нарушив тем самым круговращение бытия, Сизиф снова обратил на себя внимание высших сил, которые на этот раз послали к нему самого бога войны, сумевшего без церемоний восстановить равновесие. Оказавшись в преисподней, наш герой указал ее владычице Персефоне на неправомочность своего пребывания в царстве теней, пока тело его там, на поверхности оставалось непогребенным, а дело обстояло именно так и, как вы вероятно догадываетесь, не без предусмотрительного сговора с женой. Сизифа отпустили, чтобы он смог, как обещал, наказать жену и внушить ей подобающее уважение к богам. Выбравшись на солнечный свет, он возвращаться отказался, и понадобилось вновь посылать умелого порученца, чтобы низвести его, на этот раз окончательно, в Аид, где он приступил к выполнению жестокого наказания.

И после таких событий, которые одних заставили считать Сизифа хитрым и жадным прохиндеем, не упускавшим случая одурачить любого, кто попадется ему навстречу, просто из врожденного азарта к надувательству, что и было унаследовано его внебрачным сыном, известным лисом Одиссеем, а других – видеть в нем независимого духом богоборца и достойного потомка Прометея, - после всех этих немаловажных событий никто не услышал от него ни единого слова. Греки обычно не теряли красноречия и по ту сторону Ахеронта.

Мы упомянули его жену, и даже если бы всего перечисленного не достало, чтобы заняться судьбой этого грека, последнее обстоятельство заставляет чашу весов стремительно опуститься. Мерепа была дочерью Атланта и Плейоны. Плеядой.

Сколько поэтов обращалось за прекрасным сравнением к этим девам-звездам! Пленяла ли их красота созвездия или красота имени, в котором переплелись нежность и гордое достоинство, но вряд ли поэты знали о плеядах что-то еще, кроме их вечного бегства от распаленного похабника Ориона, которое продолжается и на небесах, кроме нескольких столь же несущественных подробностей, вроде имен их детей, среди которых есть и тот, кто станет одним из действующих лиц моей истории – сын Майи, гонец богов по особым поручениям, лукавый вор и знаток восточных боевых искусств Гермес - да по-

жалуй еще причины, по которой в созвездии семи мы различаем только шесть. А лишены мы полной картины будто бы оттого, что седьмая прячется от мира, стыдясь, что вышла замуж за простого смертного, еще и преступника, обреченного на вечное наказание. Но что же могло побудить ее пренебречь свободой небожителя, отнюдь не воспрещавшей интрижки с земной перстью, и предпочесть человеческую судьбу, которая, как мы знаем состоит из черной работы, черной неблагодарности, и утраты возлюбленных, в ее случае неизбежной?

* * *

Этот вопрос вместе с другими гнетущими чувствами, мучал плеяду, пока она смотрела на то, что осталось от мужа. Мертвый человек лежал у дороги, на самом краю, с которого уходил вниз спуск каменистого холма. Прохожие и повозки, ускоряя ход, поднимали пыль, а ветер подносил и подгребал ее к телу, так что уже на исходе второго дня женщине, неотрывно глядевшей из окна на втором этаже дома напротив, труп казался большим камнем, серым и сглаженным временем, как все горы вокруг, ближние и дальние.

Необъяснимая черствость вдовы, неожиданная, как дождь в месяц собаки, пугала коринфян. Они не только не решались подойти к дому, они с часу на час ждали сокрушающей божественной кары всему городу, которым еще вчера так усердно правил покойный. Никакая обида, затаенная женщиной, никакая злоба не могли быть причиной такой жестокости. А чем-то ее надо было объяснить, чтобы окончательно не растеряться, разом оставшись и без правителя, и без правил, и поторапливаемые этой необходимостью, люди повторяли друг другу старые слухи, которые становились все убедительнее.

Меропе было за что гневаться на мужа. Он ведь с Севера ее привез, они там гордые все, нам не чета. Вон у Автолика в доме внук растет, шалопай, уж ни одного ребенка в городе не осталось, чтобы он не облапошил. Одни за него овец пасут, у других игрушки выменял на ерунду какую-нибудь. Мог у чурбана Лаэрта такой сын родиться? В деда, должно быть, пошел. Тому – верно, палец в рот не клади, про таких-то и говорят: мол, днем отсыпается. На одной такой проделке Сизиф его и поймал. Все мы там собрались, при нас он Автолика и уличил. А когда расходились, его уж не было, служанка сказала, что ушел через задний двор. Чего он там в доме делал один, пока мы шумели? Нас спросить, так и поделом Автолику, пусть теперь чужую кровь воспитывает. А Меропето, наверно, не все равно было. Да кабы это одно, может и говорить было не о чем. Та хоть чужая девка была, а Тиро, что двойню, говорят, от него родила, вовсе племянницей ему приходилась. Чего они там с братом не поделили, теперь не узнаешь, и детей

Тиро погубила, и отец ее Салмоной ума лишился. Но ведь если так мужик бесстыж, что ни соседской дочери, ни собственной племянницы не пожалел, должно быть много чего было, что нам и вовсе неизвестно. А Мериопа, бедняжка, все выносила.

Несколько раз на дню в конце улицы, не решаясь приблизиться, останавливался гончар Басс и подолгу смотрел на безжизненный дом. Во дворе под навесом у него уже стоял старательно слепленный, раскрашенный и обожженный могильный ларь, но никто за ним не посылал, а по своей воле за царские похороны не принимаются.

Сочувствуя Бассу, кто-то вспомнил, что это была первая смерть за многие годы. В таком большом городе, оказывается, уже давно никто не умирал, и люди не обращали на это внимания, охотно принимая эту нелепость, как нечто само собой разумеющееся. Но тем отчетливее была эта смерть, случившаяся как бы вообще впервые, и тем страшнее зияло отсутствие похорон.

На третий день пыльный холмик исчез, и одновременно упала штора на окне, скрыв женское лицо, окончательно запутав загадку этого умолкшего дома. Тишина, однако, длилась недолго. Уже к вечеру все проходившие мимо и даже обитатели соседних домов могли отчетливо слышать звон многочисленной посуды, музыку и восклицания – знакомые звуки веселья...»

Где-то на этой стадии черновик оборвался в первый раз.

Он стоял, чуть скосолапив ступни открытых выше колена, мускулистых ног, и не спеша обматывал узким полотняным лоскутом смуглую кисть руки.

Появление было неожиданным. В самом начале, под влиянием Платонова Сократа, который заявлял о своем интересе к беседам с троянскими героями и иными ушедшими душами, Артур пережил период сомнений. Его устраивали оба традиционных метода: можно было вызвать дух грека, в крайнем случае полной спиритуальной бездарности обратившись к помощи специалистов, или, приобретя необходимые навыки, самому предпринять путешествие за черту. Для этого второго варианта у него были и дополнительные личные причины, о которых я скажу чуть позднее, как и о том, что заставило его эти причины пересмотреть. А в связи с утилитарными исследовательскими целями Артур должен был взвесить еще и то обстоятельство, что эти вещи нельзя делать ради выгоды, что они не даются безнаказанно, в том смысле, что овладев мастерством подобных перемещений, его уже не утратишь по доброй воле и будешь попадать в разные места независимо от собственных желаний, а там все-таки не одни молочные реки и кисельные берега. Но ему не пришлось даже как следует потрудиться над этим противоречием, так как он быстро сообразил, что говорить ему с греком не о чем. Артур многое знал, пожалуй ему было известно все, что доступно внешнему знанию. Остальное касалось его собственной работы, где не

нужен был никто, и менее всего – герой наяву, который отслужив камнем преткновения, должен оставаться по сю сторону произведения, как оно всегда и бывало.

Его присутствие помешало бы работе, поскольку речь шла отнюдь не о портрете, а о вольном одухотворении размытого, затерявшегося в веках и ничем в течение этих веков себя не обнаружившего образа, который и в исторический период своего бытия, если оно действительно имело место, был не многим более чем легенда. Его реальность зависела от усилий и способностей автора. Грубо говоря, следовало бы его не узнать, а успеет ли работа продвинуться достаточно далеко, он, возможно, оказался бы просто самозванцем.

Но он явился неожиданным, незванным, а главное – слишком рано.

Справившись с пораненной рукой, он огляделся и, пренебрегая стульями, возможно, из-за пыли, которая покрывала его тело и одежду, сел на пол, подогнув под себя ногу. Это не было удобной позой ни для отдыха, ни для ожидания.

Артуру пришло в голову, что форма присутствия гостя больше всего похожа на меру предосторожности, предупреждения каких-то нежелательных действий с его стороны. Он спросил. Ответный взгляд был безразличен - неясно было, услышан ли вопрос. Во всяком случае, грек не придал ему никакого значения.

Возможно, это был сон или галлюцинация, но сильнее всего на Артура подействовали не подробности облика и поведения гостя – во сне уже случалось испытывать этот обман – и не сам факт сна наяву, так как он все-таки бодрствовал и в этот момент находился даже на ногах, а отчетливость связи между пришельцем и его занятиями. Следовало что-то предпринять, ибо работа, видимо, должна была изменить характер. Своей бесплотной тенью грек загородил какое-то пространство в мироздании, о котором Артур ничего не знал. Как если бы за знакомой дверью, внезапно обнаружилось зеркало в полный проем, и, маня фальшивой перспективой, оно на самом деле вытолкнуло тебя обратно.

Первый вопрос, требовавший разрешения, вызывала та неторопливая уверенность, с которой он явился, прервав свой мучительный труд, не предполагавший никаких передышек по определению. После каждой очередной неудачи ему приходилось, конечно, спускаться вниз за сорвавшимся камнем, и никто не заставлял его нестись под гору сломя голову, так что какие-то перерывы были предусмотрены самой технологией мучения. А учитывая внепространственную географию Аида, можно было представить себе, что в этой вынужденной прогулке ему открыто любое место на земле, включая Артурово жилье. Точно так же обстояло дело со временем, ему лучше было знать, какой кусок вечности отделяет его от новой попытки, и всей жизни могло не хватить, чтобы дожидаться его возвращения в преисподнюю. Здесь уже заключалась тягостная невозможность хоть как-то себя с ним сопоставить. Он несомненно обладал способностью осложнять другим жизнь, и Ар-

тур испытал легкий толчок раздражения, слабый отголосок того гнева, который, по-видимому, внушил Сизиф сонму олимпийцев.

Дочь принесла кофе. Был один из тех дней, когда она остро переживала одиночество, обрушившееся на него сравнительно недавно, и бросив собственный дом, окружала отца заботой. Мельком взглянув на его нерабочую позу, она поставила чашку на стол. Пришелец подтянул вторую ногу и проводил женщину взглядом.

- Тебе еще долго? - спросила она, - Я насчет обеда.

- Часок посижу, - отвечал Артур, продолжая стоять, уставившись на пустое место.

Что-то в том, как гость смотрел на Наташу, внушало надежду. Как будто у него впервые возникло предположение, что и Артур может принадлежать к человеческому роду.

- Не хочешь, чтобы о тебе говорили? - спросил он.

Ответа не было.

- Тогда дело, значит, во мне, - продолжал он допытываться, - Почему?

Известно, что у персонажа может развиваться некоторая свобода воли, но может ли он испытывать предпочтения по поводу автора? Что-то такое было, кажется, в пьесе Пиранделло, но там персонажи как будто наоборот требовали авторского участия. Раздражение, вызванное его необщительностью и способностью размазывать свою сущность во времени и пространстве, вернулось. Но что же он, поспешивший на защиту своей репутации, мог сделать, чтобы Артура остановить?

* * *

«Свежий бриз с Сарнейского залива шевелил длинные, цвета шафрана занавески с обеих сторон просторной комнаты. Облокотясь на руку, Сизиф лежал на кушетке у широкого низкого стола, уставленного едой, фруктами и кувшинами. У противоположного края стола на низкой скамейке сидела жена. За прошедшие три дня ее лицо осунулось, огромные синие глаза стали еще больше. Еды она не касалась.

- Что люди говорят?

- Не знаю. Я никого не видела.

- Как так? Разве я не говорил тебе: откажись, тверди, что это не я, что я скоро вернусь?

- Говорил, - отвечала жена.

- Выходит, ты не стала хоронить меня в могиле, но пробовала похоронить в своем сердце?

- Есть тяжесть, которую не должен человек взваливать на человека.

- Разве у нас был выбор? Или тебе хотелось расстаться навсегда?

- Ты знаешь, чего мне хотелось. И, может быть, не надо нам продолжать этот разговор. Ты радуешься, слова твои игривы, но если ты скажешь, что надеялся на мою покорность и в этом, я не поверю. Ты хочешь знать, что говорили люди? - не дождавшись ответа, Мериопа попросила, - Расскажи, где был.

Сизиф положил на стол остаток лепешки, окунул руки в чашу с водой, провел ладонью по усам и бороде и вытерся полотенцем.

- У нижнего края пещеры, где начинался подъем, я стал думать о том, как буду тебе рассказывать. И как только пробовал произнести слово, у меня немели губы и язык. Я, пожалуй, могу описать пологий берег и бесшумную воду, тяжелую, как масло для светильников; и мокрый песок, что скрипит под босыми ногами сотен и сотен, дрожащих от неизвестности душ, которым невыносимо ждать; и неопрятного старика, место которому не на земле и не в Аиде, а как раз там, в промежутке, где изнывают беспомощные тени, бесправные перед его погаными капризами. Но все это тебе известно. Это знают даже мальчишки, нянька их научила. Или сказать тебе о другом берегу, где разъеденная водой земля чавкает и пузырится, а заросли осоки и камыша так высоки, что прибывшие еще долго не видят той тьмы, к которой стремились? Не об этом ты спрашиваешь. Но то, чего ты не знаешь, чего не знал прежде и я, они не дают уносить с собой. Я говорил с кем-то сильным, может быть это была сама Персефонея, мне было оставлено ровно столько места, сколько занимает на земле мое тело, она же заполнила остальное пространство, и у меня кружилась голова. Я был настойчив и красноречив, но не знаю, на своем ли пеласгийском наречии говорил. Впрочем, и это все сказки.

Он встал с лежанки, обошел стол и сел на коврик у ног женщины.

- Я не могу тебе это описать не потому, что у меня отшибло память, как у Сосия после двух кувшинов кикеона. И не потому, что мне запретили - они не запрещали, да и известно тебе, во что я ценю их запреты. Мое сердце переполнено, но стоит мне заговорить, язык становится тяжелым, как колодезная крышка, а рот превращается в каменную ступу для зерна, способную исторгать один звук: Уп... Уп!.. Им наверно хотелось бы, чтобы ты в страхе думала, будто я немею перед их непомерным могуществом. И все же кое-что я тебе скажу. Пойди взгляни, спят ли дети и рабы, и возвращайся. Я объясню тебе, почему они не пускают в Аид даже тех, чей прах еще не уложен в ларнак и не завален камнями, а тем, кто все-таки побывал там живьем, нашептывают в ухо, чтобы они повторяли остальным страшную правду о змеешерстном Кербере, ледяном Коките и огненном Флегетоне...»

Теперь он стоял у стола и, сняв верхний лист со стопки бумаги, аккуратно пробовал его наощупь. Длинные пальцы с плоскими матовыми ногтями держали лист с осторожностью, которая давно неведома нам в обращении с бумагой, которую вспомнили бы, наверно, и пальцы Артура, касаясь какой-нибудь диковинной восточной ткани, подобной паутине.

- Что с рукой?

- Не стал дожидаться, пока он покатится, - отвечал он не размыкая губ, -

Его можно укрепить на вершине на время. Ты знаешь, наверно. Услышал грохот, едва отскочил, пришлось оттолкнуться от него, а там острая складка попалась - камень недавний.

Продолжая разглядывать бумагу, по-прежнему беззвучно он объяснял, что камни не вечны и в Аиде. Соревнуясь своим внушительным весом с его сноровкой, с силой его мышц и воли, глыба вынуждена следовать тем же правилам проклятия, которые продлевают и его труд. Тяжесть вступает в противоборство с силой, намного превосходящей значительные, но все же конечные возможности отдельного камня. Обрушиваясь с вершины, он крошит на своем пути множество преград и обламывается сам, становясь все легче, безмозгло противясь тем самым приговору богов. А если случай, неподвластный расчету тупой материи, направит сопротивление очередной неровности в единственную точку, где стянуты в мертвый узел все центростремительные напряжения монолита, он раскалывается мгновенно, не оставляя даже памяти о былом неподъемном своем величии. Так что, камень не вечен, вечен человек, это находится в полном соответствии с законами, которые предусмотрели боги для мироздания. И посему время от времени он находит у подножия горы в стелющемся тумане новый камень, что вообще-то могло бы развлечь выработкой новых приемов, если бы не напоминало, в свою очередь, о подоплеке все того же закона, о деятельной вечности, которая ведома только людям, потому что, будь она свойственна камню, он познакомился бы со стыдом, а мог бы и поумнеть...

Все это были не его слова. Множество таких подробностей, обдуманых и заготовленных Артуром ждали удобного момента, чтобы войти в повествование. Они живо сочетались с обликом неторопливого, основательного мужика, который передавал их вдумчиво, вполне по-своему. В сознании возник отчетливый образ будущей книги во всех ее частностях и единстве. Она была даже лучше, чем он надеялся. Неясные, не требующие определения внутренние связи, особая игра ощущений, производимая соотношением частей и событий, вызывали знакомое волнение. Вместе с тем, было совершенно очевидно, что книга пуста. За спиной грека сизым дымком курилось нечто бездонно страшное, судьба, во много раз превосходящая воображение.

«Если бы в Откровение Иоанна надо было вписать дополнительную главу о высшем суде и расправе над беллетристкой, - думал Артур, - я взял бы эту сцену, где герой в поте лица помогает автору, а тому становится все яснее, что он пишет мимо цели, вероятно делал это всю жизнь, и что истина неподвластна его обольстительному труду».

- Как это – отскочил? За жизнь испугался? Или калекой остаться? Или боль? Рука-то болит?

- Саднит немного. Можно было не обращать внимания, не шевелиться. В конце концов, условия придумываешь сам в тех пределах, которые со временем открываются там, где сначала видишь лишь скудное однообразие. Ведь вся эта механика заложена в самих вещах, никто не подталкивает камень на вершине. А если говорить о силовых полях, то это простейшие силовые поля тяготения, а не сверхъестественный телекинез чьей-то недоброй воли. Так что, вся скрытая пружина события – вопрос равновесия. Вершины же, как ты знаешь, бывают острыми только на картинках. Чего не существует в природе, будь то природа земная или подземная, это параллельных поверхностей. Но каков бы ни оказался уклон, при соответствующем усердии и терпении на нем можно уравновесить даже яйцо, а не то что шершавый камень. И прошло сравнительно немного времени, хотя там его следует мерять количеством попыток, прежде чем мне в первый раз удалось закрепить глыбу наверху...

- Кто ты такой? - спросил Артур наконец, перестав сопротивляться и владеть собой.

- Сизиф, сын Эола, внук Эллина, правнук Девкалиона и Пирры...

- Почему же ты мне мешаешь?

- Можно ли тени помехою стать многоумному мужу,
Даром могучих словес наделенному щедро богами?

- Если же тень, вопреки бестелесной природе,

Станет упорствовать, будет побита камнями... И так далее, и так далее. Что тебе нужно?

- Не думаю, чтобы я в чем-нибудь нуждался.

- Тогда зачем ты здесь?

- Где же мне быть?

- На своем вечном месте, среди дураков и нелюдей, хотя ты им и не чета.

- Ты унижаешь себя этой легковесной мыслью.

Не хватало как будто какого-то пронзительного слова, оплеухи, которая оборвала бы тягостную перепалку.

- Да отчего же? Я говорю о соразмерности. Прометей вот, например, с его деятельной любовью к человечеству, скандалами с начальством, угрозами разоблачений, был

абсолютно нестерпим. Его еще стоило бы погонять в горку с тяжелым грузом.

- Стоит ли об этом говорить? Хитрость изжита, разве ты не знаешь? Даже хитрость Прометея, хранящего тайну богов. Поссорились, помирились, опять поссорятся... Создадут нас вновь, могут опять уничтожить. Ты упомянул о любви... Почему бы человечеству не полюбить себя самому, себе не помочь? Я тоже человек, сердце мое состарилось еще тут, среди вас.

- Хочешь рассказать?

- Еще один миф?

- Вот именно. Не мусолить старый, а убить целиком.

Артур думал, что слово «убить» не должно понравиться греку, но тот только неслышно вздохнул.

- Повернуть историю культур, судьбы народов... Новые жертвы, новые войны. Потом он станет новым древним мифом. Если старый живет так долго, должно быть, пользы в нем больше, чем темноты. Стоит ли твое любопытство новых разрушенных судеб? Испытаний, которых люди не просят, которые уже переживают в избытке.

- Значит, ты на моем месте удержался бы?

- Я бы смирил себя, да.

- Не за это ли тебя наказали?

- Меня не наказывали.

- Эй! Вот и новый миф. В старом Сизиф провинился перед людьми и богами и был приговорен к вечной муке.

- Ну, пусть будет по твоему. Почему ты не продолжаешь?

Это и была долгожданная затрещина, положившая, кстати, конец их первой встрече, так как с этим вопросом Артур остался один. Ему было не по себе, он с радостью забыл бы свои впечатления от беседы, если бы не один пункт, мелькнувший в споре относительно незаметно, а теперь вобравший в себя всю его разрушительную суть. Загадку неразделенной любви человечества к самому себе можно было для простоты изложить так: что же, мол, до тебя никто не додумывался потревожить покой ранних космогоний? Разумеется. И для забавы, и от отчаяния, так что в конце концов человечество перестало читать. Испуганные неблагоприятием современности, мы отправляемся в глубину веков, чтобы посмотреть, не пропустили ли в исходном чертеже мироздания белое пятно, которое служит причиной нынешних недоразумений. Отыскав какой-нибудь пробел, являющийся на самом деле ничем иным, как изъяном нашей ленивой памяти, мы засоряем цивилизацию еще одной версией, и каждый новый пересказ создает видимость прояснившихся начал и многообещающего развития в будущем. «Ты понимаешь ли? - Да, да! Как это верно! - А об этом ты еще не слышал? - Нет, расскажи». Результаты же таковы, что че-

ловечество теряет все стимулы, а элементарные реакции ослабевают, потому что необходимы все более сильные раздражители. Единственной активной силой остается тяга к разрушению. Было сказано: убивать нельзя. Потом оказалось, что убивают несметными количествами, и тут уж было не до принципов, следовало хотя бы громко заявить, что много убивать нельзя. Но пережив катаклизм, вернувшись к разумным прежним нормам, мы обнаруживаем, что закон больше не говорит убивать нельзя, а только что убивать нехорошо. Что будет следующим прояснением? Много убивать нехорошо?

Грек напомнил о том, что ничтожное изменение первооснов может быть чревато новыми путями развития культур, новыми войнами и жертвами, даже не спрашивая, способен ли Артур совершить такое усилие, сравнимое разве что с попыткой статуи сдвинуть брови. Но он, по всей видимости, не знал, что необходимая для этого поглощенность задачей, даже сравнимая с пресловутым горчичным зерном, приводит ныне лишь к короткому шороху песчинок, скользнувших по крыльям мраморного носа.

Мысль о тщетности любых усилий была знакомой, хотя в этот раз давила тяжелее, чем обычно. Гость заставил еще раз спросить себя, зачем он облакает свою глубоко житейскую нужду в эпическую форму, давно служащую людям совершенно для иных целей. И неохота отвечать была ответом катастрофическим. Для смутной задачи, которую Артур пытался разрешить, ни новая версия мифа, ни увлекательное повествование были не нужны.

Он вернулся к книгам, чтобы поискать, не упустил ли чего, и вновь задержался на Элевсинских таинствах; на тех секретных священнодействиях, совершавшихся в предместье Афин в честь Деметры, Кору и Диониса, без которых непосвященному никак нельзя было спускаться в Аид, если он собирался вернуться к живым; на тех жутких, неприличных, лишаящих рассудка, но и просветляющих его в чем-то таинствах, за разглашение которых грозила смертная казнь. Общеизвестный смысл мистерии состоял в страстях богини плодородия и земледелия Деметры, чью дочь, деву Кору, похитил властелин подземного царства Аид, сделав под новым именем Персефоны своею женой и совластительницей. Конечно, завоеванное страданием и бунтом богини-матери торжество выразилось только в том, что треть года Персефоне разрешалось проводить с нею на земле. Но где-то в средоточии отчаяния, на полпути к царству мертвых образы матери и девы начинали совмещаться с другой жертвой - растерзанным и возрожденным богом производящих сил Дионисом, сыном Зевса и Деметры, как и сама Кора. Безумие и неистовство, связанное с его культом, одно только и могло, кажется, открыть человеку дверь к этим тайнам, дать ему возможность в литургическом прозрении переступить порог между двумя мирами.

Разгадать со стороны скрытое, сложное значение Элевсинских таинств было, конечно, невозможно, но Артур острее чем прежде почувствовал одно мгновение в долгой

мистерии: мрак и тишину сентябрьской ночи, под небом которой остаются покинувшие храм после первой трагической части таинств – большинство, лишенное ужаса и счастья причащения; безмолвная толпа, ждущая в напряжении хоть малого знака о свершившемся чуде, не слышащая ни стрекота кузнечиков, ни кваканья лягушек на пруду, ни редкого жалобного крика ночной птицы.

Сизиф, успешно совершивший однажды путешествие в подземный мир, должен был хоть что-то знать об Элевсине, и казнь людская ему больше не грозила. Однако, нигде не было упоминаний о том, что он был причащен. Теперь появилась как будто надежда расспросить самого грека, но тот не приходил. И тогда Артур еще раз воспользовался своими навыками, только для того, чтобы грека заманить.

3.

В отсутствие жены Сизиф потушил светильники, кроме одного, и при его слабом пламени обозначились окна, за которыми стояла звездная коринфская ночь. Он следил за силуэтом Меропы, возвращавшейся по наружной галерее, минуя оконные проемы. Роды трех сыновей ничуть не сказались на ее тонком стане. Сизиф подумал было: уж не из-за божественного ли происхождения жены совершается такое чудо, но тут же прогнал эту суетную мысль. Они никогда не говорили о прошлом Меропы. Она была настолько земной, насколько может быть земной прекрасная женщина. Что же до чудес, то их случается полным полно. Он сам мог иногда совершить нечто, вполне подобное чуду. Но сегодня никак было не обойтись без некоторых воспоминаний, уходивших за пределы их совместной жизни. Мeroпа уже была здесь.

- Прежде чем я скажу, что собирался, хочу попросить тебя: не припомнишь ли, чему учили вас, сестер, когда вы еще вокруг матери играли? Что вам говорили об Аиде?

- Не провинилась ли я перед тобой, что ты отсылаешь меня туда, где мне нет места? - тихо и твердо спросила Мeroпа.

- Мы далеко зашли, женщина. Жить и думать по-старому нам больше не придется. Того, что я собираюсь тебе открыть, не следует открывать никому. Я и тебе не стал бы причинять это зло, если бы не знал, что ты, как и я, подобно рыбе, выброшенной на берег, начинаешь ловить ртом воздух, думая о предстоящем расставании. Не из любопытства я прошу тебя вспомнить, что рассказывала мать о родне, о твоей тетке Деметре, например, или о кузине Коре.

Плеяда вздрогнула от первого имени, второе заставило ее встать, но она тут же опустилась обратно, будто не удержали ноги. Надо было броситься к жене, сжать маленькое тело и успокоить ее, но время простой нежности прошло. Уставясь в пространство пе-

ред собой, Мeroпа бормотала, едва успевая выговаривать слова: «Я и есть Деметра... глаза сухие, горячие... Где Кора? Где дочь моя?... Земная ты царица или небесная, ничего не поделаешь... Путь один...»

Кусая губу, Сизиф ждал. От неожиданного беспамятства, в которое скользнула пляда, было не по себе. Всякое произвольное неистовство, бесстыжие неряхи, охотно распускаявшиеся при народе до неприличия и за то почитаемые, вызывали у него недоверие. Он потому и вина пил меньше других. И оказался прав, можно было достичь той же цели другим исступлением, не лишаясь человеческого облика, сколь ни были бы нестерпимыми для трезвого сознания опаляющие мозг истины. Но не всем дарована такая удача. Может быть, кажущееся безумие пляды как раз и сделает возможным то, что он задумал, хоть и дрожит у него все внутри от этого зрелища.

- ...Не понимаю, не вижу блага ни в чем, прости, Всемогущий...

- Путь? - осторожно проговорил Сизиф, - Ты сказала один путь. Мы знаем, куда он ведет, кто дал нам глаза, чтобы различать дорогу, ноги, чтобы идти, и как дорожим мы каждым шагом. А чего ждут от нас взамен, кроме послушания? Или мы – как и прочие твари, только без густой шерсти, перьев и чешуи?

Мeroпа умолкла. Не спеша насильно выводить ее из этого необходимого забвения, он тоже молчал. Когда она заговорит, надеялся он, мы сумеем понять друг друга так, как прежде нам не случалось. Исподтишка наблюдая за неподвижной фигурой жены, Сизиф вспоминал.

Это было в Фессалии, на поле отца, которое он впервые засеял сам. Каждые семь дней он выходил сюда и с ревнивой гордостью наблюдал за ровными, уже колосющимися всходами.

Резкий порыв ветра, взявшийся ниоткуда при ясном небе и жарком солнце, разделивший поле широкой полосой припавших к земле колосьев, нес с собой опасность. Но первое движение юноши было вызвано заботой не о себе, а о деле своих рук, он шагнул навстречу, как бы пытаясь преградить стихии дорогу. Следующий выдох ветра был жарким, и в горячем воздухе заволновались очертания гор, которые спустя мгновение заслонила фигура гиганта, сгустившаяся из ветра и жара. Великан тяжело дышал, согнувшись и опершись обеими руками на лук, как будто его остановили в погоне. Спасаться было поздно, но Сизиф и не думал об этом, удерживаемый глубоким любопытством. Похождения богов и героев, известные с детства, восхищали и озадачивали его. Он знал, что и сам принадлежит к пятому колену высокого рода, с прадеда его, Девкалиона вообще началось новое человечество, после того, как прежнее погибло под водой. А Девкалион был сыном самого Прометея, от которого оставалось всего два шага вверх до сотворения мира, до изначальных божеств Урана и Геи. И тем не менее, к нему все это, казалось, не имеет отноше-

ния. Сколько он ни прислушивался к себе – не находил каких-то особых сил или способностей, сколько ни оглядывался вокруг – не замечал, чтобы люди видели в нем героя, уж не говоря о божестве. Никаким особым могуществом не отличался и его отец, царь эолийцев, а деда он уже не помнил. Фантастическое предположение, что, может быть, суждено и ему когда-нибудь вступить в тот круг, что коснутся и его непостижимые игры властителей вселенной, было для него причудой ума, не затрагивавшей чувств. Вот уже двадцать лет он жил на свете, который никаких чудес не обещал.

- Кто ты, смертный? - спросил гигант, еще ниже склоняясь над ним громадным торсом.

- Я - Сизиф, сын Эола, царя здешних мест. А ты?

- Ты видишь Ориона, глупец. Я называю тебя так не в обиду. Но чудом ты спасся от моей поступи, которая оборвала бы твой земной путь, если бы эти девы не задержались тоже.

И Сизиф обернулся, чтобы посмотреть, куда показывает охотник.

Сестры как будто считали это забавой, были уверены, что им удастся ускользнуть. Может быть, эта уверенность позволяла им даже, хоть и не без страха, но вообразить, как подминает под себя потная, заросшая густым волосом, мускулистая грудь великана. Они убегали со всех ног, и сама резвость веселила. Если бы не так упорен и вынослив был преследователь, не столь пьянило бы их и само опасное состязание. Обежав неподвижную фигуру человека, они оглянулись на ходу, чтобы увидеть, что с ним станет, и на мгновение задержались. Но в тот же момент задержался и охотник, благородно сохраняя прежнюю дистанцию. Погоня возбуждала и веселила его несколько не меньше, и непредвиденное препятствие лишь обостряло желание.

Сначала Сизиф их не увидел, как не видел и самого Ориона. Это было только дыхание бури. Теперь же он во все глаза рассматривал сбившихся в кучку, пылающих румянцем, улыбчивых, перешептывающихся дев в воздушных голубых хитонах. Их было семеро. Одна из них не улыбалась и выглядела бледнее остальных. Хотелось, протянув руку, увести ее, уберечь от дальнейшей погони. Но хоть и похожи они были на людей в своих поступках, Сизиф знал, что дела этих избранных вершились как-то иначе. Великан, громоздившийся за его спиной сейчас при дневном свете, был ведь еще и средоточием звезд в ночном небе, отрадным для глаз и полезным в земных трудах, предписывая их разумное чередование. Юноша замешкался, не в силах решить, видит ли он перед собой разбой и насилие, или эта дрящящая игра предвечных сил не предполагала разрешения и ничем не грозила девам и той единственной, от которой он не мог оторвать взгляда.

Сестры окружали Меропу тесным кольцом, продолжая шептаться, поглядывая в их сторону из опасения пропустить малейший жест Ориона, указывающий на продолже-

ние гонки. Качающиеся золотоволосые головы то открывали растерянное лицо плеяды, то заслоняли вновь, и Сизиф, поспешно протянул в их сторону руку.

- Пора, царский сын, - раздался за его спиной голос, - Того, что довелось сегодня увидеть, тебе хватит на всю жизнь.

- Мечешься, божественный? - отвечал Сизиф, уронив руку и еще более смелая от своей отчаянной и безнадежной попытки.

- Сил моих от этого не убывает, - продолжал охотник, опустившись на колени и поправляя ремни сандалий. Лук, который он опустил рядом с собой, был толщиной в Сизифову голень, - В погоне радость нахожу. Смотреть на меня вам, домоседам, приятно. Чего же ты от меня хочешь? Не спорю, если бы суждено было плотью стать, я, может, взалкал бы большего. Но вам-то, смертным, легко ли было бы под черным небом ночи проводить? Без путеводных звезд, без времени, без красоты? Отступи в сторону, царствующий пахарь, мне нужны эти несколько пядей, чтобы набрав разбег, утратить видимый тебе облик и освободить твой мозг от непосильного труда.

Сизиф посторонился. От нового вихря полегли колосья, потом выпрямились, и последним в дрожащем воздухе растаяло милое, встревоженное женское лицо.

Домой он не спешил, стараясь вспомнить все, что ему было известно о безалаберной жизни охотника, красавца и женолюба, ослеплённого хиосским царем за надругательство над дочерью, которую тот как будто и так собирался отдать гиганту в жены; прозревшего, подставив слепые глаза лучам восходящего солнца; не преуспевшего в мести и погибшего в земной ипостаси от ревнивой стрелы Артемиды; и о дочерях Плейоны и усмиренного Атланта, на плечи которого легла по приговору Зевса вся тяжесть неба, где, если совершить нужное усилие разума, продолжалась охота, только что самым непостижимым образом прерванная Сизифом. Он искал хоть какой-то намек на то, что замкнутый круговорот, взаимно отражающийся на земле и в небесах, может распасться, что синеглазая плеяда выскользнет из него, не нарушив равновесия сил и не потревожив покоя ни земных племен, ни сонма богов. Ни одна из известных ему историй не подтверждала такой возможности, но ведь не было среди этих историй и краткой передышки под жарким солнцем, посреди отцовского поля. Во всяком случае, раньше он ничего об этом не слышал. Юноша решил было расспросить отца в надежде узнать что-нибудь новое и утешительное о судьбе Плеяд, но вдруг отказался от этой мысли. По праву ли или по чьей-то прихоти, но ему уже принадлежало мгновение в их судьбе. Оно не может остаться незамеченным и, стало быть, приведет рано или поздно к последствиям. Думать следовало не о судьбе Ориона и плеяд, а о себе - что-то в нем должно было привлечь формирующие силы мироздания, чтобы именно его они поставили на пути великана, да так прочно поставили, что тому пришлось задержаться. Ни Эола, ни братьев это не касалось.

- Нет, я ничего не знаю об Аиде, - ответила Мeroпа, и только теперь он увидел, каких усилий стоили ей прошедшие три дня, - Я шла в Фессалию, когда увидела ее впервые. Мне уже не дано было ее узнать, а она меня узнала, хотя это было самое страшное время для нее, и не могла она ни о чем думать, кроме пропавшей дочери. Вся в черном, высокая, и видно было, до чего красива Деметра, даже с волосами, упрятанными под платок, и с воспаленными глазами, в которых и слез не осталось. Мне ведь надеяться тоже было не на что, я уже готова была к отцу вернуться за утешением, зная, что он, может быть, и признать меня не захочет. Я тогда не понимала как следует, что делаю, чувствовала только, что другая жизнь мне не нужна. А она в скитаниях своих многое повидала и призналась мне, что горе, которое ее сжигает, и сильнее которого, как ей казалось, в мире нет, люди принуждены выносить каждый день, и что хочет она подарить человеку бессмертие и готова была бы ради этого разделить его судьбу. Мне после этого уже не так одиноко было...

«Мы не говорили в ту ночь, - сказал за спиной Артура знакомый голос. Он ждал продолжения, не оборачиваясь, и когда уже решил, что больше в этот раз ничего не услышит, грек заговорил снова, - Мы вцепились друг в друга, как колючки, будто к нам молодость вернулась, а сколько осталось жить, мы не знали. Но если бы было время, если бы меня не покинули силы, я говорил бы не о Деметре. Я никогда не видел Ориона. Об охотнике мне приснился сон. И случилось это после того, как мне приглянулась девушка с большими, чуть заметно косившими глазами. Никто не знал, откуда она, даже те, кто ее приютил, и в чьем доме она жила. Мне не следовало помышлять о браке с чужой и безродной, вот душа моя и трудилась, придумывая ей высокую судьбу. И остановимся здесь. Я знаю, что твое зрение может быть острее. В конце концов, этот свой урок ты выполнял не из самых высоких побуждений. Но и в самой крайней степени подлинности – чем все это может пригодиться? Тебе или кому-либо другому?»

- Может, и ничем, - отвечал Артур, - Я думаю, тут какое-то личное пристрастие.

- Прошу, избавься от него. Это чужая жизнь. Много ли в ней случилось, и как – не твоё дело.

- Как же получилось, что жребий твой у всех на устах. Я вот вечности не принадлежу. Наверно и у тебя была возможность остаться безвестным Бассом или Сосием?

- Ни о чем ином я и не помышлял. Не имеет значения, зачем я посягнул на неумолимый закон мироздания. Людям важно было убедиться, что этого делать нельзя. Вот и вся суть мифа. Он возникает лишь однажды, к нему нельзя подняться по восходящей, и

нет от него пути вниз. Разгадывай его в меру своего пристрастия, но не ищи ключа в житейской чепухе. Что толку объяснять победу над Лернейской гидрой безнадежным состоянием болот под Лерной и радикальными методами мелиорации? Те, кто увлечен такими разоблачениями, считают, видно, что мало было афинянам покорить Крит и избавиться от тяжкого бремени человеческих жертв Миносу. До того напыщенными и самовлюбленными были афиняне в глазах этих мудрецов, что им необходимо было сочинить сказку о лабиринте и о хищном быке, побежденном Тезеем. Вот и лабиринт уж не лабиринт, а всего лишь огромный, невиданный прежде дворец в Кноссе. Ты доволен? Удалось нам разделиться с нитью Ариадны?

- Дай мне подумать.

- Думать надо не об этом, а о том, что жизнь человека принадлежит ему одному. Я и тебе советовал бы не пренебрегать ею, потому что она тебе еще понадобится. Невкогда она станет для тебя важнее всего. Ты же предпочитаешь ее отложить, бросить ежедневный труд и с утра до ночи выдумываешь чью-то чужую жизнь. Пусть даже остатка твоих дней хватит, и, угадывая одно за другим, ты восстановишь волнующую тебя картину во всех подробностях, которые были отброшены поколениями, жившими до тебя, забыты ими за ненадобностью. В миг окончательного торжества тебе покажется, что ты обрел новое знание. Но ты лишь вернешься на несколько тысячелетий, чтобы оказаться там, откуда начали свою жизнь те самые многочисленные поколения, не поддавшиеся искушению топтаться на месте, хорошо или дурно, с пользой или нет, но потратившие свое время на себя, на собственное бытие. Не упоминай о вечности и о своей непринадлежности к ней. Тебе в этом случае грозит нечто неизмеримо более ужасное ты выпадешь даже из времени, останешься сам по себе, как высохшая ветвь, как отросший и отрезанный волос, как смытый пот. Моя жизнь нужна только мне не потому, что я так хочу, а потому, что нет в ней пользы ни для кого другого.

- Смотри пожалуйста, кто говорит о пользе... - не удержался Артур, - Но ты напугал меня, спорить не стану. Я вообще не хочу больше препираться. Не буду даже спрашивать тебя об Элевсине, как собирался. Дай мне самому рассказать тебе кое-что. Это не твоя история, и она очень коротка.

Человек родился на свет сапожником. Или поваром, или кузнецом. Прожил жизнь в трудах, досконально изучив свое ремесло: вкус приправ, эластичность кожи, вязкость железа. Но этим дело не ограничилось, он узнал и сильные чувства: восторженное почтение к мастеру, научившему его ремеслу, влюбленность и страсть к женщине, привязанность к детям, верность друзьям. Много раз он от души смеялся, иногда впадал в гнев, часто сильно горевал. В минуты отчаяния чувствовал себя комком грязи, хотелось верить, просто настойчиво мнилось, что это еще не вся жизнь, что есть

какой-то еще мир, иные существа, которые живут полнее, больше могут и знают, что ему просто не выпал жребий быть среди них. Но где они помещаются, оставалось неизвестным. Он видел, что земля уходит вглубь до бесконечности, что нет у моря дна, а у небес предела. Сверху светили солнце и звезды, гремел гром и падали разрушительные молнии, земля под ногами начинала дрожать и разламываться, выбрасывая огонь и раскаленную лаву, а внезапно взбесившиеся воды легко увлекали в пучину самые большие и прочные корабли. Кто-то должен был совершать все эти непонятные действия, усилием воображения можно было даже представить себе могучих демиургов и наделить их именами, но в какой связи находились они с шитьем обуви или приготовлением еды?

Посещало его еще необъяснимое, бесполезное чувство красоты. Оно обычно приходило вместе с образом какого-то особого порядка, гармонии. Иногда такое бывало делом человеческих рук, временами – ничьих рук, никаких рук не достало бы, чтобы заставить горную гряду спуститься к тенистой долине и покойному кобальтовому заливу. Для кого это было создано? Кто еще, кроме него, мог этим любоваться? Красота раззадоривала, призывала тщиться, совершенствовать умение, чтобы создавать нечто равно прекрасное. И сандалии его были чудо как хороши, и обеды удавались на славу, и скобы не гнулись, и все считали его настоящим мастером, волшебником ремесла, а его это не утешало.

Были, правда, люди поважнее. Кое-кто обладал такой силой, что мог завоевать полмира, но проходило время, и те же полмира переходили в следующие руки. Другие увлекали поистине волшебные звуки из своих инструментов, твердой рукой вели замысловатые линии или тесали камень так, что от волнения выступали слезы. Казалось, что вот этим должно быть ведомо, что и где прячется за видимым миром – умели же они создавать нечто из ничего, из мертвого куска. Нет, ничего не могли объяснить и они, а когда пробовали, становились столь косноязычными, что понять их было невозможно.

Затем приходила пора покидать этот мир, и оказывалось, что не так уж долго позволял он собой любоваться и себя повторять. И тогда во всей своей страшной простоте складывался вопрос: зачем же все это было? Стоило ли любить, смеяться, горевать и наслаждаться красотой только затем, чтобы в один момент оставить это навсегда и перестать быть?

Ответа ждать было неоткуда и поздно было искать его самому. Но если он додумывался до такого вопроса чуть раньше, и, обессилев от его жестокости, откладывал колодки и дратву, молот, щипцы и сковороды, появлялся такой вот как ты опрятный мужичок и стыдил его за безделье, пугал грозящей никчемностью, от которой кузнец как раз и старался себя уберечь. Я не осудил бы этого пекаря и сапожника, если бы, собрав последние силенки, он показал пришельцу на дверь. Не можешь, мол, помочь, так не мешай,

ядрена мать, проваливай, сгинь.

- Прогнать меня тебе ничего не стоит, - ответил грек, - Ты утратил вкус к сочинительству и возвращаешься к нему, чтобы привлечь меня против моей воли к изложению своей истории. Теперь даже сквернословить. А что если тебе в самом деле забыть о моем существовании, но не уподобившись пекарю и кузнецу из твоей басни в их внезапной и безрассудной вспышке, а спокойно взвесив свои возможности и осознав их пределы.

Слова грека предполагали некоторую передышку для обдумывания, которой Артур и воспользовался, чтобы собраться с мыслями.

- Я ведь тебя не звал, - проговорил он наконец не совсем уверенно, - Может быть, я посредственный сапожник, но ты намекаешь, что я вообще не своим делом занимаюсь... Ты вот заставляешь меня сомневаться в моем праве на твою жизнь, а есть у тебя право на мою? Я удостоился чести твоих разоблачений и рад, что это случилось. Кому же охота заблуждаться. А в остальном... Не слишком ли ты... как бы это сказать... усердствуешь? Чтобы не обижать тебя словом «выслуживаешься». Как перед шпаной малолетка. Какое, в сущности, тебе дело до того, что кто-то обдумывает события твоей жизни? Ничего это не изменит, мифа даже не коснется... Ну, допустим, мне пришлось в голову выяснить, не догадывался ли ты уже тогда, что боги твои еще не настоящий Бог. Подумаешь, какая опасная мысль! Да если она и может кого-то беспокоить, то уж, конечно, не тебя.

На этот раз его исчезновение впечатляло еще больше, чем приход. Свет, вспыхнувший на долю мгновения за спиной, был так невероятно ярким, что предметы в комнате не только не бросили тени, но как бы обрели прозрачность. Вслед за этим то, что казалось ярким солнечным днем, стало выглядеть, как сумерки.

Похоже было на бегство, на бессильное отступление с хлопаньем дверью.

Но по прошествии нескольких минут, пока зрочки принимали нормальные размеры, возбуждение от того, что за ним осталось последнее слово, стало таять вместе с мелкой сеточкой, наброшенной на солнечный мир вокруг, который в конце концов снова воссиял. Сияние было холодным, там продолжался какой-то неизвестный праздник, на который его не тянуло попасть.

Эта аннигиляция могла быть всего лишь поспешным возвращением, как если бы гость засиделся, а потом, спохватившись, метнулся, чтобы проколоть пространство, отделявшее одно рабочее место от другого. А еще больше было это похоже на то, как постукает в сердцах честный человек: не находя слов в ответ на явную и запальчивую ложь, возмущенный тем, как бессовестно собеседник злоупотребляет интонацией оскорбленного достоинства, он внезапно замолкает и действительно хлопает дверью.

Весь последний год, с тех пор как умерла Катя, Артур безразлично наблюдал,

как высыхали и распадались его связи с окружающим миром. Много раз он приходил к единственной, кое-как поддерживавшей мысли о том, что следует позабыть обо всех желаниях и планах, даже самых близких и простых, и доживать, подчинившись только физиологическому циклу, отпущенному природой. Отвращение к любому произволу удерживало его от серьезных размышлений о самоубийстве, но кажется и это сильное чувство давно потеряло упругость, не получая живительных соков от естественного обмена с миром, и готово было рассыпаться, подобно остальным побуждающим или сдерживающим представлениям.

Не было в этом и ничего неожиданного, он с самого начала знал, что без Кати жизнь лишится основы. Они были очень непохожими, но вместе с этой женщиной судьба наделила Артура редчайшим даром смотреть на мир ее глазами, которые были намного острее и видели гораздо больше. Он догадывался, что нечто похожее происходило и с ней, хотя она никогда об этом не говорила. С уходом любого из них кончался не союз и не единство – завершало свой круг особое существо, ради создания которого оба они явились в этот мир. Заставляя себя любоваться кратким цветением азалий, Артур ощущал во рту сладковатый привкус медной пыли и непреходящую смертную тревогу, как бывает, когда день за днем не можешь вдохнуть полной грудью, хотя все чаще предпринимаешь судорожные попытки.

Тоска не ослабевала, он ни с кем не мог об этом говорить, даже с дочерью, горе которой тоже было велико. Ее утешить Артуру удавалось, но когда она, собравшись с силами, осторожно приступала к нему, он прямо и откровенно останавливал ее, ограничиваясь одной дурацкой, но покрывавшей всю его немоту фразой: «не смогу».

Воля его была настолько подавлена, что весь год ему не удавалось писать. Только недавно он с удивлением обнаружил, что это – единственное занятие, не ронявшее его в черную дыру утраты. Удивляться-то было в общем нечему, остальное они делали вместе, и на что бы теперь ни наткнулась его рука, все оказывалось неосуществимым. Новый ущербный вид существования коснулся и этой его деятельности, она лишилась и прежде нечастых просветлений, радостных открытий, которые представлялись единственной наградой, позволяли прервать уединение, чтобы замирая от страха, передать новый ворох трудов в строгие Катины руки. Но даже и в таком, неполном виде эта работа доставляла ему меньше испытаний, чем любые другие телодвижения, и уже только поэтому он вновь к ней пристрастился. А сюжет, на который он набрёл в слепых попытках избавления от боли, стал неожиданно важным сам по себе, ибо обещал возможность приблизиться к загадке небытия, только что оглушительно о себе заявившего.

Как свидетельство собственного душевного неблагополучия галлюцинация его

не занимала – об этом неблагополучии ему было известно больше, чем кому бы то ни было – но упорство, с которым гость отваживал его от столь невинных занятий, казалось необъяснимым. Отдавая себе отчет в том, что грек является производным его собственного воображения, Артур недоумевал, откуда же возникло противодействие, отнимающее у организма последние жизненные функции. Мало того, в своих повторяющихся инвективах пришелец снова и снова указывал на какую-то жизнь, которой Артуру не следовало пренебрегать.

Никакой такой жизни не было, и обсуждать ее было во всяком случае поздно. Но и на тот способ существования, который он мог еще с грехом пополам себе позволить, у него, оказывается, не было права. И надо было отдать должное этому фантому или подсознанию – им удавалось накапать в чернильницу достаточно отравы, чтобы строчки видом своим начинали горчить.

Тут начинала проступать одна тайная, тщательнее всего оберегаемая от чужого и собственного внимания вибрация совести. Уж не имеем ли мы тут дело с той расплатой, которая теоретически полагается за своевольное, не идеальное решение вопроса о призвании? Достаточно ли простого постоянства, слишком напоминающего иногда любое другое пристрастие – филателию, например, меломанию, да просто чтение, наконец – или всякое распыление усилий неминуемо приводит к отступничеству? Солдату, так сказать, положено воевать, философу создавать всеобъемлющую систему представлений о вселенной, политику совершенствовать государственное устройство, поэту писать стихи, романисту – прозу, и только. И не плотницкий, мол, труд в мастерской Иосифа был делом жизни Иисуса.

Ему всегда казалось, что сочинительство было делом его жизни, независимо от того, чем приходилось зарабатывать на хлеб. Но мыслимо ли было бы, например, бросить службу, ту или иную, обеспечивавшую пристойное существование семье, позабыть о значительном и непрерывно тянущемся долге, свести к минимуму потребности – не только свои, но и близких, перестать заботиться о завтрашнем дне и не отрывать более от листа бумаги? Мыслимо, но неосуществимо. Мир устроен по-другому и отнюдь не расположен кормить подвижника впрок, и даже плоды его подвижничества чаще всего оставляет без внимания, если не отвергает гневно. Поневоле приходится заботиться о себе, отдавая главному пристрастию столько сил, сколько остается. Кьеркегор с сочувствием называл эту житейскую мудрость любовью к Богу в отсутствие веры, а право на единое движение веры и любви оставлял только Аврааму, который для Бога готов был убить единственного сына и, несмотря на усилия философа, оставался фигурой мифической, непостижимой.

Так справедливо ли, что взявший на себя двойную заботу труженик, вынужден встретить еще одно ограничение – не все, что кажется подходящим для работы, ему позво-

лено взять? Так, во всяком случае, надо было понимать сопротивление грека или того, что за ним стояло. Он давал понять, что в этот раз номер не пройдет, и настаивал на том, что осознав свои возможности и перестав заблуждаться по поводу сферы приложения собственных сил, Артур может еще рассчитывать на благосклонный кивок мироздания.

Это была, конечно, чепуха, простительная для подсознания, которому тоже ведь не вся картина открыта. Но посетитель походил на убийцу. Что ж, это делало его существование оправданным, может быть, даже в какой-то мере желанным. Остановиться мешали, пожалуй, лишь крохи былого свободолюбия, застрявшие в щелях рассыхающегося бытия. Подходящий или нет, дозволенный или запретный – это был единственный способ сохранять самообладание.

4.

Среди четырех старших братьев Салмоней был не так красив и силен, как Афант, не так умен, как следовавшие за ним Деион и Магн, да и родился он всего на год раньше Сизифа, но именно Салмоней стал для мальчика кумиром, настоящим старшим братом. И хоть ни разу он не доводил до конца своих затей, всегда они удивляли, не походя на однообразные дела прочих.

Загадочным было его умение вовлечь в свои выдумки кого угодно, даже более взрослых мальчиков. Отчасти это, может быть, объяснялось неправдоподобием его фантазий. В первый момент будущий соучастник очередного невероятного предприятия бывал настолько сбит с толку, не находя в новой идее никакого соответствия знакомой ему действительности, что не успевал ничего возразить, а Салмоней уже переходил к простым и понятным средствам, которые следовало использовать, чтобы осуществить задуманное. Так было и в тот раз, когда он в течение нескольких дней усиленно скрывал от братьев какую-то свою заботу – неожиданно отлучался, оборвав на полуслове разговор или бросив игру в самый решающий момент, затем возвращался с нахмуренным видом, как бы получив новое важное подтверждение своим догадкам. Потеряв терпение, мальчики потребовали у него отчета, и Салмоней рассказал, как третьего дня, собирая яшму в соседнем ручье, услышал, как пьяный Никтей с кем-то спорит, то хохоча, то ругаясь последними словами. Он подобрался поближе, прячась за кустами, и увидел, что старик обращается к рыбе, бьющейся в его верше. Рыба была крупной, пяди в две, и тонким человеческим голосом просила Никтея отпустить ее к сестрам Алиде и Проное, обещая исполнить любую просьбу рыбака. Старик капризничал и требовал награды вперед, чего волшебная рыба не могла ему дать, задыхаясь в сети. Видать, говорящие рыбы, птицы, даже деревья были

пьянице не в новинку, потому что он явно получал удовольствие от перебранки, но раз другой трезвел и распалялся гневом, полагая, что его хотят облапошить, лишить знатного улова, что тоже случалось с ним не однажды из-за его пагубной слабости. Зная, что связываться со вздорным стариком бесполезно, а иногда и опасно, Салмоней с досадой наблюдал, как тот нацепил обессилевшую и умолкшую рыбу на кукан и понес домой, собирая волочившимся хвостом дорожную пыль. С тех пор эта чужая, неиспользованная удача не давала ему покоя. Уж он-то знал бы, чего попросить, и прежде всего потребовал бы нарядный сирийский плащ для Афананта, который уже заглядывался на фессалийских девушек, и два железных охотничьих ножа с Крита для близнецов. Малышу Сизифу не надо было ничего и обещать, он счастлив был уж тем, что с ним делились планами, как с равным. Увы, редкий шанс достался не им, но Салмоней не собирался кусать локти в бессильной зависти. Где-то во впадинах ручья шевелили волшебными плавниками Проноя и Алида, наверно не менее могущественные, чем их сестра, не успевшая даже назваться. Парень не один час провел на берегу в неподвижном ожидании и клялся, что видел по крайней мере одну из гигантских рыб, скорбно плеснувшую на поверхности широким золотистым боком в сумерках после захода солнца. Не предлагает ли он братьям обо всем позабыть и жить с рассвета до заката одной лишь мыслью о том, как они каждый вечер снаряжают и забрасывают вершу, которой у них, кстати, не было? Нет, он не был так глуп, он полагал, что есть способ помочь случайному рыбацкому счастью. Беда в том, что сделать это в одиночку было невозможно. Что толку, однако, делиться подробностями, если они ему не верят. Но братья готовы были поверить, им нужно было только поддержать свою честь мало-мальски самостоятельным вкладом, и сделать это проще всего было, спросив о рыбе у Никтея, которого они опасались меньше, чем десятилетний Салмоней. Они прикинули, что не стоит подступать к старику всем вместе, чтобы не насторожить его, и поручили миссию Магну, как наиболее спокойному и сообразительному из трех. О том, что здоровое недоверие как-то уж очень поспешно улетучилось, и что, по существу, они вступили в заговор, братья не задумывались. Но понимал ли сам Салмоней, что каков бы ни был ответ незадачливого рыбака, он непременно подхлестнет их желание попытаться счастья?

Гораздо позже, вспоминая его проделки, Сизиф приходил к выводу, что не хитрость и не корысть руководили Салмонеем. Он оказывался одержимым новой фантазией, целиком попадал в ее тенета и действовал в соответствии с ее собственными правилами. Это его свойство подтверждалось, кстати, удручающей неприспособленностью Салмоней к самым обычным и полезным занятиям, которые не в состоянии были его увлечь. До поры до времени отец пытался заставлять его наравне с остальными помогать по хозяйству и строго пенял бракоделу, когда тот ломал грабли или приводил домой осла с безнадежно стертой холкой от неправильно навьюченной вязанки дров. Позже он на некоторое время

стал семейным посмешищем, а затем не него махнули рукой. Его затеи не прекратились и много лет спустя, когда Салмоней уже женился раз и другой, и у него росла дочь. Тут вздорные выходки взрослого мужика никого не смешили, а некоторых пугали, поскольку наивность человека, после того, как он достигнет определенного возраста, люди склонны называть и судить иначе. Поразительным было то, что до самой гибели Салмоней находились такие, кто готов был за ним следовать.

Мальчишки подкараулили Никтея, когда тот возвращался с базара, рассудив, что сколько бы ни удалось ему выручить за снасти, которые он плел из ивовых прутьев, когда был трезв, старик будет в добром расположении духа, предвкушая первую чашку кикеона в награду за свои труды. Все притаились в овраге, а Магн убежал назад к селу и издалека пошел навстречу Никтею и его ослу, рассчитав повстречаться с ними как раз над обрывом.

- Здравствуй, Никтей, - вежливо сказал мальчик, уступая дорогу, - да будет с тобой благословение богов и нашего отца, царя Эола.

Не задерживаясь и не оборачиваясь, старик поднял руку с торчащим средним пальцем. Неприличие жеста не оставляло сомнений в том, что заговорщики просчитались. Но смутить Магна было не так легко.

- Ты отвечаешь раньше, чем я успел спросить, почтенный Никтей, - продолжал мальчишка все громче, так как старик удалялся, - А спросить я собирался о рыбе, которую тебе удалось выловить. Люди говорят, что рыба большая, вот я и хотел узнать, как велика она была. Но если всего-то с твой палец, значит сочиняют люди, и говорить не о чем.

Никтей все-таки остановился и теперь подозрительно и недобро разглядывал подростка.

- Какие такие люди? Какое тебе, разбойник, дело до моего улова?

- Все говорят, Никтей. Да разве это секрет? Ты сам хвалился в кузне. Но может быть и прихвостнул, это со всяким может случиться.

- Ах ты, корень ядовитый! Знаю я вас всех, весь ваш беспутный выводок. А ты - хуже всех. Других за нос води, тихоня ласковый, я-то вижу, кто ты есть - чистый аконит.

- Говорят, рыба не простая была, - продолжал Магн, как бы не замечая ругани. - И вот что я еще хотел у тебя спросить: исполнила ли она, что обещала? Что-то не верится, что многое ей под силу - уж больно мала была рыбешка.

В интонации Магна не было и тени насмешки, он смотрел на пьяницу с искренним и серьезным любопытством. А тот мучался, не в силах вспомнить, что же он такое сболтнул в кузнице, куда он не раз зарекался ходить навеселе.

- Тьфу на тебя! - изобразил он наконец пересохшим ртом. - И пусть у вас только сестры рождаются, раз выросли без уважения к старшим. Да! - завопил он вдруг. - Испол-

нила! Вот, чтоб у тебя язык отнялся забыл ее попросить! Но попрошу еще!

Дети в овраге кусали кулаки, чтобы не завизжать от смеха, однако каждому было ясно, что старик успел опомниться и теперь выходит из себя, проклиная собственную глупость. Салмоней говорил правду.

В тот же вечер они засели у ручья, приготовив наспех две связанные из прутьев широкие и плотные решетки – Деион и Магн выше по течению, Сизиф и Афамант ниже, а Салмоней посередине, там, где он в последний раз видел рыбу. План состоял в том, чтобы как только она вновь себя обнаружит, дать сигнал братьям, которые опустят решетки, перегородив заветной добыче путь к бегству. А там уж – дело двух-трех дней заманить голодную волшебницу в сеть, выпрошенную на время у домоправителя Сулида.

Стоит ли удивляться, что прежде чем окончательно иссяк первоначальный порыв, дети много дней провели у воды? Видели они и выскочившую из потока рыбу, и сердца их колотились от оправдывающихся ожиданий, а когда добыча попалась – не столь громадная, как они предполагали, и скорее серебристого, а не золотого цвета, мальчишки так переволновались, что перестали улыбаться, и руки их тряслись неудержимой дрожью. Вотще дожидаясь заветного предложения, они никак не решались подсказать бедняге, что она угодила к нужным людям, которые не причинят ей вреда, а наоборот – готовы тут же пойти навстречу, на известных условиях, разумеется. Не выдержал Афамант, старавшийся все это время держаться с достоинством самого старшего:

- Да говори же ты, ну тебя к воронам! - закричал он, топая ногами, и его голос, сорвавшийся посередине восклицания, привел в чувство остальных. Они дали узнице время подумать, опустив сеть обратно в воду.

Ни второй, ни третий вечер не продвинул переговоры ни на волос, но сколько было жарких обсуждений в промежутках, как снова перебирались и отбрасывались заказы, каким загадочным огнем светились их глаза!

В очередной раз вытаскивая хитроумную кольцеватую сеть, они увидели белое брюхо раньше, чем серебристый отлив чешуи, и в лицо им дохнул ледяной ветер страха, не столько даже из-за рухнувших надежд, сколько от незнакомого чувства, что ими совершено нечто неподобающее. Но Салмоней, не терявший присутствия духа ни при каких осложнениях, быстро убедил братьев, что расстраиваться смешно. Сомнения у него были, оказывается, с самого начала, потому что уж очень мало походила эта дохлятина на настоящую необыкновенную рыбу, которую им предстоит поймать. Он-то, в отличие от них, видел, как она выглядит. И снова его усердие увлекло мальчиков – решетки были вытасканы из потока, осмотрены и подправлены, все ежевечерне занимали предназначенные места в ожидании сигнала, что-то плескалось в воде, уточнялись условия будущей сделки, пока однажды Салмоней не заявил, что вспомнил одно слово из перебранки Никтея с рыбой,

которое как-то выскочило у него из памяти. Говоря о доме, где ее ждут сестры, рыба, кажется, назвала Энипею. «У-у-у...» - загудело в головах у ребят от стремительно отдалившейся цели. Конечно, речка Энипея была еще не необъятной Пиникос, невозмутимо несшей свои воды между Оссой и Олимпом к теплому заливу, но уж, конечно, не была она и безымянным ручьем, знакомым вдоль и поперек. Салмоней еще продолжал бубнить о необходимом для похода снаряжении, но всем было ясно, что никакого похода не будет. Братья даже почувствовали облегчение – предприятие затянулось, а они были еще не в том возрасте, когда человек способен строить дальние планы и знает цену терпению. Да и сам Салмоней уже некоторое время принохивался к ветру, который нес с востока одному ему ведомые вести. В его голове складывалось, кажется, какое-то новое начинание.

Сизиф был самым беззаветным участником этих затей и оставался преданным Салмонее даже после того, как фантазии брата перестали его по-настоящему увлекать. Но чувству влюбленности суждено было обернуться безмерной жалостью. Неутомимая воля в стремлении создать что-то невероятное, несуществующее в этом мире сочеталась в этом человеке с отсутствием каких бы то ни было других способностей и навыков. У вас на глазах пульсировала, полыхала трескучими разрядами сама чистая энергия созидания, наглухо запертая в косной и немощной плоти.

Когда сердцем Салмоней завладела черноволосая и сероглазая Алкидика, Сизиф не только не сетовал на неизбежное отныне одиночество, но молился богам, чтобы они подарили брату покой и радость в руках этой хрупкой женщины. Однако, в день свадьбы, сколько ни старался он себя развеселить, с головой уйдя в хлопоты и бросаясь выполнять каждое поручение, как только торжество было запущено и пошло само по себе, Сизиф сначала затерялся среди рабов, а потом незаметно ускользнул со двора.

Он видел то, чего не видели другие: женитьба не шла Салмонее, даже если бы его супругой стала сама Афродита. Рано или поздно он и любовь подчинит своим фантастическим экспериментам, и не будет от этого добра ни ему самому, ни трепетной, ни о чем не догадывающейся Алкидике. Чувство жалости было таким острым, что у Сизифа заболели уши, а в горле застрял, казалось, тяжелый клубок мокрой шерсти.

Алкидике не пришлось стать жертвой разрушительных проектов, она умерла при первых же родах, произведя на свет очаровательное создание, в котором, как в крохотном сапфире, просияла красота матери. Но ее гибель обрекала Тиро на полное сиротство от рождения, потому что если неодолимый прилив мужских сил и взял в урочный час свою дань с Салмоней, то, разрешив кое-как эти счета с природой, он быстро оставил позади их последствия, точно так же, как стирал в памяти все следы своих грандиозных и безрезультатных предприятий.

Появление Тиро окончательно отрезвило Сизифа. Они поменялись с Салмонеей

ем местами, но поскольку тому старший брат был не нужен, вся нежность и привязанность Сизифа обратились к девочке. А той, словно она была в чем-то виновата, предстояло расти не только без матери, но и под завистливым и мстительным опекуном мачехи.

Сидеро, вторая жена Салмонея, не в пример Алкидике, знала, кого берет в мужа. Ловя иногда ее пристальный, холодный взгляд, устремленный на брата, Сизиф не мог избавиться от ощущения, что она прикидывает: долго ли ему еще осталось валять дурака? У нее были основания связывать свое будущее с одной лишь принадлежностью к царской семье, а не с судьбой порченого Эолова отпрыска, потому что выходки его становились все менее безобидными. Сидеро терпеливо дожидалась катастрофы, но в одном ее надежды не оправдались – этот расчетливый брак не приносил детей, и столь желанная ею семейная связь оставалась непрочной, не позволяла ей решительно заявить о своих правах. Даже у никому не нужной Тиро этих прав было больше, и это вызывало ярость, которую мачехе не всегда удавалось скрывать.

Эол с Энаретой, давно махнувшие рукой на бестолкового сына, не очень пеклись и о его неприкаянном ребенке, больше озабоченные будущим своих дочерей, которые с некоторых пор рождались одна за другой, будто вослед проклятию пьяницы Никтея. Сизиф сколько мог заботился о девочке, проводя с нею время в прогулках, напоминая брату, что ей нужны новые сандалии или платье подлиннее. Не успев увести ее из-под очередной вздорной вспышки мачехи, он вытирал Тиро слезы и старался развлечь ее рассказами об их прежних мальчишеских проделках, надеясь внушить девочке то же восхищение её отцом, какое некогда испытывал сам. Живое воображение несомненно было передано ей Салмонеем по наследству, но в этой кудрявой черноволосой головке оно преобразилось в еще более странные формы. В четырнадцать лет она заговорила с ним неуверенным, прерывающимся голосом, но без всякого смущения о непременном желании выйти замуж за одного из богов, предпочтительно – за владыку вод Посейдона. И Сизиф не знал, что ей отвечать, ибо казалось, что кроме как в этих фантазиях, негде больше искать утешения сироте. Да уже и не слишком часто им удавалось проводить время вместе. Тиро выглядела девушкой, а застывший и подозрительный взгляд ее мачехи он теперь все чаще ловил на себе.

Афамант давно правил в Орхомене, Деион - в Фокиде, Магн был так удачлив в устройении дел, что его приморский край вскоре стали называть по имени нового царя Магнесией. Даже младший Кретей готовился к принятию власти в Иолке. Сизифа царь эолийцев удерживал при себе, рассчитывая передать ему эту землю, что одновременно и волновало, и огорчало юношу. Он не чувствовал себя готовым управлять людьми, ему хотелось обрести еще какое-то, ускользавшее от него до той поры качество. В любом случае, осуществлять свои царские права Сизиф предпочитал не здесь, где ему пришлось бы лишь

следовать по стопам отца, а на новом месте, куда его, как и старших братьев, неожиданно призовут случай и благоприятные обстоятельства.

Была и еще одна причина. С некоторых пор он стал все чаще искать случайной встречи с девушкой, которой прежде не замечал. Она появилась в Лариссе как будто ниоткуда. Судачить с соплеменниками, выпытывая сведения о незнакомке, ему было не к лицу, и он лишь жадно прислушивался к чужим разговорам, где только мог. Но и остальные, похоже, не знали толком, кто она такая. Известно было только, что девушку приютила одна убогая семья. Нечего было и думать о том, чтобы родители, возлагавшие на него наследственные надежды, одобрили брак будущего царя Эолии с нищенкой, а вообразить своей женой другую женщину он уже не мог. Задыхаясь и заранее краснея, он высчитывал время, чтобы оказаться на ее пути, когда она шла за водой или несла белье к памятному ручью. Девушка кланялась ему, пряча глаза, а когда однажды их взгляды встретились, у него остановилось сердце и потемнело в глазах – Сизиф зажмурился и чуть не потерял сознание.

Тем временем, простой люд вокруг, как обычно мало что знавший доподлинно, сочинял опасные выдумки об их соперничестве с Салмонеем и о пристрастном самодурстве Эола, желавшего, вопреки традициям и закону, отдать власть не тому, кому она принадлежала по старшинству, кто благодаря своим глупостям оставался на виду и пользовался популярностью, а ничем не примечательному любимчику, который вроде и не проявлял особого желания стать царем, что в свою очередь рассматривалось, как нечеловеческая хитрость, достойная порицания. Жертвой этих сплетен стала ни в чем не повинная Тиро.

Не зная, как разрешить свое будущее, и понимая вместе с тем, что время уходит, и что вот-вот отец приступит к нему с окончательным требованием выбрать себе невесту и подготовиться к царствованию, Сизиф отпросился сходить в Дельфы, чтобы получить, как он объяснял Эолу, благословение богов на столь произвольное, не пользующееся поддержкой подданных правление. На самом деле цель его путешествия была настолько темна и непонятна ему самому, что он только и надеялся на долгую дорогу и одиночество, которые должны были помочь привести в порядок мысли и сообразить, о чем же все-таки хочет он спросить дельфийскую пифию.

Сизиф вышел из дому ранним утром в сопровождении раба Трифона, без которого отец не согласился его отпустить, и мула, несшего поклажу с едой и подарками Деиону, в чьих фокидских владениях они должны были оказаться. Наши устойчивые представления об ориентации в пространстве подсказывают нам слово «спускались», и потому что путь их лежал на юг, который мы привычно помещаем внизу, и из-за того, что дорога вела к морю, к Коринфскому заливу. Но натруженные ноги путников не оставляли сомнений в том, что они поднимаются от широких равнин Фессалии в горные области Беотии и Фоки-

ды, где на одном из уступов Парнаса покоилось святилище.

Знающие люди утверждали, что в Дельфы можно было попасть за восемь дней, но после первого же часа пути Трифон, для которого путешествие было отдыхом и праздником, отчаялся убедить хозяина вести себя, как опытный ходок, экономно распределяя силы. Сизиф намеренно изматывал себя длинными, торопливыми переходами, стараясь таким образом избавиться от тревоги за двух оставленных им женщин. Неизбежные новые обиды, с которыми Тиро придется справляться самой, и неизвестно как могущая обернуться за это время судьба незнакомки, ничего не знающей о его планах, терзали его неотвязно и не давали сосредоточиться на цели путешествия. Однако, чем большее расстояние оставалось позади, тем светлее становилось у него на душе. Он замечал попутно, что во Фтиотиде и Дориде люди живут, в общем-то, так же, как и у них на севере, что горы Фокиды не выше Оссы, мед в Этее не слаще, и оливки не крупнее.

Деион, для которого появление брата было неожиданностью, очень обрадовался и ему, и подаркам, и вестям из дома, отметил с одобрением, как возмужал Сизиф, и вознамерился устроить в его честь празднество. Паломник с трудом уговорил его не хлопотать, осторожно намекнув, что целью похода был все-таки не визит к родственнику, а важная миссия в Дельфах. Он еще не оставлял надежды добраться до места за семь дней. Устойчивость и красота этого числа внушали ему дополнительную уверенность в исходе предприятия.

О трех днях, проведенных в святилище, Сизиф никому не рассказывал, как и о том, какого просил совета, и что поведала ему в ответ дельфийская жрица. Те же семь дней заняло обратное путешествие, и вернулся он еще более повзрослевшим, окрепшим и обретшим, как казалось, то душевное равновесие, к которому стремился. Все это было как нельзя кстати, ибо за время его отсутствия события дома развивались самым печальным образом.

Тиро была беременна двойней и с торжеством прошептала ему на ухо, что отцом является хотя и не сам Посейдон, но вполне достойный речной бог Энипей. На самом деле случившееся было еще более ошеломляющим, но этого она не могла открыть даже шепотом, даже ему. Однако, совсем иное утверждала злобная молва. Упорствуя в своих вымыслах и с презрением пренебрегая последовательностью событий, люди во всех подробностях описывали, как Сизиф ходил в Дельфы, чтобы узнать, каким способом ему погубить брата и соперника; как было ему объявлено, что Салмоней убьют близнецы, рожденные его дочерью от Сизифа; как он, Сизиф, нисколько не поколебался соблазнить собственную племянницу; и как теперь незаконнорожденные разбойники, едва покинув материнское чрево, разделаются с дедом и проложат дорогу тирану. Но самым зловещим были новые доверительные отношения Тиро с мачехой и тень растерянности, вдруг, ни с

того ни с сего мелькавшая во взгляде девочки.

На некоторое время Сизиф почувствовал себя беспомощным. Сколь жестоким ни казалось вмешательство в их жизнь местного божества, роль, которую люди собирались отвести ему, была еще ужаснее. У него не поворачивался язык обсуждать с Тиро обстоятельства ее сверхъестественной связи или будущее полубожественного потомства, но уверенность, с которой другим соблазнителем девушки сразу же назвали его, не оставляла никакой надежды отыскать кого-то третьего. В конце концов, город был не так уж велик, и утаить такого рода происшествия никогда не удавалось. Он уже ловил себя на том, что непроизвольно встряхивает головой, надеясь отогнать этот мучительный сон - таким глубоким было его отчаяние. Но облегчения не наступало, все оставалось по-прежнему, Тиро готовилась рожать.

Два противоположных чувства вели торопливую борьбу в ее сердце: выношенная в годы сиротства вера в избранничество, отрада, которую обещало ей участие и покровительство высших сил, каким бы смутным ни было реальное воспоминание о случившемся; и вполне ощутимая, ежедневная, всепрощающая материнская забота, по которой она так истосковалась, и которой ее внезапно окружила мачеха, не такая, оказывается, сердитая, не такая холодная, как представлялось.

Что, в сущности, предлагал ей бог, запретивший разглашать их связь и с тех пор не дававший о себе знать? С трудом сохраняемую надежду на то, что он не оставит будущим попечительством своих отпрысков и их мать, и вполне очевидное, беспощадное презрение сородичей. С другой стороны, нежное участие Сидеро, отчужденность которой от семьи напоминала ее собственную незавидную судьбу, обещало прощение греха, прочное заступничество и полную ясность. Надо было только потревожить воображение и представить себе, что в дымном, радужном эпизоде во время купания в ручье, принесшем ей короткую боль и столь же короткое наслаждение, принял участие ее прежний друг и опекун, который, напротив, оказался не так уж добр и бескорыстен. Но как раз воображение-то было, может быть, самым сильным ее свойством.

Сизифа вывел из оцепенения страх за Тиро, которую могли окончательно сбить с толку коварство обозленной женщины, решившей видимо устранить последнего соперника с дороги мужа, и повисший над Лариссой смрад клеветы. Он решил поговорить с отцом, чтобы склонить того простым царским волеизъявлением положить конец сплетне и приструнить Сидеро. Но тот отмахнулся от опасений Сизифа, и это было еще самым благоприятным исходом, так как даже имя Тиро, может быть впервые и таким прискорбным образом обратившей на себя внимание деда, вызывало его раздражение. Сизиф не находил себе места, ему уже хотелось позабыть обо всем и бежать куда глаза глядят. Что его еще удерживало, так это неразрешенные отношения с безвестной девушкой. Он больше не ис-

кал с ней встречи, боясь прочесть в ее взгляде окончательный приговор. И прежде в ее присутствии почва теряла под его ногами устойчивость. Хотя сейчас он многое отдал бы, чтобы вернуть дни предшествовавшие его паломничеству в Дельфы. Ему казалось, что он сумел бы справиться с волнением и преодолеть страх перед отказом. Однако, теперь земля не просто колебалась – она превратилась в грязный студень и оползала от любого движения, которое он решался хотя бы помыслить.

Увидел он ее там, где менее всего ожидал – у ворот собственного двора, в очереди горожан, которая выстраивалась каждый день у царского дома. Люди приходили к Эолу за советом, пожаловаться на притеснения соседей или на тяжкое житье и попросить отсрочки для уплаты подати, а то и просто лишний раз выказать царю уважение и благодарность за ту или иную заботу. Чаще всего отец встречал подданных сам, иногда эту обязанность исполняли сыновья или старший раб и управляющий, седой критянин Сулид, живущий в доме с незапамятных времен. Но в этот раз ворота оставались запертыми, и не похоже было, чтобы кто-то собирался принять просителей. Эол с царицей гостили у сына в соседней Магнесии, куда их потянули не только торговые морские интересы, а и желание хоть на время отвлечься от тягостных домашних дел. Но перед отъездом царь, как видно, забыл предупредить Сулида о просьбе Сизифа избавить его на время от этих встреч с народом. Раздосадованный, он бегом спустился с галереи и направился было к дальней постройке управляющего, но внезапно остановился и повернул обратно, стараясь ступать твердо и удержать дрожь в коленях. Усевшись на квадратный камень, уложенный в центре двора, он свистнул рабам, опорожнявшим в зарытые в землю огромные кувшины мешки с зерном, и показал им на ворота.

За его спиной они могли плести какую угодно чушь, но здесь, в доме Эола, перед лицом его сына эти людишки конечно же не решатся даже слабым намеком обмолвиться о сплетне. Они не сделают этого еще и потому, что, выдав себя, могут встретить его гневную отповедь, разоблачающую их ложь, и с ней придется считаться всему городу, а этого им хочется меньше всего. Правда, тем самым лишался слова и сам Сизиф, не начинать же самому: мол, что это у вас там за слухи обо мне ходят? Они, пожалуй, переглянутся недоуменно и заставят его самого повторить их выдумки. Однако, меньше всего сейчас занимали Сизифа эти хитрости, он не испытывал ни гнева, ни даже презрения к толпе, забавлявшей себя на досуге, не задумываясь о том, чем обернется эта болтовня для него, для Тиро или для той безымянной, которая стояла среди них. Только ради нее он и решился впустить их во двор. Когда они засуетились перед раздвигающимися створками, он заметил, как она отступила назад и заняла место в самом конце, и еще не успев осознать это ее движение, Сизиф почувствовал прилив невыразимой благодарности.

Всего было восемь человек. Излагая ему свои обычные просьбы и жалобы, на которые он так же привычно отвечал, они исподтишка старались его рассмотреть, потому что этот молодой, крепко сложенный мужчина с неподвижным лицом и прищуренными глазами не совсем совпадал с тем Сизифом, которого они знали прежде, и который легко укладывался в их рассказы. Последним перед нею был дородный и глупый купец, разбогатевший на торговле привозным тиринфским вином. Его больше всего интересовала поездка царя в приморье и то, какие выгоды можно было извлечь из того обстоятельства, что этим могучим, корабельным краем правил их земляк. Он оказался единственным, который не побоялся упомянуть о Дельфах, отчасти из-за тупости, но еще и потому, что вопрос свой использовал, чтобы проявить все возможные оттенки подобострастия.

- Надеюсь, путешествие к святилищу великого Аполлона было приятным и неустойчивым и принесло сыну царя благословение бога, которого он заслуживает более чем все мы, - сказал он, касаясь Сизифова колена в избытке почтения.

- Благодарю тебя, Акрий, - отвечал Сизиф, - Скажи, довелось ли тебе самому побывать в Дельфах?

- Нет, благородный Сизиф, в Дельфах я не бывал. Все недосуг – как оставишь хозяйство? А теперь, пожалуй и не успею, да и силы уже не те, что раньше.

- Наберись сил, Акрий. Поверь мне, вся наша жизнь, все богатства не стоят и оливковой косточки, если не услышишь хоть раз, как говорят боги, и не откроется тебе разница между их речью и нашим лепетом.

Разодетая и довольная собой туша удалилась, бормоча что-то о мудром совете и о том, что, пожалуй и впрямь нечего так уж пекся о здоровье, потому что старому коню и бежать меньше осталось. Теперь перед Сизифом стояла одна девушка. Конечно же их было только семеро, ибо она пришла не с ними. Она сочла нужным оказаться здесь, чтобы он смог, наконец, приблизиться к ней, совершив семь неизбежных томительных шагов, как пришлось ему одолеть семь дней пути, чтобы очутиться в Дельфах и увидеть грозные, причудливых очертаний тучи над Парнасскими вершинами.

Девушка опустила на землю небольшую со стершимся, цвета сушеных винных ягод рисунком амфору и, поклонившись, передала просьбу своих хозяев принять этот ничтожный дар – немного масла, очищенного особым способом – в благодарность за немислимую щедрость царя, освободившего их нищий дом от старого долга. Сизифу не хотелось шевелиться, чтобы не утратить чувство покоя, разлившегося по всем членам. Изпод прищуренных век он смотрел, как ветер перебирает складки ее выцветшего белесого хитона, и слушал лишь голос, очень тихий, но не от робости, а по природе, потому что звучал он уверенно, и если бы это было ему важно, он мог легко разобрать каждое слово. Он изумлялся своему спокойствию, которое снизошло на него как награда за незаслуженное,

но от этого не менее тяжкое обвинение, за остро пережитую им в мыслях возможность ее потерять. Шуршало сыпавшееся зерно, легкая, небесного цвета ткань живыми волнами обтекала стройное, казавшееся невесомым тело, злобные выдумки не требовали объяснений, и большая птица, метавшаяся в груди, не находя выхода, легко выскользнула наружу и взмахами мощных крыльев устремилась ввысь, увлекая за собой обоих.

Сизиф встретился с девушкой взглядом и различил в ее глазах тревогу – он слишком долго молчал, и она не знала, что делать.

- Я не знаю твоего имени, - ответил он на ее немой вопрос.

- Только и всего? - сказала она, и в уголках ее губ засветилась улыбка, - Меня зовут Меропа.

Он протянул руку, повторяя жест, который вспомнили его мышцы – однажды он уже тянулся к чему-то недостижимому, наверно во сне, оставившем безответным его порыв и пустой ладонь. Теперь в нее легли прохладные пальцы.

- Пойдешь ли ты за меня замуж, Меропа?

- Если ты того пожелаешь.

- Перед всемогущими богами я беру тебя в жены, веселье моего сердца, свет моих глаз, сладкая боль души моей.

- Перед богами и миром я беру тебя в мужа, опора моей руки, пламень моих щек, радость жизни моей, добрый Сизиф.

Рабы не заметили, как эти двое, держась за руки, покинули двор, и створки ворот остались распахнутыми, поскрипывая просмоленными веревочными петлями.

Когда Сизиф возвращался к вечеру домой, проведя день в хижине, где он неторопливо обсудил с приютившими Меропу стариками ее будущее, ворота все еще были открыты. Перед ними толпился народ, будто что-то случилось. Чуть в стороне лежали сложенные кучей набитые заплечные мешки, у некоторых в руках были незажженные факелы. Но шагу он не прибавил. Все сейчас достигало его сознания не сразу и слегка приглушенным. От расступившегося перед ним люда он узнал, что причиной переполоха было исчезновение Тиро, которую, оказывается, никто не видел уже два дня. В самом дворе раскрасневшаяся Сидеро кричала на рабов во главе с Сулидом, сокрушенно качавшим головой. Салмоней там не было.

Его увидели, и голос Сидеро оборвался, только взгляд ее полыхал огнем.

- Где Тиро, женщина? - спросил Сизиф так, как спросил бы случайного раба о местонахождении управляющего.

- Вы поглядите на него! - громко, не в лад отвечала Сидеро, - Уж не ты ли поставил меня сторожить свою воспитанницу?

- Закройте ворота, - распорядился Сизиф и вновь обратился к фурии, - Где Ти-

ро? Все эти дни вы были неразлучны.

- А к кому же было прильнуть бедной девочке? - продолжала кричать Сидеро, озираясь и вовлекая в скандал всех присутствовавших, - Да вот ведь и не девочка она уже. В советах наших не нуждается. Может ты догадаешься, что ей могло в голову прийти?

Сизиф догадывался об этом, как и о том, что могла вложить в ее голову мачеха. Но даже его догадка не могла поколебать светлого покоя в душе. Как свадебная суматоха не развеяла когда-то его печальных предчувствий, так и визг этой женщины нисколько не смутил его уверенности в том, что Тиро ничто не грозит.

- Подите прочь, - выговорил он, обводя взглядом рабов, и когда остался наедине с невесткой, произнес еще тише, - Тебе следовало бы спросить разрешения у мужа, прежде чем голосить здесь и смущать рабов и народ. Почему ты не с ним рядом?

Ответить Сидеро не успела, так как в дверях дома показался Салмоней. Сначала Сизиф подумал, что брат отправляется на поиски дочери, но тут же усомнился – уж слишком обстоятельно тот был снаряжен в дорогу. И тут же они услышали громкий стук в ворота и голоса, зовущие их всех по именам. Стоявший в отдалении Сулид побежал снова снимать запоры. Ему пришлось повозиться, раздвигая створки наружу, так как толпа, казалась, еще увеличилась. В воротах стояла Тиро.

Даже опускавшиеся сумерки не могли скрыть мертвенного выражения ее лица с черными пятнами вместо глаз. Великий акт разрешения от бремени случился с ней каким-то мрачным и устрашающим образом. Она двинулась к дому, и сразу стало заметно, что девочка едва держится на ногах. Однако, никто из столпившихся у ворот не шевельнулся, чтобы ей помочь. Удержал себя и Сизиф – здесь были ее отец и так не в меру тревожившаяся о ней мачеха. Салмоней, задержавшись лишь на мгновение, зашагал навстречу дочери, так и не выпустив из рук тяжелого узла и крепкого дорожного посоха. Они не успели еще сойтись, когда Сизиф понял наконец, что совершаются одновременно два события. Ясно стало, и что вызывает такое отчаяние Сидеро. Салмоней оставлял дом.

Это было одним из самых сильных потрясений в его жизни – наблюдать, как молча, не глядя друг на друга, расходятся, не встретившись, отец и дочь, плотно окутанные каждый собственной скорбью и влекомые собственной судьбой, и как в точке несостоявшейся встречи остаются стянутыми в узел не только их судьбы, но давно забытые деяния всех братьев, нанесших некогда обиду мелкому речному божееству; случайное проклятье униженного ими старика, обретшее силу предсказания; возмездие более важного владыки вод, павшее на самое слабое звено в семье; то же возмездие, искаженное в умах недалекого люда, метившее мимо цели, но благодаря непостижимой связи причин и следствий, включая злую волю обманутой в своих ожиданиях женщины, обрушившееся все на ту же жертву; отсутствие царя, предпочетшего не вмешиваться в

драму, разыгрываемую богами; его собственный несвоевременный поход в Дельфы – будто боги намеренно отослали его, чтобы легче было вылепить гибельную легенду... В зыбком свете факелов, которые начали вспыхивать один за другим, Сизифу показалось, что он различает невидимые тугие струны, пронизывающие бытие, соединяющие небо, землю и морскую пучину, богов и людей, и ощущает тягу, уйти от воздействия которой никому не дано. И эта же неумолимая сила побуждала его прислушаться не к собственным порывам, а к ее всепроникающему гулу и не пытаться что либо исправить, соединить то, чему суждено развалиться. «Пора!» – сверкнула в его мозгу ясная и завершенная мысль, и тяжело стукнуло ей в ответ упавшее сердце.

Сизиф сумел все-таки подхватить лишившуюся сил девочку и, унося ее в дом, слышал, как отчаянно взывала к мужу Сидеро, умоляя его одуматься, не навлекать на себя еще большего гнева богов, и так не очень благосклонных к их браку. Короткий ответ Салмоная предлагал ей не тратить время и собираться, если она все еще считает себя его женой. Величественный выход за ограду был пока только демонстрацией его решимости – вместе с двумя десятками последователей Салмоней располагался на ночь лагерем неподалеку от царского дома. На рассвете они должны были отправиться дальше, следуя какому-то внушению своего вождя, и Сизиф не терял надежды узнать у брата, что же он задумал на этот раз.

Пока нянька купала Тиро, он оставался поблизости, догадываясь, что его помощь может еще понадобиться. Впав в забытё, девочка не слышала причитаний и расспросов старухи, но вдруг очнулась, стала вырываться из нянькиных рук и звать Сизифа. А потом, будто они вернулись на много лет назад, Тиро, съезжившись у него на коленях и спрятав на его груди мокрое лицо, рассказывала, как страшно поступил с ней сын Океана. Да, да, да, это был не юный и прекрасный речной бог Энипей, с которым у Тиро начали было налаживаться нежные отношения. Приняв его образ, ее соблазнил сам всемогущий Посейдон и, совершив непоправимое, надругался над своей жертвой, представ в собственном косматом и пенном облике, шумно веселясь при виде ее растерянности и угрожая гибелью, если она вздумает хвалиться участью избранницы.

Тиро ничего не понимала. Осуществилась ее тайная мечта, но предмет девичьих грез оказался не только смертельно опасен, но – страшно вымолвить – не благоден. Тем временем, мучительные превращения вокруг нее продолжались. Мачеха, которой она до тех пор боялась больше всего на свете, стала заботливой матерью, а в одно из тяжелых мгновений ей почудилось, что легче поверить в коварство близкого, но такого простого и смертного старшего друга, чем постичь уродство и жестокость великого бога.

Сидеро охотно согласилась ей помочь и позаботилась о том, чтобы никто не заметил, как юная мать, кусая губы и не издав ни стога, родила близнецов. В ту же ночь она

вывела Тиро за ворота, и та с младенцами на руках ушла далеко в горы, где в глухой, заросшей пещере оставила новорожденных братьев, смирившись с тем, что их появление на свет было ошибкой, божеской или человеческой.

Трудно было бы объяснить, откуда взялись у нее силы на эту страшную дорогу впотьмах с живой ношей, избавиться от которой можно было лишь у самой цели. Но еще труднее оказалось выполнить до конца задуманное, и Тиро целый день просидела, кормя и баюкая младенцев, прежде чем рассудок ее не померк, и она не перестала ощущать тепло и холод. Только тогда она отправилась обратно, уже не слыша, как обиженно и требовательно вопили ей вослед малютки. Но как ни слаба она была, девочка увидела и отчужденную фигуру отца, которому ни к чему было спасение, доставшееся дочери таким чудовищным способом, и знакомую прежнюю ненависть, сверкнувшую в мимолетном взгляде мачехи, и поняла, что вновь обманута.

Глядя по щекам вернувшегося к ней друга и опекуна, забывая о собственных слезах, девочка горячо убеждала Сизифа, что никуда не надо ходить, что судьба малюток снова в руках бога, сначала лукаво пролившего свое семя, а затем безжалостно отрешившегося от него, и что даже злобная молва, которой не дано отразить истинную причину несчастья, сразу уймется, получив такое простое разрешение, а скоро и вовсе забудется. Единственное, что повергало в отчаяние несостоявшуюся мать, это собственное предательство по отношению к дяде, дурная слава, которая ему по ее вине грозила, и боязнь холодного одиночества впереди.

Сизиф слушал доводы так нескладно повзрослевшего ребенка с недоверием, но при всей их бесчеловечности, они совпадали с тем мимолетным откровением, которое он испытал во дворе малое время назад. Не следовало ничего исправлять, наоборот, нужно было сделать то, что в его силах, чтобы довести опустошение до конца.

Много лет спустя ему предстояло открыть, что придя с Тиро к согласию, они недооценили и изобретательную живучесть людской памяти, и кажущуюся простоту божественных поступков. Молва со временем не то что не иссякла, а удвоилась, закрепив в бесчисленных повторениях историю о двойне, рожденной Тиро от Сизифа и умерщвленной матерью, чтобы спасти своего отца от предсказаний Дельфийского оракула, и о второй двойне, рожденной ею от Посейдона и брошенной в горах или пущенной к гибели по течению реки. Провидение же, напротив, обнаружило себя довольно сострадательным образом, сохранив действительно покинутых Тиро младенцев и даже вернув Нелея и Пелия матери, когда они подросли.

Но в тот момент, которому мы являемся свидетелями сейчас, Сизиф всеми силами души возвращает племяннице свою любовь и поддержку, стараясь одновременно погасить в сознании застрявший образ, ярче всего запечатленный в нем исповедью Тиро –

образ бесчинствующего и глумливого бога Посейдона.

Успев многое пережить и даже ужаснуться неумолимой силе правящей мирозданием, своими глазами видя, как легко она комкает и обрывает людские судьбы, Сизиф, тем не менее, быстро забывал тогда все, что могло бы потревожить его душу. С уходом из дома, чудесным образом совпавшим с обретением любимой женщины, жизнь его началась сначала.

Глубокой ночью выходя во двор, чтобы встретиться с братом, он не испытывал больше гнетущей потребности объясниться или постараться понять, что движет Салмонеем, уж не говоря о том, чтобы отговаривать его от новой затеи, сколь бы ни была она бессмысленной. Он готов был даже с сочувствием выслушать фантазера и проводить его в путь по-братски, как того требовали воспоминания о прежней привязанности – она была, пожалуй, единственным, с чем ему жаль было расставаться.

Костер, у которого сидели Салмонеем и несколько его бодрствовавших сподвижников, горел ярко, и Сизиф впервые заметил, что борода у брата совсем поседела. В этой голове должно было твориться многое, о чем и не подозревали ни те, кто наблюдал за причудливой деятельностью Салмонеем, ни те, кто в ней участвовал. Люди потеснились, и Сизиф сел рядом с братом. После недолгого, неловкого молчания он сказал:

- Я тоже ухожу. Если ты думаешь, что таким образом освобождаешь мне место, самое время передумать.

- Что ты такое мелешь! - отвечал Салмонеем знакомым низким голосом. - Как это можешь ты уйти, бросив отца и мать, и остальных эолийцев? А впрочем, какое мне дело. Могу даже взять тебя с собой по старой памяти.

- Куда же лежит твой путь?

Салмонеем переглянулся с сидевшими вокруг, вроде советовался, стоит ли открывать простому любопытству цель, которая так их манила, что заставила сняться с места два десятка мужчин, у большинства которых дома оставалась семья.

- Давно ты не спрашивал, чем занят Салмонеем. Не боишься, что я тебя сманю? И позабудешь ты свою Меропу.

- Ты знаешь о Меропе?

- Он думает, что все вокруг ослепли, - сказал Салмонеем своим спутникам, и те с готовностью гоготнули. Но эта насмешка распустила напряжение, повисшее вокруг костра с приходом Сизифа.

- Слышал об Архомене?

- Да, если это вотчина нашего Афаманта, город, что лежит на пути к Фивам. Я оставил его в стороне, когда шел в Дельфы. Местный люд называет его по-другому – Орхомен.

- Ничего примечательного нет ни в Фивах, ни во всей той стороне, включая Афины, а то и сами Дельфы. Все то же однообразное житье. А вот на западе есть место, где люди приготовились жить по-новому и только ждут таких же, как они сами. Зовется это место Архомена, туда мы отправимся утром.

- Что же мешает этим людям начать новую жизнь? Чем вы собираетесь им помочь?

- Нет, мальчик, я пошутил. На этот раз я не хочу смущать твой покой. Остаешься ли ты править Эолией, уходишь ли, как сказал – я не стану сбивать тебя с толку. Тем более, что пришлось бы начинать от самого яйца, чтобы пояснить, куда мы идем и зачем. Стой, Гилларион! - обратился вдруг Салмоней к одному из сидящих у огня. Тот уже некоторое время издавал прерывистое мычание и одновременно притопывал босыми пятками, - Повремени, если можешь, и побереги себя, нам еще пригодится твоя сила.

Но человек его уже не слышал. Сидевшие рядом с Гилларионом вскочили на ноги и сгрудились по другую сторону костра. Вглядевшись повнимательнее, Сизиф понял, что это пришелец. А когда тот положил на свои подпрыгивавшие колени руки, увидел, что у него не хватает нескольких пальцев, один же был завязан грязной тряпицей.

- Ну, значит так тому и быть, - сказал Салмоней, отодвигаясь к остальным и уводя за собой брата, - Смотри и слушай. И не говори потом, что снова, мол, Салмоней невесть что сочиняет.

Беспалый тем временем поднялся и начал медленно боком перемещаться, совершая при этом ногами и руками плавные замысловатые движения, будто ткал невидимую паутину. Оказавшись шагах в десяти от костра, он стал тем же образом возвращаться и только теперь, казалось, услышав прежний окрик Салмоней, подхватил его и забормотал сквозь стиснутые зубы:

- Стой! Стой! Замолчи!

Завяжи узлом язык!

Глотку войлоком заткни!

Губы жилою зашей!

Один из наблюдавших в изумлении зацокал языком, и этот звук тоже был тотчас подхвачен бесноватым:

- Чмок! Чмок! И молчок!

Шею затяни пенькой!

Зубы на зубы надвинь!

Вязкой глиной рот забей!

Вдруг он замер и несколько мгновений оставался неподвижным, а затем тело его пронзила судорога, что вновь напомнило Сизифу о пауке, ждавшем добычи у края сво-

ей ловушки и теперь содрогавшемся вместе со своей хитроумной сетью от яростных попыток жертвы освободиться. Вскоре конвульсии прекратились, и тогда руки и ноги Гиллариона возобновили плавный танец. Теперь, однако, он оставался на месте и бережно поворачивал неведомую добычу, закутывая ее в липкую паутину. Завершив работу, он в бессилии опустился на колени, руки его повисли и голова упала на грудь.

- Теперь спрашивай, - прошептал Салмоней, - Называй его Всеведущим.

- Всеведущий, похоже ты одержал победу над кем-то? - произнес Сизиф, с трудом шевеля онемевшими губами.

- Все здесь, - отвечал Гилларион неожиданно бодрым голосом, - Все боги – в коконе, живые, но бездыханные.

Туманный, невообразимый смысл его слов пугал меньше, чем прежде исступление, но Сизифа не оставляло ощущение тревоги, предчувствие каких-то более определенных слов, которые нельзя было ни произносить, ни выслушивать в присутствии других людей.

- Знаешь ли ты, Всеведущий, куда направляются эти добрые люди?

- Сам себе отвечаешь, раз зовешь меня по имени. Но «знать» и «сказать» – не одно и то же.

- Тогда не скажешь ли?

- Сказать легко, когда боги умолкли. А услышать и уразуметь – опять вещи разные.

Испытание, которому подвергался Сизиф, не доставляло ему удовольствия. Он отнюдь не готов был состязаться в чем бы то ни было. Душа его была размягчена согласием Меропы и примирением с племянницей и братом. И если бы речь шла только о том, чтобы не уронить достоинства перед Салмонеем и его спутниками, он, вероятно, сдался бы, объявил себя неспособным понять беспалого и отошел в сторону, предоставив остальным внимать его пророчествам. Но ответы Гиллариона, которые на самом деле были вопросами, тот обращал только к нему, Сизифу, нисколько не считаясь с присутствием посторонних. Сизиф понял вдруг, что спрашивает оборванца совсем не о какой-то несуществующей Архомене, и тот готов ему ответить.

- Говори, я пойму, - поспешно продолжал он.

- Безумие постигло Архомену, - начал беспалый, - фальшивое безумие, которое не дано людям отличить от настоящего. И в безумии этом губят они своих детей и друг друга, внушая отвращение к себе и страх перед всесилием богов. А вся вина их в том, что не в пору стали говорить и молчать не вовремя. Столь благодатным краем стала Архомена, таким мудрым и могучим вырос там народ, что зависть обуяла тех, кто думает, будто правит небом и землей...

Сизиф подумал, что ослышался, и мельком взглянул на стоявших рядом. Они жадно внимали каждому слову, кто-то даже согласно кивал. Совсем недавно он воочию наблюдал, как сокрушительна может быть верховная месть, да и рассказ бесноватого свидетельствовал о том же. Не укротил же он в самом деле олимпийцев, стянув их своей вообразимой сетью. А если даже и так – не вечно же удастся их удерживать. Ему захотелось бежать стремглав, успеть как можно дальше оказаться от этого места, когда иссякнет зловещая магическая сила этого бродяги, и боги обретут свободу наказывать вольнодумца вместе с его легкомысленными слушателями. Но в это время он ощутил на своем плече тяжелую горячую руку брата.

- Совсем немного оставалось архоменийцам, - продолжал Гилларион, - чтобы самим стать истинно безумными, взглянуть без страха на богов и их подлинную силу и подняться с ними вровень. Но не спешили люди, не зная за собой греха, зла никому не желая, и боги явились загодя, обратив вспять людские пути, смятением исказив незрелые души, нездоровьем ума предупредив здоровое безумие. Прежнюю Архомену теперь не спасти, но те, кто туда попадут в срок, будут проворнее.

- Что это, Салмоней? - шептал Сизиф брату на ухо, - Вы сами-то не лишились ли ума?

- Ты не видел его полной силы, - отвечал Салмоней, - Где он пальцы потерял, как думаешь? Нет, с ним и самому Зевсу не совладать. Когда он по-настоящему берется за дело, может сам себе палец откусить, и тут уж, поверь мне, я это видел – от него огонь и гром небесный отскакивают.

- Он, значит оттуда, из Архомены?

- Нет, дома своего у него давно нет. Говорят, что родился во Фракии и бродит по всей Греции.

В уверенном речитативе беснующегося и правда угадывалась редкая власть. Он удерживал ее при себе, не стремился использовать на подчинение других, и тем его проповедь отличалась от вдохновенных небылиц Салмоней, немедленно увлекавшего невинные души. И вместе с тем, речь Гиллариона завораживала, пожалуй, даже сильнее. А если он оставлял тебе время подумать, то только затем, чтобы ты ясно осознал: решившись следовать за ним, уже не сбросишь наваждение и не свернешь с пути, пока не достигнешь названной цели вполне. Нашел, наконец, свое место и Салмоней, который по сравнению с бездомным и нищим оборванцем казался благопристойным трезвым мужем. Он глубже других мог проникнуться смыслом видений вещуна и, в качестве посредника, устроить земные дела по его фантастическому плану.

Гилларион выпрямился, поднял лицо и несколько раз с силой провел по нему изуродованными руками.

- Не бойся, юноша, - обратился он вновь к одному Сизифу, - Их уж нет здесь более. Разлетелись каменные куклы. И не их страшиться следует. Всю кожу обдерешь, сюда к вам проталкиваясь, и нарастишь новую, и вновь слезет, и опять вырастет, и много раз, пока не станет жесткой мозолью, и тогда перестанешь помнить о белом цвете и безмолвии, а страшнее этого ничего не бывает.

- Пришла, пакостница? - произнес Салмоней, и все увидели Сидеро, давно уже понуро стоявшую в отдалении, - Возьми вон одеяло и ложись спать. А с завтрашнего дня чтобы ни слова о старом доме.

Людские обиды и даже жалобы на богов Сизифу приходилось слышать не так уж редко, но впервые он встречал настоящих бунтарей и отщепенцев, не только не смущаемых неслыханным кощунством чужеземца, а готовых вместе с ним презрительно плюнуть на незыблемый уклад неба и земли. Оторопь его прошла, он вдруг увидел в истинном свете это сборище взрослых детей и едва удержал улыбку.

Невероятно длинным оказался этот день его жизни, но завершился и он, так как на матово черных небесах начали бледнеть звезды, а пламя догоравшего костра задувал утренний южный ветер Нот.

Те несколько дней, что продолжалась непрерывная работа, дали о себе знать, когда Артур, посидев ещё некоторое время неподвижно, улёгся на диван и вскоре обнаружил, что не может заснуть. Только тут он заметил яркий свет сквозь опущенные жалюзи и понял, что часы показывают день. Он погасил лампу и, стараясь не наступать на разлетевшиеся по полу листы, вышел на улицу. Замедлившее работу сознание вяло отмечало шевеление и звуки, но задержалось на неподвижной картине, свидетельствующей, тем не менее, о значительных переменах. Участок перед домом покрывала давно не стриженная, заползавшая на бетонную дорожку трава, в которой валялись несколько сухих сучьев; в неравномерно разросшихся кустах густо вились удушающие шнуры плюща; на тротуаре за забором лежали на боку пустые мусорные баки, которых не было ни у соседей, ни у дома напротив; и он не знал, сколько дней прошло с четверга, когда после заезда мусорщиков их следовало унести обратно к дому. Подобная неряшливость, тут же оборачивалась запустением, будучи окружена аккуратными соседскими газонами, и всегда его удручала. Он с опаской прикинул, сколько времени понадобится, чтобы привести все в порядок, и ужаснулся – это был только передний двор, третья часть всего участка. Разумеется, не три-четыре дня сотворили этот хаос, но они отчетливо его проявили, а хозяин дома не мог даже сказать, когда он в последний раз становился за косилку или брал в руки садовые ножницы. Испугала же его мысль о том, что через неделю все придется проделывать снова. Было время, когда эти усилия доставляли ему удовольствие, потом просто не тяготили,

сейчас они показались совершенно ненужной и вместе с тем настоятельной обязанностью. Артур впервые всерьез подумал, что если дочь не захочет тут поселиться, дом надо продать. И в обоих случаях ему придется искать другое жилье.

Он вернулся в комнату, собрал листы, но складывать их по порядку не стал – перечитывать написанное он не собирался. Спать по-прежнему не хотелось, хотя голова была тяжелой, и в заложенных ушах стоял негромкий, устойчивый звон. Единственный раз, когда он испытывал это ощущение, был связан с участием в школьном шахматном турнире. Ему было тогда лет двенадцать. Партия была последней, позиция его – очевидно выигрышной, но он никак не мог найти нужный и явно элементарный ход, чтобы задавить своими сгрудившимися фигурами оголенного короля противника. Безмолвное, ожесточенное нетерпение остальных участников турнира, столпившихся вокруг, плавало мозг. И когда он поставил все-таки мат, этот размягченный мозг не способен был ответить ни на какие ощущения, включая радость победы. Тяжесть в голове, звон в ушах и полная бесчувственность не покидали его до следующего утра. В соревнованиях он никогда больше не участвовал.

Было ясно, как готовить следующую главу о Коринфе, где Сизиф поселился с Меропой, сначала простыми горожанами, но вместе с сознанием притупилась воля, и ритм работы был утрачен. Артур смирился с тем, что необходимо отдохнуть, что для этого придется ждать ночи, и решил убить время, наведя все-таки порядок в доме. О прищельце он вспомнил, только начав ощущать его присутствие, на этот раз еще до того, как его увидеть. Тому как будто потребовалось какое-то время, чтобы собрать в видимые формы те элементы, в которых вообще возможно было его существование. Изменился и его облик: кожа казалась светлее, вместо грубого хитона на нем была просторная рубаха до полу, а на руке больше не было повязки. Проследив за взглядом Артура, Сизиф тоже посмотрел на свою ладонь, повернул ее тыльной стороной, потом сказал:

- Ты теперь больше похож на пеласга, чем я.

Артур потрогал отросшую щетину на щеках – она была длиннее, чем он когда-либо позволял себе отпустить.

- Будешь продолжать? Или я могу привести себя в порядок?

- Говорить? Нет, не буду.

- Значит, мешать мне не входит сегодня в твою задачу?

- Бывают дни, когда и муравей не работает.

- И все же пришел?

- Мне нравится здесь. Мы создаем какие-то приятные колебания.

- Ну ладно, - сказал Артур и ушел в ванную. Ему пришлось пройти очень близко от Сизифа, который стоял у притолоки, и он с удовлетворением отметил, что тот не из-

дает даже намек на запах. Не спеша снимая бороду безопасной бритвой, Артур проникался уверенностью, что вернувшись гостя не застанет. Но тот по-прежнему стоял, прислонившись к косяку и сложив руки за спиной.

- Раз ты еще здесь, может скажешь, что думаешь о моей работе?

- Кто это из вас догадался, что тени умерших хранят молчание, пока живые не напоят их кровью? Ну, или чем-то таким, не менее важным, без чего плоть и в самом деле гибнет...

- Гомер.

- Понятия не имею, чем оно может быть. Узнаю, вероятно, лишь вкусив.

Артур сидел, откинувшись на спинку дивана, вытянув ноги, и, лишенный каких бы то ни было сил к сопротивлению, даже к простой беседе, знал, тем не менее, что защищать себя ему не нужно.

- Мне не жалко, - отвечал он греку, - я бы с удовольствием тебя угостил этим самым, но очень устал. Разве что сам возьмешь. Но главное-то... Главное в том, - продолжал он после заминки, - что мне ничего от тебя не надо.

- То-то и оно, - грек уже сидел рядом, но и это незаметное перемещение не тронуло Артура – он вполне мог и отключиться на секунду, - добиваетесь аудиенции, а зачем – неизвестно.

- Такой цели у меня не было.

- А какая была?

- Да это, в общем-то, мое дело.

- Если в сон клонит, ты не сопротивляйся, нам это не мешает.

Артур почувствовал облегчение, больше не нужно было шевелить языком. А тем временем вслед за обликом стала меняться и суть гостя. Сквозь благопристойную по-прежнему внешность проступала механическая основа вечного двигателя. Страдалец-сангвиник, носивший свой крест с терпеливым достоинством, как средней тяжести зубную боль, и нимало не озабоченный разрешением от этого бремени, не имел ничего общего с Сизифом. То, что когда-то показалось загадкой, было, видимо, более отчетливым, чем обычно представлением о дурной бесконечности. Причем, сам Сизиф являлся не столько ее жертвой, сколько воплощением. Такое видение не могло быть продуктом его сознания. Но если это какая-то посторонняя злая сила, незачем отождествлять ее с Сизифом. Или это все-таки он – строптивый, одномерный и совершенно неинтересный? Не может быть...

- Как не может быть? - переспросило чудовище, - Нет, это уж ты там у себя командуй, как кому выглядеть и каким хлебом жить. Нас твой произвол не касается. О распаде слышал? О тлении? О том, что человек необратимо смертен? Всякое желание наряжаться пропадает. Я ведь намекал тебе. А будет еще хуже, совсем с тобой церемониться

перестанут. Наврал страниц пятьдесят – полдома сгорело. Еще сотню – паралич всей правой стороны. Скажи спасибо, что я тут появляюсь время от времени. Каково было бы без предупреждения-то?

- Надо, значит, чтобы не оставалось, что терять, - Артур пытался сообразить, что же он перед собой видит. - Цель? Вот цель – ваши Элевсинские таинства. Бывал там?

- Не помню.

- Ну, допустим. Говорят, они снабжали человека опытом знакомства с запредельным миром. Но их запретили полторы тысячи лет назад. Что делать? Побродить тенью за кем-нибудь из вас, может, наткнёшься на что-нибудь полезное. Медитация своего рода.

- Воображение?

- Те, кто там, в святилище откровение получали, разве они другим пользовались?

- А зачем тебе в запредельный? Жену повидать? Нет, нет, ты не куксись, не оскорбляйся. Что мы вдруг такие нежные стали! Мое дело... Вообрази, что мое дело – твоими делами заниматься, и не юли. Если жену, так я могу привести. Но вот, видишь ты, я тебе уже не нравлюсь. Что, как и она не понравится? О чем с ней беседовать собираешься, о гардеробе?

- Кто ты такой?

- Сизиф, сын Эола, внук...

- Перестань!

- А! Вот где собака зарыта. Не нужно тебе никаких новых знакомств. Ты хочешь свое протолкнуть туда, за пределы, локтями поработать. Замечательно! Ничуть не ново, разумеется, но много ли нам новизны требуется?

- Камень без конца ворочать не старо, по-твоему?

- Полный застой и мажор. С одним добавлением или, лучше сказать вычитанием – никакой цели. И еще один секрет тебе открою: никто ко мне не является.

- Даже плеяда?

- Кто?

- Жена твоя, Меропа, тоже ведь где-то там.

- Там – это где? В окрестностях запредельной горы? Мы с тобой живопись Брейгеля обсуждаем?

- Я плохо понимаю, что мы обсуждаем. Но что же надо сделать, чтобы такое блаженство заработать?

- А ты такое хочешь? Я скажу. Условие одно – исполнить немедленно. Если готов ко мне присоединиться – то есть, может быть, в какой-то иной форме идиотизма –

можно это устроить, хоть сегодня. Но ежели ты хочешь сначала узнать, потом взвесить, подходит ли тебе, тогда нет, извини. Так эти вещи не делаются.

- Пожалуй, я все же посмотрю сначала, чем там, в Элладе дело кончилось.

- Да я так, примерно, и представлял себе твои амбиции. И ты напрасно думаешь, что я хочу тебя удержать. Я даже обещать не могу, что продолжу наше знакомство поддерживать. Но ведь и на мне свет клином не сошелся. В конце концов, ты мог бы и Орфеем, скажем, заинтересоваться. В Элевсине он, кажется, не был, но в Аид обернуться сумел. А главное – певец все-таки, поэт, так сказать. Легче сговориться будет, наверно.

- Там совсем другая история. Там и речь, кажется, не о смерти. И что он не был посвящен, лишний раз доказывает, что сам Аид его не интересовал, и богам нечего было беспокоиться. Обезумел от горя, был достаточно простодушен, чтобы подчиниться одной страсти... Не думаю, чтобы он там особенно глядел по сторонам.

- Ты опять будто о спуске в шахту говоришь. Можно ведь не ослеплять себя до такой степени. Зная, чем это кончается, ошибок не повторять, сосредоточиться...

- Нет! Все не так! - Артуру казалось, что он кричит, но он просто плакал во сне и не мог остановиться. Слова грека будто распустили легким прикосновением крошечный узелок в запутанной, бездействовавшей системе памяти. Воспоминания выровнялись в величавое шествие, и самые пустяковые из них омывались обильными слезами, которые не мешали ему, однако, говорить, потому что рассказывал он именно о том, о чем плакал, - Ходил я этой дорогой много раз. Ничего не получается – и с удачей, и без нее. Остаешься там, откуда вышел, таким же невинным, не испытал преобразования, ничего не постигнув... Так стыдно! Здесь ведь и спрятано коварство условия, которое ему поставили, разве нет? Не оглянувшись на Эвридику, которая совершает страшный переход от небытия к жизни, неведомый Орфею из-за его слепого порыва, загнавшего певца дальше, чем это позволено смертному, он вышел бы сухим из воды, не смог бы даже с уверенностью сказать, побывал ли в Преисподней. А возвращение любимой казалось бы таким же чудом, как понимание им языка птиц и зверей. Выходить сухим из воды – это доблесть прохиндеев. Понимал ли он, что именно с ним проделывают, не знаю. Но уж, наверно, ощущал какой-то озноб унижения. Оглянувшись же, проиграл разом все, потому что позорные правила принял. Короче говоря, он не человек был бы, если бы не обернулся. И никакого счастливого конца здесь быть не может. Конечно, загадка жизни и смерти тут где-то рядом, но в этом случае она так и остается в стороне, и речь все-таки идет о любви, а не о смерти.

- Вон как ты разделил.

- Да, мне кажется, это не всегда одно и то же.

- Ну, просыпайся, просыпайся. Ты так рвешься к пробуждению. Это хорошо,

что ты твердо знаешь, где твой сон, а где явь. Иди к своей косилке, к запискам. И поскольку ты уже способен ясно различить, что есть смерть, а что любовь, может быть, в свободную минуту, когда надоест водить грека за руку, попробуешь разгадать печальную участь женщин, попадавших в объятия богов не по своей воле?

* * *

Он очнулся все в том же сидячем положении. Онемела ступня слишком вывернувшейся на полу ноги, ныла шея с правой стороны, уставшая держать висящую голову, кожу на лице стягивала высохшая влага, но чувствовал себя Артур отдохнувшим. За окном в темноте резко трещали цикады.

Он сварил кофе, обдумывая неожиданную перемену в планах. Женщины, стало быть...

Божественный мезальянс играл косвенную роль и в судьбе Сизифа. Один случай – соблазнение Посейдоном племянницы Тиро – был этой историей уже отчасти освоен, другой, послуживший непосредственным поводом к окончательным неприятностям грека, еще предстояло описать. Кроме того, нельзя было упускать из виду, что гость, пожалуй, впервые действовал на него не разрушительным, хотя и далеко не поощряющим образом. Это ослабляло отталкивающее впечатление от его недавнего присутствия. Это, и еще какое-то неясное чувство благодарности.

Но возвращаться надо было далеко – к скале или дубу, по распространенной присказке тех времен, или, пользуясь упрощенной лексикой Салмоная – к яйцу. Вопрос касался явления воспроизводства, которое обрело особый смысл с появлением разумного существа. А процесс, приведший к возникновению человека, как и до того – к созданию мира, в котором тому предстояло существовать, не был ни прямым, ни коротким.

Артур сидел над самой первой страницей рукописи, легшей поверх всех остальных и прижимавшей их к столу неподъемной новой тяжестью.

5.

Чтобы перейти от нераздельной, всеобъемлющей первосущности к плоти и крови, надо было преодолеть несколько нелегких уровней. По крайней мере стоит напомнить нашему, до отказа забитому земными представлениями сознанию, что истинный Бог, источник и первопричина всего сущего, никаких чудес не производил. Имея в виду отделение света от тьмы, уж не говоря о разъединении неосязаемого бесформенного правещества на твердь и хлябь, так сказать, Он должен был сначала осуществить некие трансформации своей бескрайней творческой потенции в иерархию

посредников, со все более сокращающейся способностью к созерцанию и все увеличивающейся готовностью к действию – все менее праздные и все более умелые руки. Это были могучие боги или демоны, созидательную силу которых вполне можно приравнять к силе Творца. Отличие заключалось в том, что они воплощали собой идею разъединения неделимого и уже не обладали важнейшим качеством единственности.

Осмыслив этот феномен производства созидательной иерархии сверху, можно вообразить масштабы задач, поставленных перед демиургами, их первоначальный энтузиазм, поглощенность своим делом, и становится ясным, что поэтапно, каждый в меру своих возможностей осуществляя величественный план построения Вселенной, они не могли сразу ставить себе целью создание человека, а до поры до времени даже не знали, что такая цель существует. Создателя принципа неопределенности, как и изобретателя двигателя внутреннего сгорания, ничуть не смущает ни трудно-постижимая абстрактность своего творения, ни его чрезмерная практичность.

Завершив в общих чертах проект построения Космоса, породив предпосылки и движущие силы для его осуществления, одной из которых было Время, демиурги столкнулись с непредвиденной, принципиально новой проблемой. Им уже приходилось успешно преодолевать нешуточное сопротивление косной материи, не желавшей никаких уз формообразования, но с соперничеством между собой они встретились впервые. А дело было в том, что появилось одно из решающих условий материального мира, и тем, кто продуктивно существовал в Вечности, нечего было делать во Времени. Для тех же, кто отныне продолжал действовать во Времени, так резко изменилась природа творческого процесса, что неориентированное, слишком созерцательное, можно было бы сказать – неторопливое существование предшественников становилось препятствием и обузой.

Подробности этого первого внутреннего столкновения мировых сил отражены во всех космогонических системах, в том числе и в древнегреческом мифе о происхождении Вселенной, который предлагает, кстати, поразительные иллюстрации многих процессов. Впечатляющее представление о зыбких границах первых преобразований дают, например, три состояния темноты – от изначальной, абсолютной и беспредельной тьмы Хаоса, в которой пребывало правещество, до вечной тьмы Эреба, которой можно уже гипотетически противопоставить вечный свет Эфир, и до ночи Никс, у которой, при всей ее полноценной тьме, есть вполне определенные пределы, отделяющие ее от дня Гемеры.

Некоторые формы демиурги могли производить самостоятельно, для других им требовалось содействие коллег. Так Эреба и ночь сумел отделить от себя сам Хаос, а эти двое уже совместно создали день и Эфир. Говоря обо всем этом, нам естественнее употреблять слова «родил», «произвел» и даже «слияние» и «оплодотворение», нужно только помнить, что никакого знакомого нам смысла они в данном случае не несут. Все

божества в их изначальной энергетической сути были оснащены особенностями обоих полов, так что первостепенную роль играл своего рода партеногенез. Из Хаоса же возникли еще беспредметная Земля-Гея, столь же напрасно разыскиваемая нами подземная бездна Тартар и первопричина всех позднейших совместных творений Любовь-Эрос. Странное, преждевременное появление этой чудесной силы, страстной взаимной тяги разделенных существ, могло бы навести демиургов на мысль, что создаваемый мир предназначен для кого-то, им неведомого, но они были одержимы совершенно противоположной идеей разъединения и многообразия, а в качестве скрепляющего средства им хватало ядерных, гравитационных, магнитных и, может быть, каких-то еще, нами пока не открытых сил притяжения.

Земля самостоятельно родила Небо-Урана, который, однако, понадобился ей впоследствии, чтобы произвести на свет двенадцать титанов – могучие природные стихии самого разного характера. Здесь впервые можно, пожалуй, с некоторым основанием ввести понятие власти. Предыдущая безусловная власть Хаоса над самим собой была противоречива, лишена подлинного содержания. То есть, единственное реальное проявление этой власти заключалось в том, что Хаос себя преодолел и таким образом свое существование прекратил. Правда, оставалось еще неизменное присутствие Первопричины, но она ведь находится вне пределов нашего постижения, никогда о своей власти прямо не заявляет, и нам не дано рассуждать о ней даже с минимальной долей убедительности. Так или иначе, нет никаких свидетельств об осложнениях при обретении власти Ураном, продолжавшим созидание титанических стихий, последней из которых было Время-Кронос. Любопытным примером частичной слепоты каждого нового поколения демиургов может служить то обстоятельство, что в стремлении покрыть все возможные аспекты будущего материального мира они иногда действовали со значительным опережением, создавая духов и демонов, которые не сразу находили себе дело. Так появился уже упомянутый Эрос, так родилась титанида Мнемозина, сферой деятельности которой должна была стать память – явление нелепое без минимального представления о прошлом, то есть о времени. Однако, никакого недоумения ее появление у родителей не вызвало. Но с появлением Кроноса положение радикально изменилось, ибо дни Урана можно было теперь сосчитать.

Все это абсолютно необходимо себе представить, чтобы как следует оценить приход человека, на котором творение внешнего мира завершилось.

Итак, человека еще нет, никто из демиургов о нем даже не помышляет, хотя какие-то первичные, несовершенные его формы, возможно, уже созданы наряду с прочими тварями, и безмолвные или мычащие сомнамбулы разных размеров и очертаний бродят стаями по равнинам и лесам, питаются обильными плодами земли. Их невинное, не оста-

вившее следов существование наверно и было впоследствии отмечено мифом, как Золотой век. Во всяком случае, эти пралюди не пользовались никаким особым вниманием творящих сил, занятых стратегическим устройением мира. Но во Вселенной действуют уже по меньшей мере три важнейшие предпосылки возникновения нового существа: разъединяющая сила, производящая все новые и новые предметы и организмы, противоречащие друг другу в своем непримиримом различии и нуждающиеся во властелине и арбитре; противоположная этой силе взаимная тяга любви, не находящая себе пока настоящего применения; и Время, раз и навсегда перекрывшее путь назад, столкнувшее лбами тех демиургов, которые владеют направлением, с теми, кто в направлении не нуждался.

Потенции Урана сохранялись, но что-то явно было не так. Как будто не зная, что уже выполнил свою величественную миссию, бог продолжал творить, а выходили мутанты и уроды, сторукие или одноглазые. Матери Гее были дороги и они, но отца Урана их никчемность – если хотите, несовременность – смущали настолько, что он поспешно прятал их в глухом Тартаре. Ситуация напряглась и требовала разрешения, и оно наступило, хотя, безусловно, не было таким драматическим, каким его изображает позднее, ожесточенное человеческим опытом воображение.

Миф повествует о том, как мать, в отчаянии рожавшая страшилищ, только для того, чтобы тут же присутствовать на их похоронах, обратилась к своим прежним, достойным детям с предложением остановить эту пытку. Кронос согласился, не задумываясь, и совершил черное дело, оскопив отца серпом. Не то чтобы каждому из нас пришлось такое наблюдать, но испорченный мозг услужливо рисует вполне натуралистическую картину, которую конечно же не стоит принимать всерьез. Фактом остается одно – творчество Урана прекратилось, и следующим главой Вселенной стал Кронос. Занятна во всем этом роль матери, неосознанно, на свой лад почувствовавшей веяние перемен.

Но было бы ошибочным и облагораживать событие, понимая его, как бархатную революцию и дипломатически вежливую передачу власти. Боги и демоны не бьют друг другу морды, не отсекают головы и детородные органы и не льют крови, прежде всего потому, что ничем вышеперечисленным не располагают. Их противостояния носят не криминальный, но бытийственный характер, который при определенном ракурсе выглядит, может быть, еще ужаснее, чем смертельные людские разборки. Описывая отвратительное, зверское хамство сына, миф вероятно пытается в приемлемой, максимально смягченной форме передать обморочный ужас выпадения из Вечности, душераздирающие роды самого Отчаяния, осознающего, что нет более возврата, что жизнь, неразрывно связанная отныне со временем, только теперь в полной мере приобрела обличие смерти.

Богине Гее предстоит еще бесконечно долго опекать свою бурлящую жизненными соками планету; бог Уран, заложивший основы одного из прелестных уголков Все-

ленной, хотя и устраняется от непосредственного участия в земных делах, но продолжает свое неощутимое орбитальное влияние; и даже его отверженным поздним детям предстоит еще участвовать в геологических пертурбациях. А те формы, которые создают на земле новые хозяева, неотвратно готовят мир к приходу разумного существа с печальной судьбой, заключающейся в бесконечной череде рождений и смертей.

Сам Кронос, отстранивший от власти отца, лучше остальных должен был понимать безразличие новых времен к персоне, правящей миром. Вместе с ним в мир пришла сила, требующая перемен и поторапливающая их, независимо от того, будут ли они к лучшему или к худшему. Разорвать связь будущего мира с Вечностью – в этом состояла главная задача Кроноса. Но оказавшись во главе этого, убегающего из-под ног бытия, он сам ужаснулся краткости своего назначения и, надеясь упорядочить дальнейшее развитие событий, попытался ограничить мир самим собой или, по крайней мере, предельно сократить период его обращения. Детей своих, начиная с первенца, Кронос просто глотал. На ум естественно приходит, что это была, возможно, первая попытка бунта, временного непослушания. Но ярче всего судьба Кроноса свидетельствует как раз не о своеволии, а все о той же ограниченности демиургов, неполном знании ими Замысла. Находясь в неведении относительно того, какие именно перемены несут с собой дети, Кронос предпочел приостановить их деятельность и оглядеться.

Кажется, следует еще раз напомнить о необходимой двойственности созидательных сил. Они хранили свою изначальную принадлежность к неосязаемому миру духов, обитающих в Вечности, и, вместе с тем, в значительной степени сгущались, приобретая некое подобие материальных признаков, чтобы выполнять задачи, для которых были образованы. Это, пожалуй, самое подходящее слово, так как в строгом смысле они не были ни рождены, ни созданы, а являли собой, как уже было сказано, постепенные преобразования первичной потенции. И когда мы говорим о цепях необходимости, которыми оказался скован Кронос, не нужно понимать это так, что он явился беспомощной жертвой какого-то внешнего запрета. Это было скорее осмысленное, ответственное постижение недюжинным божеством реального значения той силы, которая явилась в мир вместе с ним. Она ничем не грозила его существованию и лишь отчасти ограничивала его деятельность, что для всевластного по своей природе божества может, однако, выглядеть равносильным катастрофическому поражению. Только поэтому каждый из них так остро переживал конец своего активного участия в строительстве Вселенной, им казалось, что они способны на большее. Да они не смогли бы действовать, если бы не обладали достаточной самостоятельностью, если бы ограничивались ролью исполнителей, если бы каждый из этих выдающихся полководцев не захотел в какой-то момент стать верховным главнокомандующим. Но раз возникнув, такой дух не прекращал существова-

ния. Выполнив свою особую функцию, он входил одним из основополагающих элементов в единое космическое целое.

Говорят, униженный отец предсказал Кроносу ту же судьбу, на которую тот его обрек, и только поэтому новый владыка прятал детей в собственное чрево. Уран просто свидетельствовал об очевидном – сама природа нового правителя неизбежно влекла его к отставке. Не так уж долго удавалось ему задерживать ход событий, он не добрался и до полудюжины. Уже шестой отпрыск был спасен, и снова матерью, подсунувшей ненасытной утробе вместо новорожденного запеленатый камень.

Тем временем, в вены мироздания довольно вприснуто было разобщающего яда. В живом мире уже набирал силу инстинкт продолжения рода, этот дикий суррогат влечения и любви. И если некоторые экзотические виды уничтожали сексуальных партнеров, а другие страдали такой неразборчивостью, что могли вместе со жмыхом подчистить и своих младенцев, то в целом пример верховного божества был чудовищным анахронизмом и нисколько не отвечал движущим силам бытия. Доминанта в творчестве перемещалась с идеи абсолютной новизны к идее воспроизводства вариантов уже существующего, преимущественно созидательная программа перешла на другой уровень, где во главу угла встало не столько творчество, сколько управление. Именно этой цели лучше всего соответствовало новое поколение богов, разносторонне одаренных, не обладающих от рождения какими-либо специфическими наклонностями, способных с равным успехом заняться любым делом, к которому их подтолкнут обстоятельства

. Самым перспективным среди них, наиболее сосредоточенным на идее командования, был шестой, спасенный ребенок Кроноса – Зевс. Одержав так называемую титаническую победу, так как противостояли ему братья отстраненного им от власти отца, титаны, Зевс воцарился над миром, вполне в духе нового времени отдав управление двумя его братьями – Посейдону и Аиду – и приняв в высший олимпийский сонм даже собственных детей. Такая система организации власти, предупреждая дальнейшие перевороты, устанавливала неслыханное доселе равновесие. Можно было бы считать, что творение мироздания наконец полностью завершено, мир обрел стабильность.

Он был так прекрасен в своем разнообразии, сложнейшем взаимодействии явных и глубоко скрытых сил, что и прежним, и новым богам-демиургам, у которых только теперь появилось подобие досуга, предстояло еще измерить свою способность восхищаться гениальностью замысла и могуществом по-прежнему закулисной созидательной воли. Только вообразить: сравнительно недавно не было ничего, кроме замкнутой в самой себе бесконечной потенции, которой не с чем было себя сравнивать, нечему завидовать, не к чему стремиться. И вот она в считанные эоны развернулась в ослепительно сверкающий, твердый и мягкий, влажный и сухой, тяжелый и воздушный, прохладный, горячий, живой

и мертвый, разноголосый, разноцветный мир. Не мудрено, что занятые в рабочее время поддержанием порядка – от размеренного движения светил до своевременного возбуждения и умиротворения стихий здесь на земле, а в оставшиеся часы замороженные наблюдением живописной природы и переливами жизни, один восхитительнее другого, боги отвлеклись, на время позабыли о том, что в сути своей они все-таки созидатели, а не только управляющие и уж отнюдь не потребители, что у Творения должна быть еще какая-то цель, помимо равновесия и радующей их бессмертные сердца красоты. Впрочем, это не было случайностью – им не следовало ничего предпринимать, дальнейшее должно было развиваться иными путями.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что мысль о создании человека возникла не у самого Зевса, а у случайного члена семейства титанов, сына Иапета и океаниды Климены Прометея. По существу, это был частный случай той же стратегии, которая заявляла о себе с самого начала. Упоминая о том, что Богу потребовалось трансформировать свою бескрайнюю творческую силу в последовательную череду практических исполнителей, мы ведь вовсе не хотели сказать, что Он не способен был все осуществить сам, без помощников. Но по замыслу Его каждый следующий слой бытия должен был обладать все возрастающей степенью независимости. Мир, созданный непосредственно Творцом, навсегда сохранил бы отпечаток его довлеющей воли и оказался бы бесполезным для достижения цели, которую призвано было осуществить Воплощение. Венцом его предстояло быть существу, наделенному абсолютной свободой, а эту задачу не мог выполнить ни один владыка мира, в зависимости от которого эта тварь всегда оставалось бы, сколько бы ни бунтовала и ни рвалась на свободу. По существу, эту задачу не мог выполнить никто из богов, свободное существо должно было возникнуть как бы само собой из нескольких встречных усилий, не вполне точно направленных, действующих по касательной к будущему микрокосму, предназначенному отразить в себе, как в капле воды, все мироздание, включая саму первопричину. Неважно было, и кто скажет первое слово, почему и называют несколько имен.

Прометея стоит предпочесть уже потому, что его нельзя даже считать настоящим богом. Это был маргинальный дух, по происхождению принадлежавший к титанам, но в переходный период вставший на сторону Зевса и немало способствовавший установлению его власти. Все это означает, что ему свойственно было некоторое свободомыслие. Отношения с новым порядком были благоприятными, и неожиданная идея, высказанная им Зевсу была оценена, как смелая, но интересная. Прометей указал Олимпийцу на то, что среди живых существ, обитавших в лесах, водах и небесах, нет таких, кто мог бы размышлять о великих вещах, мудро распоряжаться богатствами природы, кто был бы подобен духам и гигантам или даже самим богам, но существовал бы целиком в рамках земного

бытия и оставался смертным. В общем, он очень умно, ненавязчиво намекнул высшим властям на очевидную пустующую нишу и, стало быть – на их нерадивость. Боги сразу поняли, о чем толкует Прометей, а качество, упомянутое им последним, сыграло, может быть, самую важную роль в быстром решении олимпийцев. Мысль о существовании собственного подобия должна была пронизать богов жутким восторгом, как перспектива пройти по бревну над пропастью, смертный же удел будущих созданий оставлял богам вечную фору, превращал эквилибристику в захватывающий дух, но безопасный аттракцион. Только мудрая дочь Зевса, рожденная из его головы Афина поспешила упомянуть, что люди ни в коем случае не могут быть совершеннее богов и должны будут признать власть Олимпа. С этим согласились все, даже сам Прометей. Возможно, он не был вполне откровенен, но его побочные мысли уж во всяком случае не были связаны ни с превосходством людей над богами, ни со спорами о власти.

Слепил ли он их из добротной праисторической глины с тем, чтобы боги затем оживили этих манекенов, или только обособил тех первобытных людей, что уже существовали к тому времени, как чисто биологическая основа – опять-таки не имеет значения. Важно, что люди впервые были выделены из разнородной массы тварей и стали предметом особой заботы мировых сил. Технически было легче, конечно, начать с нового экземпляра, хотя на оживление и настройку одного только биологического аппарата глиняной куклы могло уйти больше энергии, чем на просветление внезапной вспышкой мозга уже расплодившихся, диких и стадных тварей. Но в чем же конкретно заключался божий дар сознания?

Очень просто: человеку была дарована способность – только способность – обретать представление об иерархической структуре мироздания, простирающейся далеко за пределы видимого мира. Никаких картинок, схем или описаний. Но одного этого было достаточно, чтобы его куцый мозг бешено заработал и стал стремительно увеличиваться в размерах, подтягивая за собой столь же стремительное развитие органов чувств и всех прочих членов физического тела. Этой второй, бытовой стороной цивилизации усердно занялся сам Прометей, обучая людей множеству полезных и важных вещей.

Что же касается высшего знания и мудрого предостережения Афины, то плоды человеческих прозрений были настолько далеки от истины, что с ними можно было не считаться. Но главное утешение заключалось в том, что еще при создании самых первых тварей, единственным способом претворить духовную сущность в живую плоть оказалось расщепление оплодотворяющего и зачинающего начал. Получавшиеся особи теряли при этом индивидуальное бессмертие, но сохраняли способность краткого воссоединения – неполного, но достаточно животворящего, чтобы осуществлять бессмертие родовое, эту материальную пародию вечной жизни. О, это была безумная, феноменальная идея! Преж-

де чем окончательно на ней остановиться и положить ее в основу живого мира, боги, должно быть, немало посмеялись над воображаемыми картинами уродливого физиологического соединения полов, отталкивающе несимпатичного их целостному духовному мерцанию.

Расщепление неделимого потребовало значительных усилий, а вырвавшаяся в результате энергия распада разнесла эти половины так далеко друг от друга, что отныне никто уже не заблуждался по поводу существования двух противоположностей – суки и кобеля, жеребца и кобылы, мужчины и женщины. Только кульминационная точка слияния могла напомнить ни с чем не сравнимым ощущением о блаженной нераздельности иного мира, но вождение обволакивало эти мгновения такой густой мглой, что партнеры не догадывались, о чем именно им напоминают. Вот эта изначальная разобщенность полов и должна была стать неизбежной помехой в окончательном постижении человеком истины о мироздании, так что никаких дополнительных хлопот не предвиделось. И было создано глубоко несчастное существо, в родовой целостности своей наделенное даром всеведения, но грубо ограниченное в персональных попытках его достичь.

Дальнейшие события приобрели на некоторое время характер политического спора между Зевсом, который упорно преследовал людей, требуя от них постоянных проявлений подострастия и демонстрируя упреждающую волю властителя гигантской державы, и Прометеем, увлеченным развитием этой новой породы существ, их грандиозными успехами, и считавшим опасения Олимпийца излишним опекуном. Прометею, в конце концов, известно было, чего на самом деле следовало бояться Зевсу, и это было не совершенство человека и не стремление его избавиться от власти богов. Зевсу угрожала всегонавсего вероятная связь с дочерью морского бога Нерея Фетидой и в этой связи рожденное дитя, которое по предсказанию должно было превзойти своего отца. Пока шла тяжба, Прометей придерживал секрет, а позднее, когда Зевс убедился, что люди в целом, при всей их одаренности, племя послушное, не нуждающееся даже в постоянном надзоре, перестал лупить их молниями и стирать с лица земли, титан открыл ему тайну. Фетиду выдали за смертного, и плодом этого союза стал всего лишь герой Ахиллес. Власть Олимпа была спасена, можно было бы забыть обо всей этой истории, если бы не новая забота.

Инициатива Прометея в конце концов напомнила богам еще и о чрезвычайно разросшейся иерархии небесных заместителей, которых требовал все более усложняющийся мир. Их производство никогда не прекращалось и, как мы уже заметили, часто шло с опережением. Постепенно праздные духи находили себе применение, иногда вступали друг с другом в спор из-за слишком сблизившихся, переходящих одна в другую сфер влияния, и все это устраивалось само собой, главным богам не было нужды не только вмешиваться, а даже знать об этих частных случаях вселенского кроссворда. Но со временем

серьезную путаницу стал вносить человек. Во-первых, он захотел, чтобы отдельный дух встал за каждым деревом, у каждой поляны и лужи. Так, примерно, и было предусмотрено. Эти третьестепенные силы, контролировавшие различные стороны живой и мертвой природы, действовали на периферии общего энергетического поля, знали свое место, олимпийцам на глаза не лезли. Теперь же, вдохновленные вниманием к себе, они являлись в идиотском костюмированном виде и называли себя богами. Сделать все эти наяды, куреты, тельхины и сатиры могли не так уж много, но в пределах своих, сверхъестественных все же возможностей производили много шума, мороча людям головы.

Во-вторых, человек начал создавать какие-то собственные общественно-метафизические конструкции, которые, с его неофитской точки зрения, тоже нуждались в высшем покровительстве, хотя не всегда его заслуживали. Надо было вникать в петиции, опасно приближаться к суматошному вещному миру.

Кроме того, теперь нужно было время от времени выпускать в мир дополнительные силы уже не по собственной инициативе, а в ответ на уродливые отклонения человека от оси равновесия. Он, и вообще-то тяготевший к однобокости, культивировал в себе на первых порах оголтелое самодовольство. И в целом доброжелательно настроенным божествам приходилось с помощью особых комбинаций производить чисто отрицательные сущности, которые, в свою очередь, требовали немедленных позитивных двойников, потому что эти низкие злобные духи отличались большой вздорностью. В один из острых моментов тяжбы с Прометеем, например, Зевс вынужден был сотворить девицу Пандору. Вопреки предостережениям Прометея, без конца внушавшего своему увальню брату, с которым они, видимо, вместе занимались устройением людских дел, что не следует принимать подарки от богов, Зевс подsunул Эпиметею красавицу, снабдив ее в приданое сундуком со всякими несчастьями. Это были мрачные, разрушительные духи, принесшие людям множество страданий.

Но за этими мелкими осложнениями постепенно вырисовывалась главная беда. Затруднив человеку путь к постижению основополагающего принципа иерархии мировых сил, боги оставили ему лишь смутное предчувствие некоего высшего порядка в небесах, а эта слабая путеводная нить то и дело выskalъзывала из грубоватых рук, пытавшихся привязать ее к какому-то зримому подобию здесь, на Земле – скажем, к идее общей целесообразности. Среди вариантов, поспешно бравшихся в оборот и неизменно приводивших к провалу, предлагались возраст и родительская власть, физическая сила, мудрость или хитрость, дар предвидения или иные специфические таланты. Но ничему нельзя было отдать предпочтения, так как неуверенность начиналась с самого простого вопроса о преимуществах пола. И исправить уже ничего не удавалось, потому что между небом и землей внезапно грянула немота. Не действовал и метод наказаний и поощрений, связь была настоль-

ко несовершенной (прямой-то она, собственно, никогда и не была), что спорадические указания свыше воспринимались людьми, как чудо, и не несли в себе никакой закономерности.

Люди вроде и сами хотели порядка – молились, приносили богам смехотворные, часто зловонные дары, спрашивали совета и благословения, но ответов не слышали или не понимали. Да и не всегда известно было, что посоветовать. Самостоятельность их совокупных действий все сильнее давала о себе знать, и, как в предыдущие переломные эпохи, это было, кажется не ошибкой демиургов, а естественным развитием событий. Люди не грозили богам войной. Не принимая в расчет настоящих, они сочиняли собственных.

Но и предоставить их самим себе казалось немислимым. Каким бы ни предстояло быть этому новому миру, он нуждался в организующем начале, и необходимо было внедрить в сознание людей настоятельную необходимость отыскать этот эквивалент мировой гармонии. Так начались поиски посредников и толмачей.

Их направление было подсказано случайностью. Когда обнаружилась угроза правлению Зевса в лице будущего отпрыска Фетиды, пришлось решать сразу две задачи. Первая была сравнительно простой: внутреннее побуждение Олимпийца к сотрудничеству с морской богиней следовало счесть нецелесообразным и отменить. Но нельзя было оставить открытой эту зловещую белую страницу вселенской эпопеи. Предсказание титана не могло быть простой гипотезой, оно являло собой неизбежную реальность, осуществление которой в буквальных событиях никаких сомнений не вызывало и было лишь вопросом времени, которое уже не раз показывало свои острые зубки. Новость распространилась, каждый из богов отчаянно искал средства уклониться от родить себе палача, что в среде высшей кооперации могло случиться вполне внезапно, даже без ведома потерпевшей стороны. Оказалось, однако, что есть возможности спустить многообещающего отпрыска намного ниже самого первого уровня духов, так как уже существовал человек – несовершенное, но признанное подобие бога. Царь Фтии Пелей был вполне достойным кандидатом, Фетида же и сама понимала таящуюся в ней опасность для равновесия мироздания и воле Олимпийца противилась лишь в пределах естественного высокомерия.

Как все это совершалось, мы можем только догадываться, потому что тут обнаружилась еще одна сложность непосредственного взаимодействия с человеком. Волею случая боги подошли к этому важному делу с самой трудной стороны. Фетида, как любое зрелое божество, способна была произвести на свет потомство без чьей бы то ни было помощи. Участие другого божества, естественно, меняло бы характер отпрыска – это обстоятельство и учитывало предсказание, вводя понятие отца. Но что было делать автономной

созидательной мощи богини с жалким человеческим семенем, столь взрывоопасным в темном женском лоне, но совершенно бесполезным в незримой среде духов? А надо было его как-то утилизировать, чтобы осуществить предсказание, погасив его разрушительный смысл.

Отголосок этой, мягко говоря, неловкости нашел отражение в мифе о яблоке раздора, которым больше всего и запомнилось бракосочетание Фетиды и Пелея. Этот, так называемый, брак был, кстати, неудачным и очень недолгим – другим он и быть не мог, учитывая его сверхморганатический характер. Столь же условными были роды Ахилла, он был просто создан, воплощен богиней, которая некоторым образом модифицировала свою материнскую энергию в соответствии с прочитанной ею внутренней индивидуальной потенцией, скрытой в семени отца. Угроза предсказания была отведена, но искусственность процедуры, отсутствие подлинно человеческого естества в неизвестно откуда взявшемся мальчике были для всех очевидны и особенно удручали в сравнении с немедленно пришедшим на ум, гораздо более простым и естественным явлением зачатия земной женщиной от одной единственной, искусно материализованной любым богом мужской половой клетки. Грубо говоря, преимущества женщины перед богинями в деле деторождения стали неоспоримыми. Всей своей интуицией предчувствовали богини и еще одно унижительное для них последствие, которое не замедлило сказаться.

Едва уловив самый первый намек на ошеломляющую несправедливость, три самые видные из них - Гера, Афина и Афродита взялись хотя бы частично вернуть своей неземной породе женское достоинство. Воспользовались они жалкой выходкой богини раздора Эриды. Это полезное божество обошли приглашением на свадьбу Пелея и Фетиды, что было разумной мерой предосторожности, если учитывать особое значение всего события для Олимпа. Тогда властительница скандалов и склок, потеряв от обиды всякий стыд, приблизилась к торжеству, насколько обстоятельства позволяли, и бросила в сторону трех верховных богинь яблоко, предварительно начертав на нем желанный каждой женщине эпитет. В другой ситуации богини не обратили бы внимания на эту провокацию, имевшую смысл только в душном земном мире, но в данном случае обстановка была обострена еще не названным, но уже витавшим в воздухе унижением. Вызов был принят, богини пришли к Зевсу – не за окончательным приговором, потому что в данном случае мнение Олимпийца парадоксальным образом значило гораздо меньше, чем вкус любого смертного мужчины, а предлагая ему найти подходящего арбитра. И запальчивость богинь, и сочувствие Зевса, несомненно уловившего преднамеренный укол его самолюбия, но разделявшего при этом внезапную растерянность богов перед земной женской статью, так властно заявившей о своих правах, все это только подтверждает смятение, воцарившееся на Олимпе по поводу людских дел.

В конце концов, права судьи были предоставлены находящемуся в изгнании и в этот момент служившему простым пастухом Парису – сыну троянского царя Приама и его супруги Гекубы. Именно ему предстояло вручить одной из богинь яблоко с надписью прекраснейшей. Богиням пришлось предпринять некоторые усилия, чтобы явиться перед мужчиной вообще, а кроме того – в наивыгоднейшем, по их представлениям, виде. Не пренебрегли они в своем соперничестве и чисто земной хитростью подкупа. Результатом всего этого стало вручение яблока Афродите, последовавшее затем похищение Парисом Елены, Троянская война и гибель Ахилла - того самого первого в истории *in vitro*, из-за которого был предпринят спасительный брак богини с человеком.

Парень он был, конечно, выдающийся, но всей своей недолгой славной жизнью не давал никаких оснований считать себя посредником между богом и людьми. Да ведь и задачи такой перед ним еще не ставили. Когда же необходимость в посредничестве окончательно проявилась, первым пришел на ум именно этот пример случайного совместного продукта земных и небесных сил. И уже ни у кого не оставалось сомнений, что более авторитетными для людей будут дети, рожденные противоположным образом. Это был тот самый второй удар богиням, предчувствовавшим свою грядущую оставленность. Отстраненным от участия в таком важном деле, им приходилось мириться и с неожиданными, обидными правами их спутников в вечности на интимные отношения с земными женщинами. Но вся эта возня с деторождением удручала не только богинь.

Люди чаще всего представляли себе богов похожими на себя, и это не было следствием одной лишь робости воображения. Эти представления, в некотором роде, шли навстречу желаниям самих богов. Но если у людей способность богов принимать человеческий облик не вызывала никаких сомнений, то для самих богов она была не только сомнительной, а, за исключением чрезвычайных случаев, требующих особых усилий и чреватых неожиданными последствиями, прямо-таки недостижимой. Конечно, со всей своей преобладающей гипнотической силой, они могли внушить человеку что угодно, и тот временами не видел находящегося под носом, а иногда был уверен, что нос к носу встречается с тем, чего вовсе не существовало. Но богов-то эта виртуальная реальность несколько не обманывала, привнося в их, казалось бы, полноценное бытие подобие лирической печали.

Покрытая мглой тайна биологического воспроизводства, которой уже давно и уверенно пользовалось все животное царство, у человека приобретала дополнительные черты. Некоторые из богов обнаружили, что имеют косвенное отношение к природе мучительно прекрасных чувств, другие только теперь в полной мере обрели сферу приложения своих не востребуемых прежде сил, а в целом всем им открылось существование в мире творческой способности, вполне сопоставимой с их собственным

даром, но находящейся абсолютно вне их практических возможностей. И тот факт, что эта способность была до смешного узкой, относилась единственно к простейшему делу продолжения рода, ничего не менял. Человек тоже, оказывается, мог создать Человека, да еще испытал при этом целую симфонию переживаний. Божественная печаль обострялась, ее лирические обертона начинали попискивать настоящей тоской.

Боги могли и так, и эдак творить себе подобных бессмертных божеств, могли создать и смертного человека, но ощутить внезапную жаркую волну, когда свет сходилась клином на избраннике или избраннице; мучиться от неизвестности, забыв обо всем на свете; проявлять чудеса терпеливой изобретательности, добиваясь внимания; обезуметь от счастья, ощутив встречный порыв; испытать все невыразимое блаженство физических прикосновений, поцелуев и, наконец, последней близости; целиком отдаться возлюбленному, связав с ним свою жизнь; в жестоких муках родить драгоценное потомство и полюбить его нежно-строгой отцовской или материнской любовью, обмирая от страха за его жизнь - ничего этого им не было дано.

То есть, им дано было неизмеримо большее, такое, о чем человеку не приходилось и мечтать, а уж о какой-нибудь чепухе, вроде оплодотворения женского лона, и упоминать не стоит, но земная любовь была вне их досягаемости. Стоило ли завидовать? Может быть, и не стоило. У любви есть свои пугающие стороны, и каждому – свое. Да дело было, собственно, не в зависти. Это торжество, вершившееся под ними и вокруг, куда только хватало глаз, этот бесконечный праздник, который они же учредили и благословляли, но где им не находилось настоящего места, заставлял подозревать, что не все в мире еще разрешилось, и не все известно.

Так что еще до осознания необходимости в смежных потомках, многие из богов, оправдывая себя настойчивыми людскими надеждами, все более смело нахлобучивали на себя определенность пола в земном смысле слова и, несмотря на разочарования, вновь и вновь пытались преодолеть недостаток бестелесности, временами их очень удручавший. Как бы не соглашаясь окончательно смириться с этой удручающей неполноценностью, они пользовались всевозможными ухищрениями и вступали в связи со смертными. Надо сказать, что некоторую роль играло здесь редкое физическое совершенство отдельных представителей человеческого рода обоих полов, уж красоту-то боги способны были оценить вполне. Чудо зачатия, как было уже сказано, не составляло для них тайны, и они производили потомство. Сначала его нельзя было считать чисто человеческим, но продолжающаяся имитация людских брачных связей могла настолько истощить духовную суть, что в третьем-четвертом поколении, после ряда смешанных браков получалось потомство, уже ничем не отличимое от людей, терявшее даже дар вечной жизни. Да не этот ли процесс перетекания духа в материю и совершался на самом деле в разных формах все

это время?

В данном случае никаких сознательных целей боги не преследовали. Они просто бились о непроницаемое для их всемогущества стекло, проникали сквозь него сверхъестественным образом, а по завершении очередной попытки находили себя все там же, позади прозрачной преграды, отделявшей их от запахов и осязаний, о которых они могли только з н а т ь. Но вот, наконец, безутешное томление богов обрело хоть какой-то смысл, соединившись с нуждой дать людям проводников в мир гармонии и целесообразности.

Теперь можно было разобраться в скудных результатах этого поприща, на котором немало потрудился и сам Зевс, последней земной возлюбленной которого была Алкмена, родившая Геракла, а первой – дочь Фородея и Теледики, Ниоба. Почему, например, в канонический свод мифов вошла не эта Ниоба, а ее тезка, невестка Олимпийца по другому смешанному браку, которую мы запомнили, как символ безутешной скорби, после того как из-за своей гордости она потеряла все многочисленное потомство?

А какую особую истину принесли человечеству сыновья той, первой Ниобеи-избранницы – Пеласг, ставший всего лишь родоначальником одного из древнейших племен на земле будущей Эллады, и Аргус, тысячеглазый пастух, убитый по велению собственного отца, дальнейшим производительным желанием которого он невольно препятствовал, и оставивший по себе памятью только изумительной красоты изображения очей в оперении хвоста вздорной и крикливой птицы?

Но даже если оставить богам право на совершенствование мастерства и заглянуть в конец списка, мы увидим там лишь редкого силача, мужа, в целом, симпатичного и совестливого, хотя довольно кровожадного. Способность Геракла просветить человечество относительно высших миров приходится оставить на совести самих этих миров.

Наконец, как быть с утверждением, что у бессмертного хозяина Олимпа имел место последний роман, как у какого-нибудь Гете? Может быть, ему открылась тщетность подобных усилий? Ведь и эти, на поверхности лежащие несуразности, и помпезная пустота многих других небесно-земных романов, и горькая, как правило, судьба избранниц, и полная посредническая беспомощность продукта должны же были навести на мысль о набравшем силу кризисе и вернуть к вопросу, искусно обойденному богами: кто же это все-таки мог родиться у Фетиды? Что мог означать для мира этот гипотетический ребенок, обещавший превзойти отца – верховного владыку земного и небесного? В мироздании прятались еще какие-то, не осуществившие себя пока силы. Да уж не угадывалось ли во всем этом начало совсем другого процесса, еще более непостижимого и невероятного? Возможно ли, что это было – страшно выговорить! – начало возвращения, сворачивания и отмены всех промежуточных уровней и трансформаций, воссоединение начальной и завершающей точек Воплощения.

Но если так, то гораздо важнее взглянуть не на общее рассеяние и претворение духовной сущности членами многочисленного божьего анклава, примером какового была, скажем, недолгая интрижка богини утренней зари Эос с красавцем Кефалом, а на запоздалые усилия немногих проницательных богов исправить ошибку, удержаться на прибавившей ходу колеснице времен, вожжи которой все чаще переходили в руки человека, если такие попытки и вправду обнаружатся.

Однако, по мере развития этого любопытства Артур всё настоятельнее испытывал другое желание – как можно быстрее вернуться к собственной истории, требовавшей продолжения и непростительно им оставленной. Велико было искушение загнать в угол богов, решивших уделить людям толику своего духовного естества, обнаруживших в этих полу-божественных созданиях собственное отражение, и, может быть, догадавшихся, что им самим неизвестны те откровения, которыми, по их мнению, необходимо одарить людской род. Так далеко успели они отойти от первопричины, столь ограниченно деятельную природу приобрели, что к человеку были ближе, чем к Богу.

Тут мысли Артура замедляли ход и воображение устремлялось к Коринфу, выbranному Сизифом для новой жизни, а вернее – к загадочному совместному пути супругов в Коринф, так глубоко изменившему их жизнь, что ее смело можно было называть новой, даже если бы ничего значительного в ней с тех пор не случилось. Его ожидала здесь одна невероятной сложности задача, которую не терпелось разрешить.

Но брак с плеядой вновь напоминал о космическом мезальянсе, и о жестокости богов по отношению к ни в чем неповинным, многочисленным жертвам этого провалившегося эксперимента. Хотя судьба избранниц была в общем-то не более тяжелой, чем в их романах с земными мужчинами, и, как в земных романах, иногда вознаграждала особой гордостью материнства. Что было заведомо известно, так это отсутствие надежд на общий очаг, семью. Но ведь такое сплошь и рядом случалось и здесь, на земле. Вопрос, следовательно, заключался в том, хотелось ли женщине стать матерью героя, царя или пророка. Отнюдь не каждый мужчина готов был встать на этот гибельный путь, что же дано нам знать о страданиях матери, наблюдающей за предначертанной зачатием агонией своего чада?

Старались боги не для себя, и расширенные права, которые, как говорят, всегда сопутствуют чрезмерным обязанностям, часто вынуждали их применять насилие – женщины ведь не знали, какая тут идет работа. А те из них, кто слишком усердствовал в любопытстве, желая познакомиться с истинным масштабом события, платили еще более высокую цену. Земная мать Диониса Семела, захотевшая увидеть отца своего будущего ребенка в его подлинном облике, была сожжена катастрофическим явлением Зевса, который не решился отказать возлюбленной. Убить очередную отраду сердца никак не

входило в его планы, пришлось прибегать к особым мерам, чтобы спасти хотя бы еще не родившегося сына. Но по крайней мере в этом случае можно говорить не просто о рождении человека. Сын Семелы, Дионис-человек был одним из довольно сложных воплощений бога. Две другие его ипостаси – Иакх и Загрей рождались каждый по-своему, оба целиком за пределами земной видимости, а все трое, возможно, и были той самой попыткой богов преодолеть неуспех утилитарной миссии, которую они так самонадеянно взялись было осуществлять. История Загрия-Диониса-Иакха наверно как раз отвечала в какой-то мере на вопрос о нерожденном грозном детище Фетиды.

И снова Артур отчаянно скучал по другой паре, успевшей принять гораздо более материальный облик и неторопливо продвигавшейся тем временем к Истмийскому перешейку без его участия.

Решив наконец избавиться от этого раздвоения, Артур сильно, хотя и без бешеного отчаяния ясновидца из Фракии, прикусил сустав согнутого пальца, отказался от попечения о высших судьбах и без всякого перерыва обратился к своему герою.

6.

Трудная задача, в разрешении которой собирался теперь испытать свои силы Артур, касалась особого характера времени. Я упомянул о его неустойчивости в описываемый период в самом начале, при предварительном знакомстве с той эпохой. Но нам с вами легко было говорить об этом, опираясь на мифологическую природу событий, которая позволяет связывать несвязуемое, и ободряюще похлопывать по плечу замешкавшийся разум, отказывающийся, при всем его почтении к метафизике, вообразить вдруг столетнего старика без хорошо знакомых признаков возраста. Цель наша была проще, мы оставались в роли независимых обозревателей, наугад перелистывали древнюю книгу Бытия, не связанные необходимостью создать нечто цельное, да и вообще что бы то ни было строить, и при первой же возможности, не без облегчения, уступили место более решительной воле нашего повествователя.

Его же положение было совсем иным. Ему приходилось вести рассказ, удерживая в сознании единую судьбу героя. А имея дело с неустойчивостью времени, он обязан был объяснить, каким образом природа этой неопределенности отразилась в жизни Сизифа и тех, кто его окружал. И возникла эта необходимость, как раз когда он готов был приступить к описанию самых плодотворных лет грека, которые несомненно приходились на следующий период его жизни и были связаны с Коринфом.

Все важные события там, включая его двойную кончину, случились, когда Сизиф находился в расцвете сил, и хотя отличался завидной умудренностью, она еще не бы-

ла той мудростью опыта, которая медленно, сама по себе спускается на мужчину с годами. А вместе с тем самые разные версии предания неумолимо свидетельствовали о временном неблагополучии.

Называя цель путешествия Сизифа Коринфом, Артур неумышленно опережал события. Город, лежавший напротив Дельф, по ту сторону Истмийского перешейка, назывался тогда Эфира, а Коринф было имя царя, им правившего. Только после его смерти, скорая неизбежность которой из-за преклонного возраста монарха в большой мере определила выбор Сизифом этого места, город был переименован в его честь.

Известно, что Сизиф тоже стал в конце концов царем Коринфа. Но не сразу.

Отдавая дань очарованию поэтической интерпретации мифа Еврипидом, в которой действует совсем другая царская семья, Артур склонен был все же придерживаться первоисточника, свидетельствовавшего о передаче Сизифу власти Медеей, после того, как она десять лет правила городом вместе с Язоном. Можно себе представить, что Сизиф был достаточно терпелив, чтобы подождать и пятнадцать, и двадцать лет, но кем же оказался тот, кто опередил его на троне после Коринфа?

Язон, за плечами которого был уже победоносный поход в Колхиду с добычей Золотого Руна, родился у Эсона, единственного кровного отпрыска Кретея. Это последнее имя резко приближает нас к самой эолийской династии – мы ведь помним Кретея, младшего Сизифова брата, который стал царем Иолка еще до того, как Сизиф обрел самостоятельность. Но это значит, что Язон приходился Сизифу внучатым племянником. Бабушкой же его была Тиро (мы не забыли и этот одинокий сапфир, так нуждавшийся в утешении взрослого дядюшки совсем недавно). И если мы примем за отсчет равномerno затянутые на нити времени узелки событий, нам придется признать фактом необъяснимую, колоссальную задержку Сизифа в пути, либо его слишком затянувшееся житье в Эфире в качестве частного лица, что позволило его племяннице-подружке окончательно опраться после всех свалившихся на нее несчастий, выйти замуж за другого своего дядю, родить с ним сына, дожидаться, пока у того, в свою очередь, родится ребенок, проводить внука в опасный колхидский поход и пережить его триумфальное возвращение с последовавшими затем кровавыми семейными раздорами, вынудившими Язона искать убежища в Эфире, куда его с Медеей и двумя сыновьями своевременно пригласил со своего смертного одра бездетный, отчаявшийся Коринф.

Но это означало бы, что и Коринфу пришлось дожидаться преемника столь же долго, а так не могло быть, потому что уже в первое свое посещение Дельф, еще до катастрофы с малышкой Тиро, Сизиф узнал мимоходом о критическом возрасте царя Эфиры и отсутствии у него наследника, что вместе с полученным прорицанием позволило ему принять окончательное решение сюда попасть.

Более того, если бы даже оказалось, что боги подарили Коринфу эти лишние десятилетия, у Сизифа к тому времени уже родились сыновья, и было бы куда разумнее передать землю этому, всеми уважаемому отцу семейства, успевшему принести Эфире богатство своими торговыми и аграрными нововведениями и славу – учреждением Истмийских игр, уступавших в своем значении лишь Олимпийским. Умело и мирно перенять власть конечно же надлежало ему, а не приглашенной издалека при сомнительных обстоятельствах паре, за которой, к тому же, тянулась молва о чудовищных преступлениях и вероломстве.

Артуру приходилось тут иметь дело не просто с произвольным характером времени, то замедляющего, то ускоряющего ход, а с каким-то его ребяческим капризом, ибо в одном направлении оно растягивалось, а в другом сжималось.

Но это, пожалуй все, что я могу сказать по этому поводу, вновь с облегчением предоставляя Артуру выпутываться самому.

* * *

Между тем часом, когда сразу же после негромкой свадьбы Сизиф с Меропой покинули Эолию и в сопровождении раба Трифона и рабыни-служанки, отданной невестке свекровью, отправились к берегам южных морей, и тем днем, когда они сделали последнюю остановку в Фокиде, чтобы познакомиться с Меропой Сизифова брата и забрать обещанные Деионом небольшое стадо и кое-какую домашнюю утварь, не случилось, как будто, ничего особенного, если не придавать чрезмерного значения такой естественной вещи, как познание влюбленными друг друга. Произошло это в дороге, во время остановки на ночлег, когда они вышли за пределы Эолии, и для земли, по которой они ступали, Сизиф не был более сыном царя, а Меропа – безродной бродяжкой. Близость раскрыла им глаза, удовлетворив отчасти горячее желание обоих и показав, сколь многого друг в друге они не знали, и сколь необъятным будет это знание. Но такое случается ведь гораздо чаще, чем, скажем, насильственное вступление в родство с богами, и не стоит переоценивать обычное человеческое упоение. А их широко раскрывшиеся глаза, тем временем, перестали отчетливо видеть некоторые близлежащие предметы.

Во второй раз дорога, уже знакомая Сизифу, показалась длиннее, но какой долгой она была на самом деле, он обнаружил, только входя во двор царского дома в Фокиде навстречу старику, в котором с трудом узнавал брата.

Причины для наступившей затем неподвижности были разными, но обе достаточно внушительными, чтобы уравнивать братьев в немоте. Опешили оба.

То, что предстало глазам Сизифа, казалось настолько диким, что и вопрос, вер-

тевший у него на языке, был непривычно путаным: что такое стряслось с одним и в то же время миновало другого? Но ответ, как неумело спрятавшийся ребенок, выглядывал из самого вопроса. Это было Время, совершившее над старшим свой обычный труд с ловкостью и быстротой карманного вора, оставив младшему лишь изумляться внезапной пропаже.

Оцепенение, охватившее Деиона, можно было бы сравнить с ужасом человека, столкнувшегося с невероятной отчетливости *deja vu*, первая часть которого, обычно неуловимая, не имеющая определенного места ни в пространстве, ни во времени, сейчас была хорошо известным, недвусмысленно прожитым событием его жизни. Старший брат прекрасно помнил, как младший уже входил однажды в его двор, ведя за руку миловидную синеглазую женщину. Лицо его, правда, не омрачала тогда растерянность, его украшала довольная улыбка. А вместо того, чтобы считать в тишине мучительные мгновения, они обнялись и поспешили в дом, где хлопотавшая над обедом Диомеда тут же увлекла невестку на свою половину, и едва успел раб освежить ледяной водой натруженные ноги путника, мужчины уже принялись жадно обмениваться новостями.

Несмотря на свои годы, Деион был еще вполне способен проявить прежний жар гостеприимства, но тот, кого он видел перед собой теперь, успел за это время покинуть свет и был оплакан. Споры нет, иногда слухи так искажались многочисленными эстафетами, что могли вовсе не соответствовать действительности. Деион готов был поверить, что загадочная гибель Сизифа – рассказы фантазеров и недоброжелателей, если бы брат явился в надлежащем виде, пусть не в славе и дородстве царя, а в рубище изгнанника и скитальца, но не тем же пышущим здоровьем юнцом, которым он был встречен десятилетия назад. И за руку ему следовало держать не ту же стройную красавицу, слегка побледневшую сейчас – видимо от боли, с которой сжимали ее запястье сведенные судорогой пальцы.

Честно отслужившему земной срок Деиону наверно могло показаться безобразной шуткой отсутствие естественных перемен в облике брата, но царь Фокиды наслышан был о головокружительных превращениях, возвратах из преисподней, неоправданном долгожительстве и прочих чудесах, случавшихся в мире, благодаря участию богов. Ему не приходилось еще встречаться со всем этим с глазу на глаз, но страха в его оторопи было гораздо меньше, чем почтительного недоумения, оттого что неведомое наконец коснулось его, и еще неизвестно, чем обернется это прикосновение.

Совсем другие опасения и догадки теснились в голове Сизифа. Но, так или иначе, оба были достаточно сбиты с толку, чтобы решиться заговорить без обиняков, и предпочли вести неловкую, с избытком вежливости беседу, несколько не помогавшую сдвинуться с места.

- С любовью и почтением приношу брату приветствия и пожелания благополучия от наших отца и матери Эола и Энареты... - говорил один, еще отказываясь совершать простейшие подсчеты, которые превратили бы в анахронизм его запоздавшую весть.

- Рад видеть тебя здоровым и полным сил, хотя и уставшим от долгого пути, - отвечал другой, - Не менее радостно мне слышать известие о благополучии родителей, - продолжал он уже с некоторым усилием, чувствуя, что, может быть, грешит притворством, подтверждая вслед за братом то, чего, по его убеждению, не должно было быть.

- Взгляни на женщину, которую я взял в жены в Эолии и привел к тебе, чтобы ты вслед за нашими стариками благословил этот брак. Ее зовут Меропа.

- Здравствуй, жена брата моего. Несказанно повезло ему найти такую красавицу, - почти не задумываясь отвечал Деион, и ему казалось, что его густо покрытое морщинами лицо заливают краски, ибо именно эти слова были им уже однажды сказаны, и лучших он не смог бы придумать, а звучавшие повторно, они утрачивали долю искренности, и та, к кому он обращался, должна была это чувствовать, - Мой дом – твой дом, Меропа.

- Благодарю тебя, наш старший брат и покровитель. Наверно, я смогла бы достойно объяснить тебе, что это мне повезло породниться с таким удивительным семейством, если бы голова моя не кружилась от боли, - Меропа едва заметно пошевелила кистью, - моя рука совсем онемела.

Этот пустяк заставил мужчин очнуться, и продолжение встречи прошло сравнительно гладко – старший брат повторял сам себя, не заботясь больше об искренности, младший делал то же самое, не зная, что сам себя повторяет. Меропе же еще предстояло признаться, что она обо всем этом знает или, по крайней мере, думает.

На другой день, после беспокойного сна Сизиф все еще не разделался с наваждением, хотя теперь торопился стряхнуть его с себя самым доступным ему образом – просто принимая случившееся, как данность, не ища сложных объяснений, не сокрушаясь понапрасну о каких-то там улетевших годах. Сколь ни был бы пугающим этот жест богов, он означал лишь предупреждение о гораздо более тяжком испытании, для встречи с которым ему необходимо было сохранить силы. Он смирился с тем, что пока они добивались до Фокиды, воспаряя к небесам на ночлегах, Время успевало стремительно сдвигаться, увлекая за собой землю, связь с которой они ненадолго теряли. Он припомнил даже две-три подробности путешествия, которым они, целиком поглощенные друг другом, не уделили должного внимания.

Однажды, вылезая утром из шалаша, сделанного на закате Трифоном, он наткнулся на ствол взрослого тополя, заслонявшего целую четверть входа. Пока они завтракали и затем продолжали путь, Сизиф наполовину в шутку распекал раба за такую оплошность, а тот вполне искренне божился, что не было там вчера никакого тополя.

В другой раз они остановились на склоне, спускавшемся в долину с небольшой деревней. Там были видны дымки от жаровен, слышались лай собак и бляение овец. Трифон хвастался еще, что ему удалось дешево выменять у жителей свежего хлеба, молока и сыра к ужину. Наутро они поспешили дальше, даже не взглянув в сторону селения, но сейчас Сизиф вспоминал, что в какой-то момент его озадачила тишина вокруг. Оглянувшись на долину, он увидел то, что выглядело, как безжизненные останки жилищ, давно покинутых людьми. Ему лень было опять заирать раба, и странный этот вид тут же вылетел у него из головы...

Но довольно. Довольно! Ни к чему было задумываться о том, почему, например, были сохранены временем от износа не только они с Меропой, вероятно платившие этим за свое блаженство, но и раб с рабыней, которые принадлежали к остальному миру растущих деревьев, вымирающих деревень и угасающих родственников. Достаточно было вновь посмотреть на Деиона с его женой, чтобы убедиться, что дело сделано. Задуматься следовало о том, что сбереженная молодость не только не давала никаких преимуществ, но лишала смысла само его присутствие здесь. Сизиф и прежде не собирался задерживаться у брата. Сейчас появились новые причины покинуть этот дом, которому он чувствовал себя в тягость. Но, великие боги! Куда же ему идти?

Фокидский царь, которому некуда было спешить, казалось, вполне собой овладел. Конечно, ему не терпелось узнать, как удалось меньшому брату совершить этот круг, вернувшись в ту же точку, где он однажды побывал, собирается ли он совершать это круговращение вновь, и что все это должно означать, в том числе и для него, Деиона. Но если он и надеялся что-либо выведать у Сизифа, то действовать собирался с осторожностью, рассчитывая скорее на свою догадливость, чем на прямые расспросы. Легче всего было бы ограничить беседы общими для них подробностями о жизни семьи, ибо что-то из прошедшего за это время могло быть неизвестным Сизифу, а что-то другое остаться неведомым ему самому. Но привет, принесенный Сизифом от покойных родителей, Деиона насторожил. Уж не начинал ли брат этот новый цикл в полном беспамятстве о первой своей попытке? Однако, сидели-то они друг перед другом нынешним днем, ели сегодняшние лепешки, пили одно вино. И все это было собрано, смолото, выброжено и выпечено через много лет после кончины Эола с Энаретой. Тут у Деиона начинали путаться мысли, и он отбрасывал их все, продолжая лишь доброжелательно и выжидающе поглядывать на Сизифа, который глаз пока не поднимал.

Вдруг Сизиф принимался с отчаянной настойчивостью рассказывать, как о случившемся вчера, о каких-то событиях сорокалетней давности, как бы не желая признать, что все это известно старику-брату. А тот, вместо того, чтобы остановить юнца и предложить ему поберечь силы, терпеливо выслушивал, изредка кивая – в конце концов, все это

на самом деле имело место. Правда, очень уж давно. На что он так и не смог себя подвигнуть, это на прежние изъявления чувств, так что, внимая ошеломляющей истории Тиро, например, лишь склонял к плечу седую голову, издавая короткое удивленное мычание. Одновременно Деион старался вспомнить все, что было ему известно о судьбе самого Сизифа в последние десятилетия. Утратил ли брат память или по какой-то причине не хотел об этом говорить, Деион не знал и не видел щели, в которую можно было бы всунуть ногу, чтобы удержать приоткрытой дверь в эту прожитую, но не оставившую следов жизнь.

Среди подробностей, о которых неминуемо споткнулся бы опасливый разговор братьев, рано или поздно должна была всплыть цель Сизифова путешествия. Этого и дожидался царь Фокиды, прикидывая про себя, с какой стороны подойдет Сизиф к такому головоломному предмету. Прежние его намерения были Деиону известны, как известно было и их успешное осуществление, ведь это о смерти своего царя, Сизифа, сообщили ему некогда направлявшиеся в Афины, опечаленные, но явно благоденствующие коринфяне. Он и навел в свое время Сизифа на мысль попытаться счастья за Истмом, рассказав о безвыходном положении царя Эфиры, доживавшего свои последние дни в лихорадочных поисках наследника, так как боги не дали ему сыновей. Все внешние признаки его нового прибытия указывали на то, что тот в точности повторяет свой путь, и в планах его ничего не изменилось, что Сизиф по-прежнему рассчитывает на передачу власти дряхлеющим и бездетным Коринфом ему, молодому сыну эолийского царя. Но если он действительно был ввергнут богами в муку бесконечного повторения собственной жизни, всемогущие могли бы надоумить его, что ничего на земле не происходит дважды без каких бы то ни было перемен. Либо, если они так уж настаивают на своем, пусть бы весь мир возвращали к исходной точке. Непонятно, правда, что хорошего могло бы из этого выйти. Но занимало это богов, нет ли – город давно уже не назывался Эфирой, а царя, давшего ему свое имя, сменили за это время на троне многие, в том числе и некто Сизиф, подобие которого сидело сейчас перед Деионом в виде взъерошенной птицы, не долетевшей до хорошо знакомого, вполне достижимого берега реки, плюхнувшейся в воду и теперь недоуменно тарасившейся назад, ища отправную точку полета, предательски отдалившуюся и скрывающуюся из виду. Должен ведь был и Сизиф, если глаза его не потеряли способность видеть, а разум не помутился, понимать, что об осуществлении первоначальной идеи, прежде разумной и, как показало прошлое, выполнимой, следовало забыть. Но зачем же он здесь появился? Почему либо отмалчивается, либо повторяет какие-то древние новости? Почему не хлопнет по плечу, не улыбнется и не скажет: а ведь все это мы уже однажды видели, брат. Только мне боги сохранили молодость – не знаю уж, к добру или к несчастью.

Чего проще, спросить бы его вновь: стало быть, ты решился и держишь теперь путь... Но как назвать город, самым именем своим говорящий, что держать туда путь не

надо? А если позволить себе лукавство, назвав его старым именем, Эфирой, не окажешься ли в положении усердствующего глупца, когда брат взглянет на тебя с тревогой и скажет: уж не повредился ли ты умом, Деион? С чего бы это вдруг я отправился в это место за Истмом, которое ты называешь не своим именем? Мои дела там давно завершены.

И Деион молчал.

Те же «зачем» и «почему» – шустрая, неразлучная парочка, в мыслях Сизифа встали порознь дичась друг друга и озираясь. Они обрели неравенство, в котором трудно было определить, кто больше выгадал. Один вопрос мог похвалиться довольством равновесия и завершенностью, ибо Сизиф знал, почему он пришел в Фокиду. Второй метался и пылал в беспокойстве, поскольку ответить, зачем он сюда явился сын Эола уже не мог. И зрение его не обманывало, и разум громко оповещал о том, что прямой дороги к царскому трону в Эфире нет.

Сизиф вновь и вновь заставлял себя вернуться к одному из самых главных своих переживаний – к судьбоносному походу в Дельфы, к пророчеству, которое привело его сюда и вдруг выдохлось, утратило связь с его судьбой.

Он ни с кем не обсуждал полученный оракул совсем не потому, что хотел удержать его при себе. Удостоившимся свидания с пифией было чем гордиться. Не так легко подгадать свой приход в Дельфы к нужному времени, наступающему лишь девять раз в году, но оказавшись среди множества просителей, надо было еще убедить жрецов в неотложности своей нужды. В конце концов, родину его не постигла проказа, она не погибала от наводнения и не была опустошаема войной. Добившись своего, выслушав бормотание безумной девы, а вслед за тем туманное, ритмичное пояснение толкователей, избранник ощущал себя причастившимся тайны и просветленным. Таким он виделся и всем окружающим, и скрывать, что именно получил он в качестве наставления, было бы так же нелепо, как, выиграв Олимпийские состязания, отказаться от звания победителя и награды. Но слов назидания, которые Сизиф с легкостью запомнил, он и не скрывал, отказываясь лишь отвечать на неминуемый следующий вопрос: что же, по его мнению, означает оракул? Сначала смысл его оставался темным и для него самого, а когда в нем проглянула относительная ясность, это трудно было бы объяснить даже Меропе, способной, казалось, читать самые путаные его мысли.

Соком налившийся плод сам собою в ладонь закатился.

Нежная мякоть сладка, но семени в нем не найдешь.

Таким плодом, вероятно, была Эолия, падавшая ему в руки. В этом случае предостережение указывало на справедливость тягостного нежелания Сизифа вкушать от этого плода. А Меропа, например, заставила его испытать отчаяние, совершить немалое внутреннее усилие, чтобы собой завладеть. Но тогда весь совет сводился к простейшей житей-

ской мудрости: без труда, мол... К лицу ли богу отделяться таким пустяком? О том, что в словах этих спрятано гораздо более важное руководство, говорило незнакомое прежде волнение, испытанное Сизифом у дымившейся расщелины, над которой восседала пифия. Оно не прошло ни на следующий день, ни через два дня, и повторяя в уме эти две строки, примеряя их так и сяк к своей, отнюдь не переполненной событиями жизни, Сизиф догадался, на что они намекали. Бог, кажется, советовал ему, во избежание неудач в любом начинании, ставить себе цель чуть дальше, чем это предполагалось после всестороннего обдумывания, сколь ни казалась бы эта отодвинутая цель непонятной или превосходящей его возможности.

Сейчас ему становилось все яснее, что еще в тот раз следовало обеими руками вцепиться в совет брата, не завершать свое путешествие в Дельфах, пройти еще немного, пересечь Истм и явиться в пелопонесскую Эфиру. А до того – преодолеть нерешительность и, не опасаясь гнева родителей, получить ответ Меропы. Появись они в Эфире еще тогда, Коринф счел бы благословением своевременное появление отпрыска благородной эолийской династии с молодой женой.

Но в те тревожные и радостные дни он считал, что пророчество предлагало лишь руководство на будущее. Теперь оракул демонстрировал всю свою непререкаемую волю. Речь шла о судьбе человека, предписанной ему еще в утробе матери, и это было его заботой – узнать о ней как можно раньше, с помощью ли прорицания или собственной проницательности.

* * *

К вечеру третьего дня братья сидели во внутреннем дворе у выложенной камнем, густо засыпанной песком площадки, на которой взрослые сыновья Деиона упражнялись в кулачном бою. Особенно выделялся среди них Кефал, сохранявший в целостности свое красивое лицо, тогда как его соперникам приходилось уже вытирать кровь из разбитой губы или носа.

- Много чего я повидал, - говорил довольный отец, позабыв на время самые последние, еще неразгаданные события своей жизни, - и, поверь мне на слово, ничто, даже власть над целым городом не сравнится с этим чувством. Для тебя вот они только юные мужи, каких полно и в Фокиде, и во всех других местах. Да я и сам иногда злюсь на них из-за какой-нибудь досадной промашки, как на чужих. Пожалуй даже больше злюсь, чем на соседнего оболтуса. Но как подумаешь, что был такой день, когда их не существовало на свете, а жили лишь мы с Диомедой, и вдруг ниоткуда появились эти вопившие, забрызганные – вот как сейчас – кровью стервецы. И пока ты изо дня в день поспеваешь

за делами, они тянутся и тянутся вверх и раздаются в плечах, и погляди на них – мне кажется, мы не были такими складными и сильными, но откуда же, как не от нас они все это приобрели? Право, лучше совсем не иметь потомства, чем лишиться этого зрелища на склоне лет, не увидеть, как уверенно топчут землю твои взрослые сыновья. Болит у меня сердце за Афаманта. Помнишь, каким он был? Лучшего отца себе не пожелаешь...

- Ты говоришь о нашем старшем, о том, кто первым покинул дом и стал править в Орхомене. Но разве не родила ему Нефела дочь и сына?

- Скажу лишь, что всем этим он был одарен по праву. Да были у него и другие дети, но ни одного из них не пришлось ему увидеть подросшим.

- Что ты говоришь, Деион! Что случилось с нашим Афамантом?

- Я думал, ты знаешь об этом, как и о прискорбной кончине Салмонея.

- Нет в живых Салмонея? - вскрикнул Сизиф, будто почувствовав толчок в грудь.

- Жаль, что это мне приходится оповещать тебя о таких вещах. Но, похоже, из эолидов только мы с тобой остались в живых. Нам и полагается припомнить братьев сердечным словом. С кого же начнем?

Мысли Деиона ушли далеко. Перебирая в памяти братьев, он должен был назвать и Кретея, и его жену Тиро, о которой с таким жаром рассказывал ему Сизиф. Вчера она была для Сизифа несчастной, запутавшейся девчонкой, теперь предстояло изобразить все, как есть, и описывать старуху, похоронившую мужа и в отчаянии наблюдавшую за кровопролитной войной своих сыновей и внуков. «Мне, конечно, не под силу задержать чью-либо молодость, - думал фокидский царь, - но вот придется в одну недолгую беседу уместить жизнь нескольких поколений, что я, пожалуй, сумею. А ведь это почти одно и то же». Деион даже слегка приосанился, но рассказ о Кретее все же отложил, начав с самого, как ему думалось, безопасного.

- Ты, как будто, называл тот край, куда собирался Салмоней вести свое воинство? Звучит он и вправду похоже на Афамантов Орхомен. Не знаю, есть ли такой город, и сколько мест они обошли, но окончил он свои дни здесь неподалеку, в пелопонесской Элиде. Рассказывают, что город он заложил – нигде, на пустом месте. Ничего не слыхал я и о его советнике, беспалом фракийце. Видно сгинул где-то по дороге, а то удержал бы, наверно, Салмонея от новых чудачеств. По-свойски, говоришь, с богами обращался фракиец? Уж не ему ли решил наш Салмоней уподобиться без всякого права и без надлежащей сноровки? Терпенья его хватило, только чтобы построили его спутники жилье, вспахали землю на быках, что купили по пути, и посеяли первый урожай. Подумывали уж послать кого-то из своих в Эолию за семьями, но тут Салмоней сорвался. Первым делом пошел по дворам собирать сосуды и прочую медную утварь, которой они едва успели обза-

вестись. Люди, хоть и роптали уже потихоньку, но слушались его, уж больно далеко от дома забрались, а другого царя у них не было. Может, и на чудо какое надеялись, жизнь-то у них пока не очень веселая получалась. И стал Салмоней разъезжать по окрестным дорогам на своей колеснице, привязав к ней сзади всю эту дребедень. Если поразмыслить, то ничего дурного он не затевал. Сушь в то лето стояла, побаивались, что хлеб сгорит. Ты слышал, наверно, как в иных местах дождь у небес выманивают. Вот он, я думаю, и понадеялся, что на шум и звон свой ответ получит. Да свои же люди его и сглазили. После первого ливня кто-то не удержался, выпустил дерзкое слово, что зачем, мол, нам небеса, раз у нас свой громодел есть. Теперь он уже и по ночам спать никому не давал. Стали ему всякие восторги выказывать, живность носить – он и от этого не отказывался. Дальше – больше, начал в самую темень горящие головни подбрасывать. Не очень высоко получалось, так и тут помощник нашелся, придумал метальное орудие. И вот расставят ему вдоль дороги эти доски на подпорках: с одного конца, что вверх задран, веревка висит, на другой, что в землю упирается, положат горящую головню. Погромыхает Салмоней в коляске своей, подкатит к такой доске и за веревку дергает – головню и подкидывает, теперь уж по-выше. Я вижу, ты улыбаешься. Готов и я с тобой заодно, а ведь знаю, что совсем не смешом дело кончилось. Но таким уж баламутом, как видно, и запомним его. Может самих богов своими затеями развеселить надеялся.

То ли особенно удачно он в тот раз проехался, то ли случайно подгадал, но разыгрались небеса не на шутку, сам Олимпиец в раж вошел, решил наказать самозванца. Было ли за что это взрослое дитя наказывать, нет ли, а бил сверкающими копьями своими в землю всю ночь без устали и сжег Салмонеею дотла. Брату же нашему особую честь оказал. Рассказывают, что никто такого не видел ни до, ни после. Выбрал Зевс из своих орудий как бы раскаленный шар вроде цепа, которым мы зерно вымолачиваем, и шар этот светящийся за салмонеевой коляской гонялся, пока не настиг. Такой удар раздался, что покрыл все прежние громы, осталась от того места одна яма, где нечего было хоронить. Двое или трое из всех его спутников только и спаслись, и рассказали людям, как все случилось. Да и эти недолго прожили, болезнь их скрутила – ни еда, ни питье впрок не шли, высохли в одночасье, до Эолии ни один не добрался и родню не увидал.

- Я знал, что добром не кончится, когда смотрел на них там, с этим бесноватым у костра, - проговорил Сизиф. - Но их не остановить было. Хотя... не так уж я и старался.

- Когда это Салмоней давал себя остановить? Негоже так о брате говорить, да ведь и любил же я его, а был на нем этот знак, никчемным Салмоней оказался.

- Что поделаешь. Хорошо хоть не мучался, смерть быстрой была.

- Моргнуть не успели – и ничего от человека не осталось.

- А что ты об Афаманте говорил? Давай уж осушим и эту чашу.

- С Афамантом совсем другое дело вышло, и терпеть ему дольше пришлось.

Сыновья Деиона закончили свои потасовки и все вчетвером, потные и довольные уселись на камни подле отца и дяди, слушая одну из семейных притч, прибавляя мудрости к своим совершенствам.

- Ты его первую жену не видел, а я разок побывал у них в Орхомене, отец меня посылал. Хороша была царица. И детишки у них пошли один другого краше. Оба на мать были похожи. Одно мне странным тогда показалось, да я быстро забыл, думал – что ж, в других краях люди по-своему живут, нельзя всякого одной меркой мерять. Странность в ней была такого рода, что все, казалось, она сразу в двух местах пребывает. Говорила складно, хозяйство вела умело, ничего не уронит, нигде не споткнется, а стоишь с ней рядом и чудится, что уводит она тебя от этого места, будто еще где-то есть у неё дела, да чуть ли не важнее всех наших. Афамант тоже об этом ее свойстве знал, потому что раз-другой он посматривал на меня, вроде увидеть хотел, как я с этим мороком справляюсь. Я еще подумал, что мне бы с такой женой не совладать, а вот большому Афаманту это беспокойство как раз по силам. Может им она его и покорила, хотя, как я сказал, красивая была женщина. Поднимет обе руки волосы свои пепельные подобрать и будто все вокруг вслед за ее руками в воздух всплывает. Но, кажется, и Афамант устал за землю держаться. Или другая размолвка была – расстались они. Проще говоря, пропала Нефела. Детей у отца оставила и больше не появлялась. Афамант-то не горевал, года не прошло, а у него уже новая жена в доме по имени Ино. И опять не замухрышка какая – самого Кадма дочь, хотя от отца благородства мало унаследовала, ревнива была выше всякой меры, на пасынка и падчерицу смотреть спокойно не могла.

Слушая брата, Сизиф качал головой. Ему хорошо известно было, какими несчастьями может грозить такая злоба. Четверо юношей тоже это знали, они слышали историю не впервые и не только от отца. Эти судьбы жили в памяти и время от времени становились частью беседы – подходящим примером для назидания или просто уместной ссылкой при случае. Чаще всего они излагались мимоходом, как хорошо известный, не требующий повествовательных усилий факт, иногда упоминались лишь имена и отдельные фрагменты события. А порой беспечный рассказчик, нисколько не заботясь о правдоподобии, вставлял в историю слышанные от других или сочиненные на ходу мелочи, которые потихоньку расшатывали подлинные узлы и сочленения были, превращая ее в более или менее развлекательное поверье, лишенное волнующего, тревожного аромата истины. Отец возвращался к этим преданиям не часто, так что они не успевали стать надоевшими стариковскими побасенками. Но кроме того, хотя Деион без сомнения рассказывал всегда одну и ту же историю, им казалось, что каждый раз он вспоминал новые подробности или чуть иначе передавал впечатление от старых. История

же от этого не только не теряла правдоподобия, но становилась все более настоящей, обретала тяжесть и остроту подлинного бытия, так что сыновья с каждым разом усваивали нечто, им прежде неведомое, над чем стоило поразмыслить. Да и сами они потихоньку выросли и с любопытством ждали, что же принесет им та или иная отцовская притча на этот раз.

Солнце зашло, но было еще светло. Шел тот самый час, когда весь видимый мир совершает последний неторопливый вздох, прежде чем отдаться тьме и ожиданию следующего дня. Женщины ничем не выдавали своего присутствия в доме, а Деион тем временем продолжал рассказ об одной из их числа, готовой по прихоти своей обречь на мучения целый город. Даже появление на свет двух собственных сыновей ее не остудило. Пользуясь своим влиянием, новая царица отвлекла в нужный момент женщин, следивших за посевным зерном, и те его пересушили. Когда не взошел целый урожай, катастрофа показалась такой опустошающей, что не у кого было спрашивать совета, кроме как у богов. Но и отправленные Афаментом в Дельфы посланцы не миновали вездесущей царицы. Перехватив их на обратном пути, Ино сумела заморочить голову своим простодушным подданным и подменить писанное жрецами толкование оракула.

Таким образом царь узнал, что во спасение города бог требует в жертву ни много, ни мало, как его первенца, рожденного Нефелой Фрикса. А перепуганное угрозой голода население уже заранее выражало недовольство предполагаемым отказом своего правителя расстаться с сыном. Что делают с теми, кто принес столь дурные вести, все знают. Тем более, что ни жизнь их, ни смерть никак не способны поправить дело. Ино же тем самым избавилась от последних свидетелей своего коварства. Урожай, однако, все не всходил, и пришлось золотоволосому мальчику Фриксу под плач сестрички Гелы готовиться к торжественной смерти во славу своих земляков и Дельфийского владыки Аполлона. Тут-то и узнали все наконец, откуда взялось у их матери это свойство одновременного стояния и парения, присутствия и отсутствия, движения и покоя.

К этому месту Деион подошел бережно. Оно было ему особенно дорого. Как-никак, последовавшие затем события были доказательством единственной в его жизни, пусть и безотчетной, но встречи с неземным.

- Вообрази, любезный мой брат, и вы, ребяташки мои, что ведет наш Афамент мальчика за руку к жертвенному камню, а по всему пути стоят люди, и тишина такая, что слышно только, как гравий скрипит. Ручонка у Фрикса задрана, потому что роста отец огромного, а ему еще шести не исполнилось. Выходят они на прямую дорогу, и видят отец с сыном, что сидит на камне женская фигура, а рядом с ней что-то шевелится, горит на солнце, подобно золотому краю облака перед закатом. И кроме них и Гелы никто этого не видит, ибо не достойна корыстная чернь лицеизреть божество. Вырвал Фрикс руку у отца,

побежал к матери, вслед за ним и сестра поспешила. Афамент же шагу не прибавил, но голос Нефелы слышит рядом звучащим: «Ах, герой! Ах, доблестный царь Орхомена! Многую тебя жизнь научила, что ты готов сердце свое сжать в горсти и родного сына обескровить. Для чего же? Чтобы у этих неразумных от сытого довольства животы вспухали? Вижу, что едва на ногах стоишь, но смятение это ты сам на себя навлек. В нем и оставайся, а о детях этих забудь. Смотри, как бы и остальных не лишиться».

Поднимает она на руки сначала сына, потом дочь и сажает их в густую золотую шерсть барана, что спокойно рядом стоит. Как только ухватились они покрепче за длинное руно, взметнулся овен к небесам, и кроме пустого омфала ничего Афамент перед собой не видит. Богиней облаков была Нефела. Вон куда ее влекло. И всех тех, кто хоть раз с ней встретиться сумел.

Здесь Деион неизменно замедлял речь и умолкал, погружаясь в воспоминания, которые не помещались в простой рассказ. Волнение овладевало им всегда, а в этот раз он испытал особый подъем, не сразу догадавшись, что причиной тому были расширенные, жадно вбиравшие каждый штрих рисуемой им картины глаза одного из слушавших. Сизиф, позабыв о достоинстве старшего в отношении племянников, устался на брата, весь подавшись вперед, и не отрывал от него ждущего взгляда, хотя Деион давно уже молчал. Его потрясла судьба нескладного отца, как в очередной раз потрясла она и сыновей рассказчика, слушавших тоже достаточно внимательно, но одно обстоятельство в этой истории имело для него особый смысл. Загадочные свойства Нефелы, так красноречиво описанные Деионом и так неожиданно объяснившиеся, были слишком знакомы ему самому. Судьба Афаманта еще не была исчерпана, но продолжение рассказа доносилось до Сизифа, как сквозь войлочные стены пастушьего шатра, и только последние, уже едва различимые напоминания о Нефеле прокалывали войлок острыми звуками.

Деион же, овладев своими чувствами, рассказывал, что люди в Орхомене, в конце концов, перебились. Пришлось им поголодать, но царь денег дал, чтобы они прикупили хлеба у соседей. Притихла и Ино, добившаяся своего, однако беда, пришедшая в дом вместе с нею, еще не полностью себя показала и вернулась вместе с младенцем, которого отдали супругам на воспитание.

Ино взяла ребенка охотно, прежде всего потому, что он был сыном сестры ее, Семелы, чудом сохранившимся в утробе матери, когда ее спалила свирепая смертельная горячка. А помимо того, никому не знакомые люди, которые мальчика принесли, намекнули на бескрайнее могущество его отца, о котором свидетельствовало и имя ребенка – Дионис, божий сын. И хитрая женщина понадеялась использовать это могущество в свою защиту. Но совсем не так вышло, как ей хотелось.

Лишившись первых, самых любимых своих детей, начал Афамент все меньше

на себя походить. Сперва овладело им уныние, ничто его больше не радовало. А вскоре он стал впадать в помрачения, сопровождавшиеся такой яростью, что не отличал царь родни от чужих, друзей от врагов, живых существ от мертвых предметов. Очнувшись же, не помнил, что с ним было, и отказывался верить, когда ему показывали, что он натворил. Были такие, кто считал его беспамяත්ство не столько следствием скорби по утраченным детям, сколько наказанием, которое великодержавная супруга Олимпийца Гера послала семье, гневаясь за их заботу о внебрачном сыне Зевса, прижитом Семелой. И если это было правдой, то она вполне преуспела в гневе, ибо в очередном приступе ослепления пустил Афамант по-прежнему сильными своими руками стрелу, которая пронзила насквозь щупленькое тельце одного из сыновей Ино и вышла наружу под лопаткой на целую пядь.

Не успел Леарх ни бескровные губы разомкнуть, чтобы мать позвать, ни тяжелые веки приподнять, чтобы взглянуть не нее. Та же судьба постигла бы и Милликерта, потому что пробовал уже Афамант дрожащими пальцами наконечник следующей стрелы, да Ино, схватив сынишку, бросилась прочь. Но и смертный страх, удвоивший силы матери, не мог спасти ее от мужа, силы которого в неистовстве тоже удвоились. Когда поняла Ино, что никуда ей не убежать, не стала она второпях молить богов о спасении, а прокляла свою жизнь и бросилась с обрыва в пролив, что отделяет остров Эвбею от Беотии, и поглотило их безмерное Эгейское море.

Но не были бы боги непостижимы, если б не превышали их воления всякую меру. Почудилась им, надо полагать, непозволительная гордыня в простом избытке сил у Афаманта, которые вынуждали его пережить все напасти, хотя самому ему жизнь казалась теперь не дороже треснувшего горшка. Жители Орхомена не желали более мириться со своим царем, да Афамант и не дожидался изгнания. Покинув Беотию, он просил у богов одного: раз уж сохранили они ему жизнь, превратив в чудовище в человеческом облике, то хоть указали бы, где может он поселиться, никому не причиняя зла. И было дано Афаманту понять, что уступят ему место дикие звери, разделив с ним свою трапезу. Однажды во время скитаний стая волков, пожиравших добычу, разбежалась при его появлении, бросив мясо. Здесь, на севере страны Афамант основал поселение, назвав его своим именем. Тоскуя по детям и доверившись богам, он вновь женился на женщине по имени Фемисто, которая вскоре принесла ему еще двух сыновей. Но таково было проклятие старшего эолида выбирать себе в жены либо небесных богинь, либо беспощадных эринний, и нечего было Афаманту противопоставить природе ни тех, ни других.

Время от времени доходили до него медленные слухи о событиях в разных краях. Изредка эти события касались его самого, но лишь растрavляли горе. Так узнал он о том, что дети Фрикса, его внуки живут в далекой Колхиде, куда унес их золотой баран Не-

фелы, и о деде своем знать не желают. А самого Фрикса уже в живых не было. Еще раньше погибла маленькая Гела, не удержавшись на своем златорунном спасителе и соскользнув в пучину, когда они пролетали над Геллеспонтом. Обо всем этом давно успели рассказать где-то там в Беотии вернувшиеся с золотым руном аргонавты. Но когда он услышал, что одного из них спасло от морской бури некое морское божество, в котором Афамант тут же с изумлением узнал свою Ино, он понял, что поспешил с новой женьитьбой, и всей своей душой рванулся на поиски прежней жены и, вероятно тоже уцелевшего, сына.

Тут взялась отчаянно сражаться за свои права оставленная Фемисто. Она не знала, что боги дали бывшей жене Афаманта новую, менее уязвимую жизнь, что бесполезны были попытки земной женщины соперничать с этой божественной тенью, разбоем утверждая свое семейное счастье. Всюду чудились Фемисто дети мужа от других женщин, всюду стремилась она их извести. И когда ее собственных, купавшихся в реке мальчишек подхватил водоворот, а они от страха стали звать отсутствовавшего отца, слепо веря в его спасительную силу, что-то дрогнуло в сознании матери, и, не пошевелив рукой, она дала им захлебнуться.

Так потерял Афамант и этих детей. И теперь оставалось ему, так безнадежно таявшему в своем потомстве, что ничего живого в нем больше не сохранялось, сгинуть самому, уже без каких бы то ни было заметных обстоятельств, неизвестно где и как.

Рассказ затянулся, и Деион устал. Он еще нашел в себе силы, чтобы коротко сообщить о двух других эолидах – Магне и Периере, мирно окончивших дни в своих владениях, но тяжкую долю последнего брата Кретея приходилось отложить до другого раза. Был в этом и бессознательный умысел старика, сколь возможно оттягивавшего разговор о том, что прямо задевало гостя.

Теперь совсем стемнело. Широкое крыльцо у песчаной площадки освещали два факела, бесшумно зажженные рабом. Пролетели над домом гуси, коротко уточняя что-то друг другу низкими голосами. Подняв голову, Сизиф отыскал среди сентябрьских созвездий Плеяд и долго старался разглядеть между шестью звездами седьмую, то ли отсутствовавшую, то ли остававшуюся невидимой.

При всей ее губительной изощренности, жизнь была проста, предлагая лишь два направления – к успеху или поражению. И завершенные, и близившаяся к концу судьбы братьев отчетливо на это указывали, еще раз грубо ткнув носом в утраченное им время, но и дав тем самым редкую возможность увидеть всех вместе в единой перспективе, где и ему полагалось стоять в нужном ряду. Для обозрения открывалась династия, разделившаяся на благословенных и отверженных, ибо по некоторым намекам и умолчаниям Деиона он мог догадаться, что с Кретеем дела обстояли не лучше, чем с Афамантом и Салмонеем. Кому же в затылок следовало стать ему? Нынешнее положение выглядело, как необычно

ранний провал, так что в самый раз было вслед за временем утратить всякую надежду. Но не ощущал Сизиф никакой угнетенности духа. Напротив, ему казалось, что вместе с новым испытанием, к которому он готовился, близится непонятное еще, но вполне реальное освобождение. Отнюдь не бесславный конец предрекал ему оракул. Возможно, не суждено ему было испытать и безмятежное счастье, подобно Деиону или Магну, но означало все это только одно – выпадение из ряда, свою собственную, отличную от рода стезю. Разве не оказывался он теперь, единственный среди братьев с еще не завершенной судьбой – седьмым? Разве не обещало ему всегда это строгое число удачу? И разве не выпал он уже из времени самым недвусмысленным образом? Ничего принадлежавшего ему он пока не потерял, и даже рванувшееся из рук время не оставило на нем своих следов.

Сизиф все продолжал отыскивать в черных небесах спрятавшуюся плеяду, когда рабыня передала мужчинам приглашение хозяйки дома к ужину.

* * *

- Не сердись, что я не уделял тебе много внимания с тех пор, как мы пришли в Фокиду. Но ты знаешь, что нам тут пришлось увидеть, и, может быть, догадываешься сама, чем были заняты мои мысли.

Сизиф только переступил порог и издали наблюдал, как Мeroпа расчесывает и укладывает волосы перед сном.

- Все, что я говорил тебе в дороге о том, куда мы идем, и что нас ждет за Истомом, надо забыть. Придется искать другое место. Если ты готова меня выслушать, я скажу, что я об этом думаю.

- Конечно, я готова выслушать тебя и завтра же отправиться, куда бы ты ни захотел. Но скажи сначала мне, неразумной: почему ты хочешь забыть о том, что так воодушевляло тебя каждый день нашего пути?

Похожего ответа Сизиф очень ждал и боялся не услышать.

- Тебе известно, что по прихоти богов мы пропустили час и день, и год – и не один – когда все это могло с легкостью осуществиться. Зачем ты притворяешься неразумной?

- Я знаю, что боги сурово обошлись с твоим братом и его семьей, заставив их наблюдать чудо, свершившееся с нами. Но мне известно и другое: мы с тобой ничуть не переменились, ни в наших летах, ни в наших мыслях. Я знаю, как тебе хотелось попасть в Эфиру, и, право же, без всякого притворства не пойму, что побуждает тебя отказаться от своего намерения.

- Мы шли в Эфиру не убежища искать. До поры до времени я был никем, это

правда. Однажды решил – и ты мне в этом помогла – строить свою жизнь самому и сделать ее достойной. Но я не завоеватель. Одно дело, когда само положение дел предлагает человеку занять подобающее место, совсем другое, когда ему предстоит вмешаться в дела целого города и искать путей к власти над ним, пользуясь хитростью и, одни только боги знают, чем еще. Может быть, тебе не так уж важно, кем будет твой муж? Готова ли ты вместе со мной вновь стать никем? Тогда скажи мне об этом прямо, и мы отправимся в Эфиру или куда угодно, выбрав направление по ветру, подувшему с утра, или по полету птиц.

- Мой муж – тот, кто он есть, - отвечала Меропа тихим своим голосом, - никакое положение ничего ему не прибавит и не убавит в моих глазах. Я, правда, не совсем понимаю, что значит быть никем. По-твоему, в Эолии я тоже была никем? Мне так не казалось. Во всяком случае, этот «никто» не был обойден жизнью, своим вниманием меня одарил не только сын царя, но и тот, кого выбрало мое собственное сердце. Мне не хотелось бы, однако, чтобы эти слова звучали возражением. Я вовсе не собираюсь препятствовать твоим желаниям. Я только недоумеваю, откуда пришла к тебе уверенность, что все пропало.

- Оно пропало вместе с жизнью Деиона и остальных моих братьев. В Эфире давно забыли о Коринфе и перестали беспокоиться о наследнике. Там правит сейчас какой-нибудь уважаемый человек, который, может быть, еще и не позволит нам остаться. И я говорю только о том, о чём можно догадаться. О многом мы вообще не знаем, будто вновь родились.

- Так именно об этом и я говорю! У тебя не было никаких сомнений в том, кого ты встретишь в Фокиде, и ты обманулся в своих ожиданиях. Теперь ты делаешь вид, что знаешь, как обстоят дела в Эфире. Но что если боги призывают нас к осторожности? Мне кажется, пока можно с уверенностью сказать, что постарела лишь Фокида.

- А тополь, вымахавший за ночь у нас перед носом на двадцать локтей? А вдруг обезлюдевшая деревня?

- А Трифон, который постарел вместе с нами всего на семь дней пути, как и моя Халкиноя?

- А братья? Ты не знаешь, что мне поведал Деион об их кончине.

- Не знаю, пока ты не расскажешь мне об этом. Как не знал и ты, пока не услышал от брата. Но что бы оно ни было, это случилось на Деионовом веку, не на твоём. Почему ты не подойдешь ближе, не сядешь рядом и не возьмешь меня за руку, как делаешь всегда, когда тебе нечего скрывать? Ты взволнован, мне хотелось бы тебя утешить, но я не знаю как, не зная, что тебя беспокоит на самом деле.

Настоящий вопрос, который единственно только и заставлял его говорить, дей-

ствительно не был еще задан. Но вот и уклоняться больше не получалось.

- Кто ты? - заставил он себя выговорить, так и не сдвинувшись с места.

- Вот тебе на, - улыбнулась Мeroпа, - Что я такого сказала или сделала, что ты меня больше не узнаешь?

- Я видел тебя во сне. Давно, задолго до того, как ты появилась в Эолии... И с тех пор знал, что рано или поздно тебя встречу. Там, во сне ты была не одна... Тебя окружали сестры...

- Но у меня...

- Вас было семеро, вы убегали от великана-охотника, которому я случайно преградил путь. Это был Орион. И я догадался, что вижу... что боги подарили мне счастье взглянуть на истинную красоту Плеяд, среди которых одна сияла так, что затмевала остальных. Теперь, когда я гляжу на небо, я легко могу отыскать сестер, но тебя нет среди них.

- Ты говоришь безумные слова, - шептала Мeroпа, не переставая качать головой в решительном отказе, - Мне лестно, мой бесконечно любимый, что так высоки твои мысли о Мeroпе. Я все бы отдала, чтобы стать для тебя той, которая пришла во сне. Как может быть, она отдала бы свою небесность за право стать земной женщиной и встретить Сизифа. Но это – все, что я могу тебе сказать. Клянусь нашими будущими детьми, мне не в чем больше признаваться.

Она не лгала, была напугана, и Сизиф понимал, что не следовало ее об этом спрашивать. Одновременно он вдруг устыдился, что до сих пор не открыл ей всего о своем походе в Дельфы, и когда Мeroпа успокоилась под его поцелуями, он постарался объяснить, как, по его мнению, следовало понимать оракул. Но пока говорил, понял вдруг, что пророчество можно и не считать ни причиной, ни доказательством нынешнего промаха. Подтверждением тому была и лучезарная улыбка, с которой слушала его Мeroпа.

- Ну хорошо, - смирился он, - У тебя светлая голова, ты умеешь видеть вещи по-своему. Говори, как нам поступить.

- Но тебе совсем не нужно смотреть по-моему, - отвечала Мeroпа, - Разве ты не видишь сам, что та Эфира, где доживает последние дни царь, оставшийся без наследника, это тот же спелый плод, катящийся тебе в руки? Стоило ли отказываться от Эолии, чтобы стать обладателем такой же мякоти без семян? Я, как и ты, не знаю, что нас ждет за Истомом, но по-прежнему не вижу причины, чтобы сворачивать с дороги. Есть у меня, правда, одна догадка, которая, может быть, облегчит нам остаток пути. Ты в самом деле часто упоминал Эфиру, но думал ли ты о ней? Не слишком ли заняты мы были друг другом, чтобы удержать на месте город, где нам предстояло жить, а тебе – еще и заботиться о его

благополучии? Если мы впредь будем чуть осторожнее, не успокоится ли время? Не перестанет ли пугать нас столь замысловатыми преградами?

- Вот уж не Эфира у меня сейчас на уме, - говорил он, распуская ее уложенные волосы.

- Я вовсе и не к этой осторожности тебя призываю... Послушай... мне будет приятно, если ты изредка, когда никого нет вокруг, будешь называть меня плеядой. Я постараюсь быть той... которую тебе хотелось бы во мне видеть...

* * *

Рано утром он разбудил рабов и приказал Халкиное быстро готовиться к дороге, а сам с Трифоном отправился на базар, откуда привел небольшое овечьё стадо в двенадцать голов и осла, навьюченного двумя тюками с дорогой домашней утварью. Он не собирался являться в незнакомый город с пустыми руками и не хотел напоминать брату об обещании.

Еще меньше хотелось ему вносить смуту в этот дом объяснением причин, по которым он продолжал свой путь в Эфиру. Для этого, пожалуй, понадобилось бы провести здесь еще не один вечер, углубившись в такой лабиринт судеб и предначертаний, выход из которого можно было найти только вдвоем с плеядой и без особых разговоров. Когда поднялись хозяева дома, все было готово, и Деиона застало врасплох поспешное прощание.

Сизиф был благодарен брату за гостеприимство, за терпеливую сдержанность в течение всех этих дней, за рассказы о братьях, которые, как-никак, помогли ему собраться с мыслями. Он не поскупился на выражение признательности и очень растрогал старика. Отрешившись от всех темных сторон этого посещения, фокидский царь прижал к сердцу вечно младшего брата и, движимый простой житейской заботой, спросил:

- Куда же вы теперь отправляетесь?

А у Сизифа давно был заготовлен хоть не совсем честный, но зато безопасный для обоих ответ: хочет, мол, вновь побывать в Дельфах, расплатиться со святилищем за исполнившееся пророчество и сбереженные силы и, может быть, получить новое указание, теперь уже вполне практическое – где ему положено начать свой род. А заодно показать Меропе это волшебное место.

Меропа тоже горячо благодарила хозяев, прибавив к сказанному мужем, что они постараются сразу же дать о себе знать, как только обоснуются на новом месте. Оба выглядели свежими, лишние заботы их как будто не обременяли. Глядя вслед спускавшемуся пыльной дорогой с городского акрополя отряду из четырех человек,

дюжины овец и осла, царь Фокиды размышлял о том, что нет ничего удивительного в способности языка и неба угадывать в изюме вкус винограда. Но когда во вкусе зрелых сочных ягод вдруг различаешь спекшуюся сладость изюма, ты грешишь против настоящего, переоценивая значимость вторичного продукта по сравнению с богатством свежего плода. Что бы ни означало удивительное превращение, происшедшее с Сизифом, оно было этапом его жизни, а не истории Фокиды, и пустое дело пытаться связать одно с другим.

Весь смысл этого свидания свёлся для Деиона к тому, что дано ему было на старости лет так ярко вспомнить свою молодость, так ясно убедиться в радостной исполненности жизни, что его перестал мучать страх смерти. А через день после ухода младшего брата он незаметно умер во сне, в объятиях Диомеды, столь же потрясенной его кончиной, сколь и неожиданным водопадом супружеской нежности, обрушившимся на нее той ночью.

- Как я сегодня - не особенно противен тебе? Раздражения не вызываю? - спрашивал грек, едва различимый в сумерках и будто бы намеренно старавшийся не приобретать более определенного облика. - Я хотел бы избежать лишних впечатлений, так как нужно в этот раз объясниться без экивоков.

Артур пробовал удержаться – интонация пришельца его смешила. Но затем подумал, что притворяться глупо. Это означало бы, что он уж очень всерьез принимает обращение грека.

- Вот, ты улыбаешься, - продолжал тот, - а между тем веселить тебя тоже никак в мои планы не входит, и жаль, что ты именно в этой манере решил откликнуться, потому что дело не шуточное. По крайней мере для меня. Ты застыдил меня в прошлый раз, что я непохож и так далее. Но с тобой ведь не разберешься, на что надо быть похожим, да и нет у меня этого навыка подлаживаться под какую-то струю. Так я подумал, а что если просто сократиться почти до незримости, чтобы уж никаких индивидуальных черт не заявлять. Однако, присутствовать-то все же надо, раз хочешь с просьбой обратиться. Ну, вот и приходится висеть таким невнятным пятном и бестелесную наготу свою речью прикрывать, слегка избыточной, может быть. Это ведь ничего, а? Слова одни? А тут в некотором роде моя судьба. Кое-какой сдвиг, видишь ли, замаячил, и при определенных обстоятельствах ты, вероятно, займешь мое место, а мне придется опять спину гнуть каким-нибудь Артуром Сизифовичем. Оно, вне всяких сомнений, увлекательно и волнующе, и, в конце концов, не навсегда, но я совсем не уверен, что мне так уж этого хочется в настоящий момент. Случай маловероятный, девятьсот девяносто девять к одному, что у тебя ничего не выйдет. Но один единственный-то из тысячи случаев все-таки остается, а перемещениями

он грозит весьма и весьма существенными. Никак не хотелось бы рисковать. Я уж не говорю, что и в ожидании пребывать тоже очень неприятно. Но терплю, как могу, сам видишь. Даже придерживаю тебя себе во вред. Хотя самое милое дело было бы, наоборот – посоветовать, чтобы ты не останавливался, а полным маршем захватил весь восторг, проник бы в самую суть и создал шедевр. Тогда уж наверняка никакой опасности мне бы не случилось. Возможно, что слегка против естества вышло бы, но ставки-то каковы, ты подумай. Я не нахваливаю себя, а только обращаю твое внимание, что никаких подлостей по отношению к тебе пока не совершал. И, кажется, вправе рассчитывать на встречное расположение. Тут от тебя кое-что зависит.

- А зачем все-таки останавливать пытался?

- Да ну, это ты несерьезно ставишь вопрос. Какого литератора и когда это останавливало? Так, мелкие препятствия для более интенсивной работы ума. Сам ведь знаешь, небось, что только на пользу пошло. Но вот польза-то твоя, она может отнюдь не моей обернуться. И хотя приказывать тебе не могу, но прошу все же как следует взвесить, какими пертурбациями это чревато. Тебя такая перспектива, может быть, не пугает. Это твое дело, как ты говоришь. Но за меня-то решать, как бы и некрасиво получится, а?

- Откуда мне знать, что это правда? Ты притворяться мастер. Теперь вот тоже кого-то изображаешь.

- Да уж правда. Я к снисходительности твоей взываю. В таких вещах признаваться в своём собственном естестве поистине невыносимо. Так что, снизойди, сделай милость. Какой бы мне резон был сочинять? Я ведь не тороплю тебя и сейчас, а только к осторожности призываю. Выйдет у тебя книжка, нет ли – это дело пятое. И так, и так для нас по-хорошему может получиться. К тому, о чем я говорю это отношения не имеет.

- Чего ты хочешь-то?

- Вот уж не знаю, как еще тебе это объяснить. Кажется, и весь наш разговор преждевременный. Ну да лучше раньше, а то и говорить не о чем будет. Давай я тебе приоткрою один секрет моего житья-бытья, и как он преобразуется в вашей жизни. Ты знаешь, должно быть, что некоторые умы доходили до высочайших откровений. То есть, я нисколько не иронизирую, действительно жемчужины откапывали самой чистой воды. И затем, есть в человеческой природе одно прелестное свойство. Лишь только он проник в суть вещей, хотя бы только на один миллиметр, и увидел, что возможен новый взгляд на самые разные предметы, так он тут же желает весь мир отсюда обозреть. Иногда гордыня разыгрывается, не спорю, но в большинстве своем эти пророки – очень честные люди, искренние радители о человечестве, которому стремятся пошире открыть глаза. Обида в том, что истину свою открыв, они никак не могут передать ее ближнему в чистом виде, а

поэтому вынуждены рисовать новую картину мироздания старыми красками, со всеми возможными оговорками и предупреждениями, что не следует, мол, их понимать буквально, что это всего-навсего неизбежное зло, так как нет ни в человеческом языке, ни в человеческих чувствах ничего, что хотя бы отдаленно соответствовало атрибутам мира, ими познанного.

Порыв этот, повторяю, очень искренний, очень благородный, и в отдаленном результате приносит человечеству огромную пользу, всемерно развивая его воображение и ориентацию. Не в том, может быть, направлении, как учителю хотелось бы, но без этих светлых умов и подвижников жизнь стала бы окончательно неинтересной. Дело это, однако, такое горячее, такое необъятное, надо ведь всякую мелочь подстроить в общую перспективу – от дошкольного образования и медицины до диеты и философии – что гуру этот целиком погружается в работу и, при всех оговорках и предупреждениях, забывает предупредить самого себя. А средства его рано или поздно начинают дозвездеть, и когда он доберется до полной панорамы – такие люди, как правило, успевают, потому что высшее горение прибавляет им много сил, даже тем, кто страдает каким-либо физическим недугом – так вот, панорама эта, как бы уже полностью объясняющая мир, на девять десятых – чистый вымысел. Оно бы и ничего, так как процент вполне здоровый, безопасный, но как представишь себе, сколько времени и драгоценной энергии уходит у учеников и неофитов на освоение новой теории во всем ее объеме, и сколь неизбежным приходит спустя некоторый срок разочарование, так непременно задумаешься, а нет ли какого другого пути сохранить ту первоначальную жемчужину, тот малый миллиметр истины, не распыляя его в бесчисленных практических проектах?

Тут же, конечно, спросишь себя: а что пользы будет человечеству, если он удержит свое открытие при себе и никому его не доверит? Ведь таких людей – по пальцам перечесть. Как же всем остальным миллиардам продвигаться? Не совсем человеческого ума вопрос, и... вероятность весьма туманная, но если бы миллиарды не были так заняты в той или иной степени освоением чужих идей, может, они каждый своим умом дошли бы до чего-то подобного, и количество знающих начало бы постепенно возрастать? То есть, если именно это является конечной целью и смыслом существования. Но можно и гения понять. В самом деле, это уж чуть не монашеское изуверство какое-то – обрести истину и скрыть ее от ближних. Во всяком случае, совсем не по-людски. Так разнообразные книжечки и появляются, и твоя может оказаться лучше многих других, на что я тебя и ободряю.

- Значит продолжать?

- Не только продолжать, а со всяческим успехом завершить и получить причитающееся признание.

- А в чем тогда предостережение твое? Как это на тебе отразится?

- В этом, обоюдно счастливом случае никак не отразится, и все останутся по местам. Предостережение же, оно более предупреждающего свойства, на будущее. Если бы вдруг у тебя некие сомнения появились, то тут ты, может быть, по доброте своей вспомнил бы, что о чем-то таком был ведь предупрежден.

- Какие сомнения? Предлагать ли книгу другим? Я прямо сейчас могу сказать: об этом и не помышляю.

- И так годится. Ты пока в несколько наивном состоянии пребываешь и склонен обещания давать. А как до дела дойдет, взгляды твои перемениться могут, в присутствии всяких новых переживаний. Так вот, чтобы тебя это не смутило, если решишь как бы изменить твердому сегодняшнему убеждению, я и говорю: не стыдись, а поступай, как тебе велит твое сердце. И все в выигрыше окажутся.

- Но где же сдвиг-то, о котором ты упомянул?

- Сдвига-то в этом случае, может быть, еще и не произойдет. То есть, перемены кардинальные по сравнению с твоим теперешним отшельничеством. Но я хочу сказать, что ничего ошибочного в таком развитии событий нет. Я это говорю, чтобы ты не усомнился в тот момент. Ведь сигнал тебе поступает сейчас не откуда-нибудь, сам понимаешь. Вот припомнишь тогда и с легким сердцем убеждения свои обновишь.

- Ты все на двух вариантах застреваешь. Есть, значит, третий?

- Ты не подумай, ради всего святого, что я тебе советы даю или подталкиваю в каком-либо направлении. Всё тебе самому придется выбирать и за всё отвечать. Я только заранее прояснить стараюсь, какие в урочный час возможности могут открыться. А скорее всего, даже превышаю сейчас некие полномочия, с тобой об этом говоря. Ну вот судьба моя, понимаешь ли, будто бы уже и решена, и я ею не тягочусь. Я как-нибудь впоследствии расскажу тебе, какие тут преимущества обнаруживаются. А все же не совсем все окончательно закреплено, в некотором – очень малом, надо сказать – смысле дальнейшие обстоятельства зависят и от меня. Но я не готов, прямо тебе признаюсь, хотя и скорблю всей душой о немощи своей, не готов пока к каким бы то ни было действиям, за исключением тех, что позволяют сохранить status quo. В еще меньшей мере, но зависит судьба моя и от тебя. Разница тут в том, что я, если бы захотел, знал бы, что делать, а ты этого знать не можешь, а совершить способен. Ты мне когда-то притчу пытался рассказать о духовном поиске, который случается раньше времени и будто бы отвращает человека от всех его земных занятий. Вот я тебе в ответ свой анекдот принес о том, кто поиск этот успешно завершил. Теперь весь вопрос в том, что с находкой делать. Я тебя, если помнишь, не просил в то время разъяснить твой символ. Мы, конечно, не на равных выступаем в диспутах наших, но я же и шаг навстречу делаю и прибавляю к иносказанию кое-какие сноски. На

этом давай и задержимся.

- Ты что-то больно высокого мнения о моих способностях, кажется.

- Из одной только чистой предосторожности. Слишком многое на весах взвешено. Не хотелось бы по глупости равновесие нарушать.

- Стало быть, ты все-таки сам Сизиф?

- Сизиф, сын Эола, внук... - он вдруг замолчал и прислушался. - Извини, дольше задерживаться не могу. Неотложные дела-с.

Этот последний выверт смазал весь разговор, который был, как будто, не лишён какого-то смутного смысла. Теперь Артур не знал, стоит ли придавать ему значение или лучше забыть целиком, как пошлую реминисценцию, за которую ему сделалось вдруг стыдно.

Лучше всего было бы вообще разъединить эту путанную связь между греком и работой. Но это, кажется, не от одного Артура зависело. Ничто не мешало, однако, работу продолжать.

7.

Раз в месяц он уходил к морю. Иногда он покидал город по короткой неухоженной дороге в сторону порта Кенхрей и возвращался окольным путем через перешеек и другой, западный порт, а то, как сегодня, уходил с рынка по мощеной гранитом улице с ремесленными мастерскими и банями по бокам на север, в Лехей и тогда, проделав большую часть пути, он садился передохнуть на теплый камень у восточного края Истма, над синей бездной Саронического залива.

Немало лет прошло с тех пор, как сын эолийского царя явился с молодой женой в этот дважды приморский край. Дом его был полон, соседи, за исключением уж очень вороватых или завистливых, уважали пришельца за его ровный нрав и полезные начинания, приносившие городу богатство и славу. Сыновья радовали отца здоровьем и сообразительностью, а Мeroпа ждала третьего ребенка. Но главная причина ухода из отчего дома, надежда на коринфский трон обманывала его уже дважды, а после того, как перестало действовать судьбоносное число, и семь лет не принесли перемен, можно было не называть ее больше надеждой. Начинался десятый год жизни в Коринфе, и все своеобразие его судьбы, догадка о котором так окрылила его когда-то, свелось к ничем не примечательным дням рядового горожанина, лениво перетекающим из одного в другой.

С разогретого солнцем выступа на самом верху скалистого спуска к заливу был виден небольшой безлюдный остров стадиях в сорока, досадная помеха, закрывавшая

дальний обзор тем, кто едва начинал путешествие, отплывая из гавани Кенхрея. А за спиной на такое же расстояние тянулась каменная, едва прикрытая слоем земли суша, за которой лежал другой, невидимый отсюда залив. И на этой узкой полоске тверди висел полуостров Пелопонес, почти равный по размерам всей остальной Элладе. Как будто боги решили некогда оторвать эту землю от материка, но в последний момент передумали и оставили Истмийский перешеек, опасно сузив дорогу с севера на юг и сохранив преграду на пути из Эгейского моря в Ионическое. Как будто не выпестовать было редкое богатство Микен, причудливое зодчество Арголиды и завидный порядок Спарты, не перевязав этот мешок у горловины. Человеку на месте не сиделось, хотелось путешествовать, торговать и воевать, но дорогим и трудным было плавание по Средиземному морю в обход огромного полуострова. Еще труднее было нести корабли эти сорок стадий – более десяти тысяч шагов от одного залива к другому. Тех же, кто хотел бы без помех навещать с севера богатые пелопонесские города, вела туда лишь одна дорога, упиравшаяся, как в стену, в Коринф, который вместе с двумя своими портами по обе стороны Истма владел всеми входами и выходами полуострова, диктовал цены, покупая часть товаров и делал убыточным дальнейшее путешествие с их остатками. А совсем еще недавно мало кто добирался и до Коринфа, так как эту злополучную тропу выбрал себе обиталищем разбойник Синис, придумавший необычайно жестокую расправу для своих жертв: он пригибал вершины двух деревьев, привязывал к ним человека, и стволы разрывали жертву. Если бы не доблестный освободитель Афин Тезей, который одолел сосногибателя, наверно и Сизиф не решился бы совершать эти долгие прогулки, начавшиеся, как настоящий поиск, а теперь все чаще походившие на попытку вырваться хоть на время из западни, которой оказалось для него это место.

Бодрое настроение не покидало их с Меропой на всем пути от Фокиды до Истма. Здесь, на перешейке, в непосредственной близости от цели Сизиф в последний раз испытал отчаянный приступ сомнений, но только для того, чтобы сразу вслед за этим возликовали оба, узнав от встречных о том, как тревожно обстоят дела в Эфире. Ее престарелый царь по имени Коринф готов был вот-вот ввергнуть город в буйство междоусобицы, так как оставлял подданных без наследника и будущего правителя.

- Ореа! - зазвенел голос Меропы, всплеснувшей руками, - Слава Аполлону! - кричала она, сердя озабоченных эфирян, и еще: «Что я тебе говорила»!

- Не может быть... - бормотал Сизиф, держась за уздечку осла и опускаясь на придорожный камень, - Я должен его увидеть...

Получалось, что время, уже без какого-либо участия с их стороны, вновь утратило покой и рванулось вспять, возвратив супругов со спутниками к соответствующему их возрасту окружению. Оставался, правда, непонятным возраст животных, купленных на

фокидском базаре три дня назад и сорок лет спустя, но теперь, когда казалось, что время отпустило, наконец, свою хватку и отныне перестанет швырять их взад и вперед, ни обогнавшим родителей на три поколения овцам, ни поспешившему родиться ослу уже не смутить было Сизифа с Меропой. Скажи им тогда кто-нибудь, что настоящая тяжба со временем только начиналась, они не стали бы слушать.

Коринфа они увидели в тот же день. Это был высокий, худой, уверенно передвигавшийся старик, без всяких признаков болезни. Видно было только, что он прожил очень долгую жизнь, и во взгляде его не оставалось и тени любопытства. Наблюдая издали за его решительными движениями, можно было обмануться в возрасте Коринфа, но однажды заглянув в его глаза, собеседник сразу понимал, что этому человеку не нужны никакие недуги, что он сам определил свой срок, и лишь привычная забота о подданных еще удерживает его от того, чтобы быстро и легко расстаться с миром. Пока же он исправно царствовал, нисколько не утратив присутствия духа и доброжелательности, принял посетителей радушно, был с ними откровенен и разговорчив.

Наслышанный о почтенном Эоле и его сыновьях, правивших повсюду, царь рад был оказать покровительство отпрыску достойного рода и его миловидной жене, выбравшим его город для того, чтобы начать самостоятельную жизнь. Особенно заботлив он оказался в своих советах не задерживаться с потомством, они шли от самого сердца и... озадачили Сизифа, который терпеливо ждал, когда же Коринф перейдет к делу и заговорит о самом важном и очевидном. Сам он успел уже продемонстрировать не только выдержку и знание некоторых тонкостей управления, знакомых ему по обязанностям в отцовском доме, но и способность к хозяйственной прозорливости, предложив план, который, никак не пороча настоящего положения дел в городе, мог бы его усовершенствовать. Он возник на ходу, когда Коринф делился с ним родительской болью.

Сейчас, вспоминая эту первую и последнюю встречу с Коринфом, Сизиф размышлял о том, что царь, может быть неумышленно, а все же предупредил его о противоречивых особенностях этого места. Он же, целиком озабоченный своей судьбой, не услышал.

Отсутствие наследника было тяжким, но не единственным ударом, подорвавшим силы царя и его волю к жизни. Да, боги не дали ему сына, но у него была дочь, и на нее с некоторых пор он возлагал все свои надежды. Она вполне могла бы ненадолго перенять правление городом, отдав его затем своему сыну – уж у нее-то он должен был появиться.

В конце концов Силея родила, но к тому времени мать и сына можно было воспринимать не иначе, как проклятие, и не только для Эфиры. Избалованная, как видно, излишней заботой, единственная дочь царя, ни словом не намекнув отцу о своих намерени-

ях, сбежала из дома, связав свою судьбу с неким Дамастом – одичавшим разбойником по кличке Прокруст, долгое время державшим в страхе соседнюю Аттику. Разнузданные грабительские беззакония этого вытягивателя сопровождалась такой необъяснимой жестокостью, что мрачная слава о нем, а затем и о его верной супруге, быстро распространилась по Элладе и вынуждала Коринфа терпеть кошмары, скрежеща зубами во сне.

Именно его в этих мучительных сновидениях укладывал Прокруст то на одну, то на другую из своих подменных лежанок и, поскольку ни одна не оказывалась ему по мерке, зять подгонял то топором, то молотом бессильное в забытьи тело тестя. Иногда Коринф видел во время этих пыток дочь, равнодушной тенью маячившую в отдалении, и самую страшную боль доставляли ему не удары плюющих или рубящих орудий изувера, а стыд за свое бессовестное дитя, в грехах которого он винил и себя. Как же было униженному отцу не искать какой-нибудь малости, ничтожного знака, который позволил бы хоть как-то объяснить этот ужас дочернего вероломства? Он ни разу, например, не видел во сне ее лица, и уже одно это внушало ему надежду: может быть, она все-таки раскается успеет еще смыть с себя грех, вернуться домой и принести роду достойного потомка.

Силея же принесла потомка своему любезному супругу, и оказался Синис, внук Коринфа, достойным истязателем. Едва успев подрасти, он переместился поближе к Эфире, но не дедов трон его интересовал, в этом диком роду не было тяги к разумной, мирной жизни. Молодой разбойник облюбовал перешеек, где ему легко было выбирать себе жертву, и стянул страхом узкий путь, связывавший Пелопонес с остальной Элладой. Грабежом он не ограничивался и, радуя отца, убивал попавшихся ему в руки таким зверским способом, что даже увидеть это было равносильно смерти. Люди боялись покидать Эфиру, боялись навещать ее, торговые связи почти прекратились, и все это творилось под носом у Коринфа, но что же мог он поделать? Бесстыжий злодей сосношибатель был его кровным внуком, даром что отверженным.

Только Тезей, входивший в силу новый герой, не связанный лишними переживаниями, без труда разделался сначала с сыном, воспользовавшись теми же, излюбленными Синисом соснами, а затем и с отцом, уложив самого Дамаста на короткое ложе и приведя тело в соответствие с его длиной, укоротив на голову. Сгинула без вести и Силея, только теперь, как видно, осознав тяжесть своей вины.

Все в этой истории намекало на неспособность Эфиры разрешить свои дела самостоятельно, ибо собственные династические усилия Коринфа либо ни к чему не вели, либо приводили к противоположным результатам, порождая враждебные силы. Тут было над чем поработать пытливого уму, особенно если его обладатель сам был заинтересован в судьбах города. Коринф был благородным, относительно безгрешным царем, стало

быть, не на нем лежала вина за династический беспорядок. Какие-то иные, таинственные претенденты вели спор за владычество над этим местом, и надо было бы узнать, какими скрытыми возможностями оно обладает, чтобы умилостивить эти силы и, осуществляя их волю, навести здесь порядок.

Все это прояснилось для Сизифа спустя много лет после встречи с Коринфом. Тогда же, пока он слушал сетования царя на свою отцовскую судьбу, слушал внимательно, но, по правде говоря, не слишком вникая в его переживания, ему пришла в голову смелая мысль. Разумеется, Синис был враг человеку, кругом неправ и заслуживал позорной казни, но сама идея о власти над перешейком не содержала в себе никакого зла. Напротив, это была правильная, полезная для города идея, только осуществлялась она до сих пор во имя ложных целей и негодными средствами.

В тот момент мысль была, вероятно, слишком смелой. Очень близко лежала она к личным обидам и разочарованиям царя. Да и не был его ум настроен на преобразования, все это он оставлял преемнику. Сизиф, не вовсе лишенный чувствительности, постарался изложить свою идею осторожно, выразив ее в виде утешения. Звучало это так, что не все окончательно заглохло в царском потомстве, что свойственное государственному мужу мышление все-таки передалось от Коринфа внуку, но было искажено промежуточным родством с ублюдком Дамастом. Оттого и проявилось мудрое желание обогатить Эфиру торговыми пошлинами в такой изуродованной форме.

Коринф уловил в словах гостя ноту соболезнавания, но и только, выводы его он оставил без внимания. А Сизиф тут же прикусил язык, ибо в этот момент ему открылась истинная мощь и простота своего плана, который мог разом решить будущее города. Такими мыслями не следовало разбрасываться, он осуществит эту идею сам, когда придет время.

Когда придет время... В тот день оно не пришло. Загадка непонятливости Коринфа решилась очень просто. Он и не связывал приход Сизифа с властью над городом. Вопрос этот был уже решен. Попробуй даже сын Эола убедить царя в своих преимуществах, ему бы это не удалось, так как выбор, сделанный Коринфом, не только предоставлял Эфире нового правителя, но обеспечивал и будущее наследование. У Язона из Иолка уже было двое сыновей.

Сначала Сизиф пропустил это имя мимо ушей. Не важно было, кто перебежал ему дорогу. Кто бы он ни был, ему еще предстояло сюда попасть, тогда как он, Сизиф находился здесь, в царском доме, а рядом с ним стояла его жена, которая непременно вскоре родит ему сына. Как скоро?

По обычным людским меркам они добрались до Эфиры быстро, так быстро, что рано было заговаривать о сыне, даже задаваться вопросом, понесла ли Мериоп. Но для

жителей Эфиры, измученных ожиданием царского наследника, уstraшенных неминуемыми беспорядками, которые его отсутствие навлекло бы на город по смерти Коринфа, обещания молодой пары, сколь ни были бы они обоснованными, не значили ничего. Городу нужен был полный сил царь со здоровым потомством. Сизиф почувствовал, как пальцы Меропы, скользнув по его ладони, сжали ее. Он постарался справиться с собой и продолжал беседу, только теперь поинтересовавшись личностью своего удачливого соперника.

Сизиф никогда не слышал этого имени? Ну как же! Эллада чтит его, как героя, после того, как он вместе со своими соратниками благополучно вернулся на корабле Арго из Колхиды и привез волшебное руно золотого барана, испытал множество приключений и женившись на дочери колхидского царя Медее. Слова об этих общеизвестных, но неведомых Сизифу событиях, отсылавшие его к встрече с постаревшим братом и его рассказам, звучали, как гул приближающегося землетрясения. Но кто же он такой? Кто этот легендарный Язон?

И тут оказалось, что Деион, пожалуй, оказал ему еще одну невольную услугу, так и не познакомив с судьбой последнего брата. Если бы он это сделал, для Сизифа не было бы загадкой это имя, и еще неизвестно до какой степени он мог оскандалиться перед Коринфом своей растерянностью, в единый момент осознав, что лишается надежд на трон, что время еще не оставило его в покое, что жить ему здесь предстоит под началом собственного внучатого племянника, которого вообще не должно было бы существовать на свете, если бы все шло своим чередом.

Сейчас он пил этот терпкий напиток мелкими глотками, и трезвая горечь его помогала справляться с головокружением, когда он в мыслях разрешал времени вращаться вокруг себя, как некоего средоточия бытия. Центр этот был, как видно, не точкой, а осью, на дальнем конце которой находился еще один избранник – царь Эфиры Коринф, а ближе к Сизифу – рабы и Меропа. И тогда – как знать, не составляли ли эту ось судьбы еще нескольких людей, быть может, многих? Он ждал, что царь, следуя вдоль родословной Язона, сам наткнется на гигантский провал, но любопытства Коринфа хватало только на самое необходимое, и Сизиф не стал обременять старика сверхъестественной путаницей.

Так или иначе, его восшествие на трон откладывалось. Надо было решать, будет ли он терпеливо дожидаться своей очереди, а лучше бы сказать – случая, так как только случай мог оборвать благополучное развитие новой династии, или распрощается с этой мыслью раз и навсегда.

Что побудило его остаться в Эфире, вспомнить не удалось. Вероятно, он не руководствовался какими-то основательными доводами. Это сейчас, издали он мог иногда завидовать тому жестокому времени. На самом же деле он был тогда вконец обессилен

стремительными сменами горячих надежд и пробирающих холодом разочарований. Инстинкт требовал замереть, затаиться, ибо каждый новый шаг, казалось, вступал в противоречие с чьей-то непреоборимой волей. В решении не двигаться с места не было ничего рассудительного, он просто подчинился обстоятельствам, запретив себе на время строить планы.

Меропа живо его поддержала и занялась устройством дома, который им быстро сложили строители Эфиры по распоряжению царя. Это Коринф успел для них сделать, прежде чем душа его слилась с тенями Аида, оставив город на попечении супружеской пары из Иолка.

Сизиф не спешил знакомиться с новым царем. Неизбежное при этом выяснение родственных связей заставило бы всех производить подсчеты, сопоставлять события, вновь обнажило бы мучительный вопрос о его необъяснимой молодости, который так и не был окончательно разрешен. Он устал ломать себе над этим голову и целиком погрузился в хозяйство – оно требовало значительного расширения. Но не прошло месяца, как его с почтением и настоятельностью пригласили во дворец.

Сизиф постарался избавиться от всякого искушения видеть в таком повороте дел намек на новые возможности, даже ухитрился вежливо отложить встречу на два дня. А затем спокойный, испытывавший ровно столько интереса, чтобы не казаться невежливым, явился к царю. Конечно, любопытно было взглянуть на далекого потомка своей семьи, внука Тиро, так и оставшейся для него истерзанной одинокой девчушкой, но не Язон произвел на него самое сильное впечатление в этой встрече. По тому, как нарочито по-хозяйски вел себя новый царь, как молча, пристально смотрела на него Медея, он догадался, что в его приглашении, как, возможно, и во многом другом, инициатива исходила от нее, и что, если в будущем его ожидают какие-то отношения с царским домом, дело, вероятно, придется иметь прежде всего с царицей.

Язон хотел знать, тот ли он самый Сизиф, которого ему следовало считать своей родней. У эолида не было причин скрывать свое происхождение, еще больше запутывая и так труднодостижимое, скакавшее через целые десятилетия родство, и он послушно рассказывал о жизни в доме отца, о братьях и, в том числе – о Кретее, что интересовало Язона больше всего. Кретей был его дедом.

- Поразительные вещи ты говоришь, Сизиф, - удивлялся Язон, - Я смотрю на тебя и вижу раннюю юность отца моего отца, которого я же видел глубоким стариком. А твои из первых рук свидетельства о сиротке Тиро, бабушке моей, просто не укладываются в голову. Твоя речь правдоподобна, какой она не была бы, говори ты с чужих слов, но признаюсь тебе, я слышал историю этой девочки, родившей близнецов, которых ей пришлось умертвить, от многих других, и звучала она иначе. Мы готовы тебе поверить и

уж конечно не станем тебя уличать в грехе, который случился так давно, что нас еще на свете не было. И все же как получилось, что Сизиф прав, а вся Эллада ошибается?

Он никак не ожидал, что придется еще раз вдохнуть зловоние сплетни, а она, оказывается, не только не истлела, но набрала силу и заняла место правды, пока он отсутствовал в этих промелькнувших десятилетиях. Какими же еще подробностями сумела она обрести?

- Надо было бы мне сначала спросить, что именно сочинили эллины, немало искушенные в этом искусстве, - отвечал Сизиф, - но я сберегу ваше и свое время, открыв вам, о чем шептались в Эолии, не смея сказать мне об этом в лицо.

И кратко изложив выдумку о его связи с племянницей, он добавил:

- Этой ли клеветой тешатся люди? Или они ухитрились придумать что-нибудь похуже?

- Ты не должен принимать близко к сердцу ни людскую молву, ни наше любопытство, - успокаивал его Язон, - Мы другого объяснения не слышали, и никто не решился бы расспрашивать несчастную мать. Но ты ведь знаешь, как любят люди мешать правду с ложью. В той легенде, которую знаем мы, есть и твоя версия, и дети Тиро от Посейдона действительно погибли. А в пользу другой половины слуха, где называют твое имя, говорит событие, которому были свидетелями мы сами: близнецы, рожденные втайне, объявились живыми. Разумеется, все могло быть как раз наоборот, и выжили сыновья Посейдона. Хотя я предпочел бы иметь дело с детьми смертного, а не с потомками бога. - и царь рассмеялся.

- Я с удовольствием наслаждался бы всеми оттенками этой красочной сказки, если бы к ней не припутывалось мое имя, - говорил Сизиф, никак не разделяя веселья. - Мне жаль, что я не в силах устроить твою жизнь так, как тебе хотелось бы. Я знаю только одну двойню. Если они выжили – рад, что Тиро недолго пришлось мучаться совестью за совершенный грех. О том, кто был их отцом, я узнал с ее собственных слов. Мне пришлось ей поверить, а уж ты поступай, как тебе велят совесть и рассудок.

Это были довольно дерзкие слова по отношению к царю, да еще сказанные в присутствии его супруги. Но выхода у Сизифа не было. Попытавшись смягчить отповедь, он оставил бы место для сомнений, а честь свою ему хотелось сохранить незапятнанной, как и честь Тиро, тем более, что ни ее, ни его вины в случившемся не было. Ему показалось, что он заметил едва уловимое движение Медеи, возможно хотевшей удержать мужа от вспышки. Но Язон, судя по всему, был не так уж обидчив.

- Забудем об этом. Теперь эти давние дела никому не нужны. А вот что тебе все-таки придется нам объяснить, так это секрет твоей небывалой молодости.

- Да ведь я снова разочарую тебя, царь. Если тут и есть секрет, он мне неведом,

- отвечал Сизиф, - Я покинул Эолию чуть более месяца назад, а спустившись к Истму, обнаружил, что прошло по моим подсчетам сорок или пятьдесят лет. Я в самом деле не знаю, кто из богов сыграл со мной эту шутку, и в чем ее значение. Вот разве что в том, что могу теперь говорить с вами обоими, тогда как, в общем-то, полагалось бы мне давно лежать в земле вместе с братьями.

- Но ведь не ты один сбережен временем?

Таковы были первые слова, сказанные Медеей, и прозвучали они охлаждающе, как напоминание о том, что его простые ответы не вполне удовлетворительны.

- Ты права, царица Эфиры. Со мной вместе ушли из Эолии и оказались здесь, несколько не постарев, моя жена и двое рабов.

О том, что их прихода дождался и Коринф, Сизиф не упомянул. И так и не понял, знали ли Язон с Медеей, как неразрывно соединила с ним судьба престарелого царя Эфиры. Любопытство хозяев дома было как будто удовлетворено, настал черед Язона посвятить новообращенного родственника в дела своей семьи, которые, как простодушно признал Сизиф, ему неизвестны.

С удовольствием слушал он, как славно разрешилась судьба пострадавшей Тиро. Младший брат его, Кретей, правивший в Иолке, взял её себе в жены, окружив теплом и заботой. Столь же приятной неожиданностью было появление близнецов, рожденных Тиро в одиноком позоре и оставленных ею в горах Эолии на явную гибель. Нелей и Пелей, уже вполне самостоятельные отроки, разыскали мать, не питая никакой обиды, были с обильными слезами заключены в объятия и усыновлены благородным царем Иолка. От Сизифа не ускользнула, однако, неприязнь Язона по отношению к близнецам, хотя тот, излагая события по порядку, старался выглядеть справедливым.

Все шло мирно в Иолке. Счастливая Тиро принесла, наконец, супругу настоящего сына и наследника, названного Эсоном, а не менее счастливый отец успел еще по нянчить и внука – рожденного Эсоном в браке с Этеоклименой Язона. Он был еще мал, когда Кретей, вполне удовлетворенный жизнью, не замечавший туч, которые собирались над Иолком, окончил свои дни. Вот тут и разыгралась буря, жизнь Язона и его родителей круто изменилась. Дальше ему не нужно было выдерживать роль спокойного повествователя, да он вряд ли сумел бы, даже захотев.

- Вонючий подкидыш! Грязный волк! Неблагодарный ублюдок и подлый лис! Он решил, что можно хозяйничать в Иолке, попирая все права и законы. Очень уж мирно привыкли жить люди, очень уж добры были друг к другу – как научил их мой дед и твой брат на горе своей семье. Ему бы догадаться, что не носит человек на лице черную отметину ни с того, ни с сего. Сколько ни сочинял бы он сказок о кобыле, которая наступила на него в лесу – права, значит, была эта кобыла! Мудрее оказалась, чем люди...

- Прости меня, царь, но ты не назвал того, о ком говоришь, и я путаюсь в догадках.

- И не назвал бы, если бы не вынуждала вежливость. Ты-то, как сам утверждаешь, здесь не при чем. Поверь, легче сплюнуть это имя в банный сток, чем произнести его на нашем с тобой языке. Пелий – пусть кости его сгниют быстрее мяса! Пелий – пусть ищет его черная душа покоя в Эребе! Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы усыновленный бродяга, принятый в дом, возвращенный в нем, позабыл о благодарности и отнял трон у законного наследника? Сейчас услышишь. Так поступил Пелий, искалечив жизнь нам с отцом и матерью, опозорив и свою мать, которая еще не успела оплакать мужа.

Сизиф, давший себе зарок оставаться невозмутимым, что бы ни пришлось услышать, все же не мог не нахмуриться, проходя вслед за Тиро через отчаяние, обретение и новую утрату. Слишком жива еще была нежная любовь к девочке, как и память о его собственных злоключениях. И тут он вновь поймал на себе взгляд огромных, темных, с причудливым разрезом глаз Медеи, в котором за любопытством скрывалась почти неразличимая усмешка. Эта женщина как будто знала о нем гораздо больше, чем он успел рассказать. Неожиданно прервав мужа, она заговорила сама.

- Наш гость, должно быть, понимает, как много у моего супруга причин для гнева. Только поэтому его речь отрывиста и полна проклятий. Не лучше ли будет, Язон, если я расскажу остальное, поскольку оно мне известно во всех подробностях? А ты поправишь меня, если я пропущу что-то важное.

Голова царя несколько раз согласно качнулась.

- Пелий силен был силой своих пособников, которых успел объединить, соблазнив будущей властью. Он объявил себя царем в самый день смерти Кретея, и перед острями многочисленных мечей и копий, его окружавших, Эсон оказался бесправным и бессильным.

- Трусливый пес! - не удержался Язон. Если бы не его каменный, отсутствующий взгляд, свидетельствующий о том, что в воображении своем он жестоко карает узурпатора, спрятавшего слабость за чужими вооруженными руками, Сизиф мог подумать, что царь говорит о своем отце.

- Даже брат Пелия, Нелей был так смущен вероломством близнеца, что поспешил покинуть Иолк, - продолжала царица, - Тогда у тирана еще хватило ума не доводить дело до крови. Но Эсон не доверял более сводному брату. Он боялся не за себя, а за маленького сына, с которым легко могло приключиться любое несчастье. Потому он отослал его в безопасное место. Ты наверно слышал о Хироне? Об этом мудром, добром кентавре, воспитавшем многих героев? Говорят даже, что это Хирон спас Прометея, отдав свое бессмертие, чтобы Зевс освободил того от мук и оков. Всё это довольно трудно себе предста-

вить, не правда ли? Потому что, если это случилось, то совсем недавно, и никак не прежде, чем Хирон вырастил Язона, обучив его искусству боя и врачевания. Впрочем, ты, конечно, знаешь об этом больше нас – от Прометея ведет происхождение весь ваш род эолидов, но ты гораздо ближе к его истокам, чем, например, мой муж. Да и время к тебе благоклоннее... Не стану, однако, вновь мучать тебя расспросами и продолжу о Язоне. Возмужав, он решил вернуть отцу принадлежавшее ему по праву царство. Но как ни горел он жаждой восстановить справедливость, не насилие было его оружием. И представь, одного чувства правоты хватило, чтобы негодяй испугался.

- Как стенка, - опять вставил свое слово Язон, - Был белый, как эта стена. Отметина на морде стала еще чернее.

- Ты увидишь, Сизиф, как открыто и беззлобно повел себя Язон, как далек он был от мыслей о мести, если я скажу, что он сразу согласился на предложение Пелия доказать свою способность царствовать. Даже сам выбрал себе испытание, которое легко могло его погубить. Не к месту сейчас говорить о походе аргонавтов в Колхиду. Может быть, сам Язон захочет как-нибудь об этом рассказать. Скажу лишь, что, не соверши он этого подвига, я не удостоилась бы счастья жить в этом дворце вместе с ним и воспитывать наших сыновей... Но что же нашел он, вернувшись домой с Золотым руном? Не удивлюсь, если ты не усидишь в кресле, и ужас не поднимет тебя на ноги. И отец, и мать героя оба были умерщвлены в его отсутствие. Ты не спрашиваешь – кем. Значит, знаешь, что только один человек на свете мог совершить подобное злодеяние.

- Бешеная, бешеная собака! - повторял Язон, закрыв лицо ладонью.

- Но дай мне спросить тебя, Сизиф, как бы ты поступил, оказавшись на месте Язона после всех испытаний, лишившись обоих родителей, убитых кровавым подлецом, глядя на поседевшую от горя, сошедшую с ума бабушку, которая тебя больше не узнает, что сделал бы ты?

Ответ был очевиден, и те мгновения, в которые он удерживал его в себе, дались Сизифу нелегко. Он вовсе не был мягок душой, дома в Эолии ему приходилось видеть жестокие расправы с теми, кто нарушал законы, посягая на человеческую жизнь, и сердце его не дрожало. Он не колеблясь использовал бы свою силу, чтобы защитить от опасности жену и детей. Но почему так старалась эта женщина убедить его в своей правоте, доходя в чрезмерном усердии до того, что сама предписывала подобающие ему чувства и даже движения? Тут угадывалось иное, не совсем ясное намерение завоевать его расположение, сделать союзником не только в справедливом сыновнем гневе, но и в каких-то более сложных, может быть, менее достойных делах. Ответить было проще простого, и это стало бы выражением его самых искренних чувств, но вместе с тем в эти чувства без всякой нужды успела вмешаться чужая воля, а потому Сизиф медлил, скрывая

ощущение ловушки за естественным жестом недоумения, как бы не находя слов для соответствующей меры возмездия. Однако, не было больше ни тени улыбки во взгляде, с которым продолжали следить за ним глаза цвета черного мессенского винограда, с ресницами, уходившими к вискам. Надо было отвечать, чтобы не оскорбить царствующих особ предосудительным безразличием.

- Как видно, воображение мое слишком слабо, чтобы я мог представить себе всю муку, испытанную твоим супругом, - сказал он, - Я не знаю, как поступил бы на месте Язона. Одно лишь ясно – человек, совершивший все то, о чем ты говорила, не заслуживает места среди людей.

- Он его лишился! - закричал Язон, вскочив на ноги, - Будь он даже сыном Посейдона, гад издох. И когда измерит его судьбу великая Фемида, эта гнусная смерть не перевесит его грехов.

- Достойный царь Эфиры, - начал вновь Сизиф, боясь упустить слабую догадку, которая могла бы объяснить задержку с ответом, сильно смутившую его самого, - Кто же теперь управляет Иолком, если тиран наказан, а единственный законный наследник трона обременил себя властью над другим городом?

Язон, все еще во власти чувства мести, столь щедро удовлетворенного, казалось, не понял, о чем его спрашивают, и повернулся к Медее.

- Ты, вероятно, как и мы в свое время, был так потрясен ничтожеством ублюдка, что не обратил внимания на мои слова о простодушии и искренности моего супруга, - сказала она, - Вернувшись из Колхиды, он распустил всех своих спутников. Он надеялся, что Пелий сдержит слово, и пришел к нему один. Но не забывай, что тот все еще сидел на троне, владея огромным войском. Надо было бы начать войну, чтобы убрать его силой. Не таков Язон, чтобы подвергнуть город подобной напасти, даже во имя своих горестно погибших родителей. А люди неблагодарны и редко отличают ложь от правды. Ты испытал на себе их злобную глупость. Жители Иолка отвыкли от настоящего царя, память их оказалась короткой. То, что было справедливым возмездием, показалось им новым преступлением. Но, слава богам, здравый смысл и мудрость еще не покинули этот мир. Когда Коринфу понадобился преемник, он знал, что лучшего царя, чем Язон, ему не найти.

- Я не жалею об Иолке, - заявил успокоившийся Язон, - По правде сказать, я не узнавал людей в городе. Они стали так же трусливы и лживы, как их фальшивый царь. Но с ними у меня не было спора. Их чернолицый тиран – вот кто заслуживал казни. И да будут вечно благословенны великие боги, давшие мне в Колхиде эту страстную женщину. Ее находчивость не раз меня спасала, а в этот раз помогла нам не тратить времени, чтобы довести до конца то, чему надлежало случиться.

- И довольно об этом, - мягко продолжила царица речь своего супруга, - Мы

мало что можем совершить, когда бы не было на то воли богов. Они знают, что кому положено. Одним – короткое торжество и позорная смерть, другим – подвиги и мирное царствование, третьим – необычайно долгая молодость, - Медея помедлила, не ожидая ответа, вот уже в который раз намекая Сизифу, на какой-то неясный взаимный сговор, - Мы хотели бы еще услышать от тебя совет, - говорила она, - Не думаешь ли ты, что люди Эфиры слишком долго жили в страхе за судьбу своего города? Не кажется ли тебе, Сизиф, что было бы хорошо разом положить конец и их тревогам, и пустым, но назойливым сетованиям в Иолке? Что если мы увековечим мудрость Коринфа, назвав город его именем? Пусть добрая слава о нем погребет под собой его семейные несчастья, а заодно послужит началом новой эры и нового царствования.

На лице Язона появилось выражение несколько растерянного удовлетворения, было ясно, что он слышит это впервые.

- Право, не знаю, чего могут стоить мои советы, - отвечал Сизиф, - Я ведь сам живу в Эфире совсем недавно. Поскольку я тоже начинаю здесь новую жизнь, мне нравится мысль обозначить этот порог новым именем для города. Но как отнесутся к этому эфириане, мне представить трудно.

- Об этом не стоит и беспокоиться, - сказал Язон, - Это ведь будет не предложение, исходящее от пришельца Сизифа, а воля царя. Как же им еще к ней относиться, если не устройством пышного праздника?

- Мы признательны тебе, почтенный Сизиф, за твою готовность помочь нам советом и сочувствием, - говорила царица, вставая, - Я предвижу, что они нам еще не раз понадобятся, а твоя скромность не мешает тебе вновь поделиться своими знаниями и опытом...

Медея еще долго в самых уважительных выражениях завершала встречу, не забыв спросить о благополучии Мерыпы и всего дома и предлагая обратиться за помощью, если случится нужда.

Сизиф так же пространно благодарил за внимание, которого он, по его словам, не заслуживал, и желал удачи царствованию.

Уф! Даже сейчас, когда многое из прежнего потускнело и обесценилось, Сизиф помнил, с каким веселым сердцем он выходил из ворот дворца и по дороге домой приглядывался к лицам встречных, еще не знавших, что они живут в Коринфе. Ему неведомо было, что точит изнутри царя и царицу, но настроение его заметно улучшилось, ибо казавшееся незыблемым царствование не было таким уж благополучным, а ожидание, к которому он себя принуждал, уже не выглядело безотрадным. Для начала можно было бы назвать своими словами их согласие принять на себя власть в Эфире, которое было всего лишь удобным способом скрыть позор изгнания.

Даже происшествие, послужившее поводом для эолийской сплетни, в беспочвенности которой ему вряд ли удалось их убедить, в любом случае грозило им опасностью. Если, согласно выдумке, убитый ими Пелий был сыном Сизифа, они обретали у себя под боком отца, таящего мысль об отмщении. Если же, как настаивал Сизиф, ничто не связывало его с близнецами, Язону и Медее приходилось опасаться гнева гораздо более могущественного мстителя. Не мудрено, что они оставляли за собой право не верить Сизифу, выбирая из двух зол меньшее.

О себе они рассказали многое, но то, о чем умалчивали, было не в пример мрачнее. Однако, оставляя его в неведении относительно своего прошлого, они без слов делились им с Сизифом, как с сообщником или с тем, чья совесть была отягощена не менее. Это встревожило бы его, если бы не одно обстоятельство. Они были убеждены, что Сизиф располагает если не властью, то каким-то свойством, которое легко может обернуться силой и в результате властью стать. Они проявили уважение к этой силе, не слишком стараясь выудить ее секрет, хотя сам Сизиф не мог взять в толк, что именно разглядели в нем пронизательная царица и ее воинственный супруг.

Что же иначе могло подвигнуть их на такую долгую аудиенцию? Он был родственником Язона, но таким дальним, что с этим не стоило и считаться; они нуждались в союзниках, но наверняка вскоре приобрели бы их без него; могли они счесть особым благословением его дар далеко пережить сверстников, сберегая свой возраст, но им самим не раз покровительствовали боги. Чего, например, стоило одно только возвращение на родину магического Золотого руна. Нет, чем-то еще обладал Сизиф, что очень интересовало царя, а еще больше царицу, и чего они, вероятно, не постеснялись бы его лишить, если бы знали, где оно прячется.

Он подумал еще о Меропе – будь она на самом деле дочерью Атланта, это, конечно, могло бы придать ему в глазах других кое-какие преимущества. Но откуда взялась бы такая уверенность у Медеи, если ее не было у него самого?

Одним словом, он встретился с тем самым радушием, от которого лучше бы держаться подальше, и вместе с тем почувствовал независимость. А как раз независимости ему очень не доставало в последнее время. Обо всем этом он тут же поведал жене, которая не на шутку встревожилась. Мeroпа, в свою очередь, успела обзавестись некоторыми сведениями о Медее...

Ах, все это были давние, такие подлинные и такие никчемные волнения. Никакая ущербность не мешала этому царствованию держаться вот уже сколько лет, ничто ему не угрожало ни изнутри, ни снаружи. Сам же он за это время сильно изменился и обликом, и душой, и рискни он сейчас вновь посетить Фокиду, где правили сыновья Деиона, они бы его не узнали.

* * *

Сизиф сидел на обрыве так долго и неподвижно, что для живой и мертвой природы, его окружавшей, был уже неотличим от сухих, горячих скал. Волосы его шевелил порывистый ветер с залива, но точно так же шевелились пятна легкой дымной травы, покрывавшей трещины. В двух шагах от него грелись две, переливающиеся на солнце красно-зеленым цветом медянки. Заметив движение, Сизиф скосил глаза и увидел, как они медленно переплелись и вновь замерли, обернув несоразмерно маленькие ромбовидные головки в разные стороны. Эти две твари ничего не ждали, никуда не стремились, ничем не были заняты, как не был ничем занят и он, перестав беречь мозг воспоминаниями. Время струилось сквозь них своим обычным неприметным течением. Можно было усилием воображения ускорить его или замедлить. Или остановить совсем, лишь протянув руку навстречу зубам, налившимся смертельным ядом.

Неизбежность смерти еще не тревожила его, но мысль о том, как надругалось над ним время, не оставляла Сизифа среди самых простых и самых тяжелых трудов. Угнетало его теперь не столько то, что случилось десятилетие назад, когда он был подобно стреле пущен на полвека вперед, затем отправлен обратно и вновь водворен в уже отчасти знакомое будущее, сколько последовавшее затем внезапное равнодушие времени, забывшего о нем окончательно, бросившего прозябать, как самого обыкновенного смертного. Была же у богов причина заставить его сновать челноком между поколениями. А если не было, и все объяснялось случайностью и произволом, то о какой судьбе, о каком выборе и предназначении можно мечтать в этом царстве хаоса? Разве он добивался чего-либо необычайного? Даже в стремлении быть правителем, печься о благоденствии людей им руководило не честолюбие. Он считал себя способным к этому делу и полагал, что заслуживает такой доли – исполнить до конца отпущенное ему природой и богами. И оказался ненужным.

Что ж, может быть, есть в нем нужда для какой-то другой работы. Но он не умел лепить, расписывать и обжигать горшки, как Басс, не умел лечить, не чувствовал нужды испытывать свои силы и отвагу в подвигах и завоеваниях, мог с успехом вести свое хозяйство, а способен был управлять целым городом и чувствовал себя не у дел. Можно было бы, наверно, смириться и с этим. Он удовлетворился бы такой жизнью, изредка предлагая властителям со своего незаметного места то одно, то другое, как делал уже не раз, наблюдая в гордости и печали, как осуществляется воля царя, позабывшая о том, что была только что предложением пришельца Сизифа. Он готов был отдать предпочтение той доле пользы, которую мог принести, перед почётом, если бы только не повторявшиеся

знамения свыше, и добрые, и злые. Одно из двух – либо ему предназначалось какое-то поприще, либо его должны были оставить в покое. Та заброшенность, в которой он пребывал в последнее время, покоем отнюдь не была.

Эти его сомнения особым образом разжигала и поддерживала никто иной, как чужеземная, скрытная и общительная на свой лад царица. Они часто виделись, так как царская чета вскоре стала принимать непосредственное участие в делах города. Кроме того, он и сам раз-другой приходил во дворец, когда хотел склонить царя к каким-нибудь нововведениям, как это было с Истмийскими играми, посвященными им мальчику, тело которого Сизиф нашел на берегу во время одной из прогулок. Чем приглянулся ему этот утопленник? Да ведь это было одним из тех самых знамений, не дававших покоя!

Выброшенное на камни тело принадлежало второму сыну незнакомой ему невестки Ино, с которым она бросилась в море, спасаясь от разъяренного Афаманта, его старшего брата. Это был Милликерт, вернее – его земная оболочка, ибо, как утверждал Деион, боги обратили обоих посмертно в морские божества. Сизиф без труда узнал мальчика, лоб которого был по-прежнему схвачен медным обручем на войлочной подкладке со знакомой вязью эолидов из хвойных ветвей и именем. Время в данном случае значения не имело, ему положено было оставаться ребенком, так как жизнь его остановилась на том далеком обрыве в Беотии. Но то, что нежную плоть, вот уже десятки лет удерживаемую водами в своих объятьях пощадили, бури и морские хищники, было необычным. Как не случайным казалось, что именно ему отдали, наконец, волны тело племянника.

Он никому не хотел рассказывать о судьбе мальчонки, но не мог ограничиться простыми похоронами. Тогда возникла у него мысль об учреждении великих игр, наподобие Олимпийских, которые привлекли бы в Коринф множество атлетов и зрителей, а значит и денег. И только когда все уже было решено, он попросил у царя разрешения посвятить Истмийские игры Милликерту.

В другой раз это была третья вспашка, которую он привез из Олимпии, куда Язон послал его разузнать о знаменитых играх, прежде чем устраивать свои собственные. То и другое принесло славу царствованию и обогатило горожан, удвоив урожай, оживив рынок и дав много постоянной работы. Так что ему приходилось бывать во дворце.

Но несколько раз Медея удерживала его уже после того, как были завершены дела, и тогда велась между ними наедине странная беседа.

- Молишься ли ты богам? - могла, например, спросить царица. Вопрос этот не был праздным, он открывал какую-то мучительную борьбу, продолжавшуюся в душе колхидской волшебницы.

- Каким богам, царица? - отвечал Сизиф, не смея пренебречь такой откровенно-

стью.

- Должны же быть излюбленные боги, на помощь и защиту которых ты надеешься. Или наоборот те, чьего гнева страшишься. Но я спрашиваю тебя не об именах, - продолжала Медея, - Много раз наблюдала я гибель смертных, даже вольно и невольно способствовала ей, да и сама часто ступала не ее порог. Меня смерть больше не пугает. Но когда я думаю о детях, о том, что придется в свое время умереть им, в мои жилы устремляются пылающие воды Флегетона. Дарят же иногда боги бессмертие! Значит оно возможно. Что ты об этом знаешь?

- Вряд ли мне известно больше, чем тебе, царица. Догадываюсь, однако, почему ты обращаешься ко мне с этим вопросом, который могли бы разрешить разве что жрецы, но уж никак не мы с тобой.

- Почему же не мы?

- Да хотя бы потому, что их-то уж ты не станешь спрашивать, молятся ли они богам.

- А они молятся? Ты веришь, что они воистину говорят с богами?

- Ты навлекаешь на себя беду, понося жрецов. Это я знаю доподлинно. Такой спесью обладал мой брат Салмоней, и дни его окончились плачевно.

- Оставь нравоучения, Сизиф. Мне все равно, как окончатся мои дни. Почему ты не хочешь услышать, о чем я веду речь?

- Несколько лет назад время схватило меня за шиворот. Я испытывал его прикосновения и раньше, но то были только сны или слишком живое воображение. В этот раз в Фокиде я заглянул времени в его мутные глаза – не тому времени, которое окружает каждого из нас и размеренно, в единстве со светилами ведет зерно к росту, наших детей к зрелости, а нас к увяданию, но совлеченному с земли, необузданному, своевольному, нежелающему считаться с нашими привычками. Это время опалило меня краской стыда перед лицом моего брата, хотя я ни в чем не был перед ним виноват. Оно вынудило меня представить, что жизнь человеческая может быть не только необъяснимо короткой, но и неоправданно долгой. С тех пор оно скрывает от меня свой ужасный лик. И я замечаю, что напомнив мне о вечности, оно скорее оттолкнуло от нее, чем дало к ней приблизиться. Подумай, ведь это могла быть и сотня, и две сотни лет, и меня немало удивили бы совсем чужие лица. Но моя-то жизнь осталась бы все той же. Сколько ни сэкономил бы я на проделках времени, все одно пришлось бы в конце концов дожить остальное и сойти в могилу. А ты ведь не о долголетию хлопчешь. Вот почему я не подходящий тебе собеседник. О тех же, кому боги даруют бессмертие, могу сказать только то, что наверняка знаешь ты сама: что обретают они его не здесь, а в царстве печальных или умиротворенных теней, о котором нам не дано узнать, пока мы сами туда не спустимся.

Или их возносят к себе боги, но о таком, пожалуй, не следует и мечтать.

- Вот теперь ты заговорил толково. Мечтать мы не станем. Мы лучше подумаем, как этого добиться.

- Если ты полагаешь, что можно этого достичь молитвами или деяниями, то наверно вы с Язоном совершили достаточно, сравнившись с другими героями. Наверно, вам и не нужно особенно стараться.

- Мать ли с отцом снабдили тебя этой чертой, или ее вскормила какая-то обида, но ты умеешь ожесточить тех, кто питает к тебе расположение. Я знаю, что злого умысла в этом нет, и не сержусь на тебя. Но давай прервем теперь нашу беседу. А отпуская тебя, я скажу напоследок вот что: о том, что спрашивала я, и о чем ты не знаешь, почему бы тебе не поговорить с Меропой? Вдруг она откроет тебе глаза?

«Я знаю сам, о чем говорить со своей женой, и о чем с ней говорить не следует», - чуть было не ответил Сизиф, но удержался. Ему стало стыдно обнаруживать, что Медея читала его мысли.

Внимание к нему царицы не ослабевало, и хотя подобные встречи происходили редко, она каждый раз начинала разговор так, будто не прошло несколько месяцев, а то и лет. Казалось, ей необходимо было доверенное лицо в некоторых, не совсем приличествовавших ее положению делах, и сколько ни сопротивлялся Сизиф, не испытывая к этой женщине особой приязни, чувствуя себя неловко в этой роли, его самого задевали смелые, порой нелепые мысли Медеи, в самом деле чем-то напоминавшие причуды Салмоня.

Кроме того, настойчивость царицы давала ему возможность обстоятельно пересказывать эти беседы жене и таким образом исподволь, как бы не по своему желанию подводить ее к тому, о чем он решил спросить лишь однажды. А самого его подталкивало к этому теперь уже не одно только восторженное любопытство. Происхождение Меропы было связано с трудным вопросом о Большом и Малом времени, существование которых представлялось Сизифу несомненным.

Малым он называл обычное время земной жизни, о котором знали все, знали всей своей плотью, не задумываясь об этом. Он и сам не стал бы выделять его в своей голове, придумывая ему название, если бы не оказался однажды из него изъятым. Помимо этого осязаемого времени, да еще совсем уж непостижимого небесного безвременья богов, к которому не было доступа вообще никому, существовала только вечность, недоступная живущим. Она наступала после смерти, когда Малое время истекло и прекращалось. Между ними не было никакой связи, как не было возврата из Аида единожды туда спустившимся.

Но где же находились он с Меропой, рабы, фокидские животные и царь Эфиры, пока мимо них то в ту, то в другую сторону металась декады? Где терпел свою пытку

его несговорчивый прапрадед Прометей, пока Сизиф изнывал от влюбленности в родной Эолии? Гора, к которой тот был прикован по повелению Зевса, была не в Аиде. В Аид спустился с нее Хирон, обменявший свое бессмертие на свободу для Прометея и обрета, наконец, блаженную вечность. *Бессмертие*, возможно, было еще одним именем для Большого времени, поскольку оно попирало конечные права времени малого, не переступая при этом порога смертных врат – единственного входа в вечность. Но оно безусловно должно было существовать, достаточно безмерное, чтобы не считаться с мелкими земными сроками, и все же каким-то образом сопряженное, сопоставимое с делами и судьбами смертных. С его помощью, например, боги могли бы дарить людям долголетие, да и каждый раз, когда им хотелось принять участие в людских событиях, боги могли пользоваться этим Большим временем, в котором обретали бы видимый облик, чтобы дотянуться до человека, не закрывая себе обратного пути в небесную тишь.

Только благодаря Большому времени у Язона и других героев появлялась возможность перенять мудрость и полезные навыки Хирона, не особенно интересуясь сколько же лет благородному кентавру, сыну самого Кроноса. Стало быть, у человека, которому не дано было вступить в вечность, пока он не расстанется с жизнью, оставался шанс хоть ненадолго, но оставить свое малое земное время и побывать в большом.

Пришлось там оказаться и самому Сизифу. Это было чрезвычайно поспешное посещение, лишённое на первый взгляд какого-либо смысла и не оставившее воспоминаний. Но Малое время он покинул, а вернулся в него не совсем в той точке, где из него выпал.

Да было ведь и еще одно свидетельство о Большом времени! О нем напомнил сейчас влажный ветер с залива, перебиравший его волосы. Ветер был отнюдь не чуждой ему стихией, олицетворяя самые глубокие воспоминания об отце, который брал каждого из мальчиков на прогулку, когда наступал черед, и объяснял названия цветов и трав, назначение гор, долин и вод. В эти часы он становился другим Эолом – не строгим, озабоченным фессалийским царем, а вольным, легким на подъем странником, чьим домом не могли быть те или иные стены. Много раз наблюдал Сизиф дивную игру теней на лице Эола, становившемся подвижным и одухотворенным. Тот замирал перед встретившимся на пути обломком скалы или стеной обвалившегося храма, как бы предлагая им угадать, с какой стороны он проскользнет мимо в следующий миг. Мальчик мог бы поклясться, что слышал, как скрипит и крошится камень в тщетных попытках преграды вступить в поединок, сдвинуться, пресечь готовый совершиться полет. Эти нешуточные свидетельства говорили о том, что природа признавала за Эолом равные себе силы, но его самого они, казалось, огорчали, как напоминание о взятом на себя некогда обете оставаться всего лишь земным царём. Он долго крепился, прежде чем спросить отца, в каком же отношении он

находится к тому, другому Эолу, владыке воздушных потоков. «Ни в каком. Это я и есть», - было ответом.

Не являл Эол сыну чудес, не заставлял реку выйти из берегов, не разгонял туч и сам не растворялся в ветерке, но мальчик был убеждён, что всё это в его власти. Братья никогда ни о чем подобном не упоминали, и он считал это открытие принадлежащим ему одному. Когда Сизиф покидал Эолию, самым мучительным было чувство, что он не оправдывает каких-то надежд, взлелеянных отцом в тех прогулках, а вовсе не его житейских расчетов на прочность эолийской династии. Но в трудном разговоре с Эолом не скользнуло и тени этих воспоминаний. Они расставались в Малом времени, где юношу влекли к себе иные желания и мечты, сами по себе достаточно волшебные.

Наконец, будь его красавица и умница жена, с ее изящным, но сильным телом, с простодушными речами и чувствами способными выходить из берегов, с едва заметно косящими, цвета глубокой синевы глазами – не от океаниды ли Плейоны унаследованными? – будь это воплощение земного счастья еще и дочерью Атланта, одной из звездных сестер, он мог бы с уверенностью сказать, что однажды пробыл в Большом времени достаточно долго, чтобы лицезреть божественного великана Ориона, вступить с ним в беседу и выбрать себе там суженую. Но это означало бы, что вместе с Меропой он завладел доступом к этому Большому времени, знание о котором добыл сам, упорным душевным трудом. Не на это ли намекала догадливая колхидская царевна?

До сих пор все его попытки проникнуть в тайну своей супруги или хотя бы убедиться, что такая тайна существует разбивались о кристальную наивность Меропы, не оставлявшую никакого повода предполагать, что она лукавит. Но образ двух, иногда пересекающихся времен преследовал его с таким постоянством, что в конце концов Сизифу померещилась еще одна возможность их совместить, которая непосредственно касалась этого неуютного места.

Сопоставляя одно с другим и третьим – его первое потрясение на подходе к Истму и следующее – уже в Коринфе; беспокойное нетерпение кораблей, качающихся в Сароническом заливе у этой неодолимой преграды, и ярость их зеркального отражения в Коринфском заливе, по ту сторону перешейка; всю неистовую досаду Эллады, неспособной протиснуться в узкие врата Истма по дороге в Пелопонес, и всю разбухшую мощь полуострова, едва удерживаемую этой полоской земли – он стал догадываться, что такое средоточие противонаправленных и взаимоуничтожающих стремлений должно было обладать невероятными свойствами. Скорее всего именно здесь мог завязаться стягивающий воедино все нити жизни Пуп земли, а не на подворье дельфийского храма, куда его поместила приблизительная молва, промахнувшись на несколько сот стадий.

Где-то здесь на перешейке как раз могло находиться невидимое зияние, вокруг

которого закручивались вихри обоих времен. Сизиф не знал, чего ожидать человеку, ступившему в этот центр вселенной, где, по-видимому, переставали действовать обычные законы, но полагал, что раз он заглянет сюда по своей воле, направление судьбы может ему открыться без того, чтобы он вновь угодил прямо к её цели. Этот прогал он и нащупывал, шатаясь по Истму, преодолевая страх оказаться по возвращении домой неизвестно где, не увидеть семью или застать жену старухой, а сыновей чужими взрослыми мужчинами. Прогулки эти исподволь превращали его в рассудительного не по летам, умудренного печалью мужа. Недоверие к существу, желание заглядывать за его пределы – кто же внушил ему все это, как не оракул, полученный в малом времени от дельфийской пифии, вещавшей из времени большого.

Он уловил движение – это скрылись в щели медянки – и только потом услышал за спиной шаги. Путник был еще далеко. Сизиф краем глаза присмотрел у ног подходящий камень – здесь некому было появиться с добрыми намерениями. Ведущая в город тропа оставалась далеко позади, а добраться до порта прямо из города было гораздо быстрее.

- Обернись, уединившийся! - услышал он голос, который показался знакомым, - Не притворяйся, что не слышишь, как скрипит земля под моими подошвами!

Теперь Сизиф его узнал – покрытый пылью, опирающийся на неоструганный посох и твердо ступавший босыми ногами фракиец почти не изменился.

- Такой же, такой же, - продолжал Гилларион, - и глаза мои не потеряли зоркости, а то бы я не увидел тебя с дороги. Так и чудилось, что встретимся не в четырёх стенах, а опять на пустом месте, до которого никому кроме нас дела нет... Сиди, пожалуйста, - остановил он приподнявшегося было Сизифа, - Я не старше тебя, чтобы оказывать мне лишнее почтение. Сяду и я, короткий отдых все же не повредит.

- Рад видеть тебя живым и бодрым духом, Гилларион. Хотя, не скрою – осталась во мне обида за брата. Не смуди ты его своим колдовством, может быть не погиб бы он такой страшной смертью.

- Откуда ты знаешь, какой смертью он погиб? А что если я скажу тебе, что не было на свете человека счастливее Салмонея. Какую же судьбу ты для него предпочел бы? Ты не хуже меня знаешь, что не стал бы твой брат пасти стадо, разбирать городские тяжбы, проливать кровь виновных, растить хлеб или потомство.

- Так-то оно так, но ведь обманом была твоя сказка о каком-то чудном месте, где его ждут не дождутся.

- Ошибаешься и в этом. Я бы не оказался здесь, если бы брат твой способен был следовать за мной. Но ему лучше было знать, куда ведет его рок, и пути наши разошлись. В нем засветилась мечта о своем городе в Элиде, а что же там было делать

мне?

- Не пришел ли ты теперь звать с собой меня?

- Ты на своем месте, Сизиф. Я мог бы сказать, что это ты меня позвал, да ты не поверишь.

- Не вижу, какая может быть у меня нужда в тебе, - говорил Сизиф, отгоняя смутное беспокойство, вызванное словами фракийца и его уверенностью, воздействие которой он, однажды испытав, хорошо помнил, но если тебе некуда идти, я охотно предоставлю кров в своем доме. Я вижу, что жизнь по-прежнему не так уж заботится о тебе.

- Что ж, раз ты хочешь повернуть дело такой стороной, я не против. Буду благодарен вам с Меропой, если дадите мне приют ненадолго.

- Тогда давай подниматься. Мне надо спешить, я задержался дольше обычного. Способен ли ты к быстрой ходьбе?

- Не беспокойся, я постараюсь не отстать.

Бродяга в лохмотьях, с искалеченными руками, за спиной которого явно стлался долгий, утомительный путь, в самом деле без труда поспевал за размашистым шагом Сизифа. Заметив, что на кистях, лишенных нескольких пальцев, не было, однако, повязок, и что спутник достаточно успешно справляется с дорогой, чтобы продолжить беседу, Сизиф сказал:

- Судя по тому, что тебе не нужно больше залечивать руки, ты давно уж не вступаешь в схватки с богами.

- В каждом деле обретаешь человека сноровку, - отвечал фракиец, - Плотник тоже все руки себе изрежет, пока не сколотит путный стул. Гончар до первой амфоры, которую сумеет продать, ходит в ожогах. А потом, как приспособятся оба, только старые рубцы и напоминают о прежнем неумении.

- Стало быть, и теперь еще бывает, что тягнешься с небесами? Сделай мне милость, Гилларион, удержишься от неистовства, пока будешь в моем доме. Я не хочу, чтобы твои пляски пугали детей. Да и Меропе незачем это видеть.

- Как я сказал, Сизиф, я здесь – ради тебя. Самому мне ничего от богов не нужно. А если вдруг тебе потребуется моя помощь, так тут уж будет не до спокойствия жены и детей, разве не так?

- Нет, не так. Справлюсь как-нибудь без ворожбы.

- И это возможно, - согласился Гилларион, - А то еще бывает, что проснешься утром, и вроде все у тебя, как вчера – глядь, а десятка четыре лет просвистело за ночь.

- С тобой случалось такое?

- А как же! Сколько ягод по земле рассыпано, сколько в отвар попало или за-

печено в пироги, а есть несколько, что нанизаны на нитку и переходят в неприкосновенности от отцов к детям и внукам.

- Тут нет никакой загадки. А вот зачем людей на этой нитке держать – это ты мог бы объяснить?

- Не сердись, Сизиф, не все можно объяснить по дороге с Истма в Кенхрей, даже такому смекалистому человеку, как ты. Наберись терпения, все мы с тобой узнаем, тем способом или другим. Одно могу сказать – место, в которое ты угодил, в самом деле непростое, но если ты ищешь на перешейке чего-то еще, кроме одиночества да размышлений, зря теряешь время.

Сизиф не ответил, обдумывая слова фракийца. Остаток пути они проделали молча. Однако, у ворот Гилларион остановился и, коснувшись рукой золида, задержал его.

- Ты ведь хотел бы, чтобы я почистился с дороги и не выглядел таким оборванцем, когда предстану перед твоими домашними. Но дай мне сначала взглянуть на твоего старшего сына. Ему это будет на пользу.

Не поняв, о чем он толкует, еще не решив, как поступить, Сизиф вошел во двор и увидел своего подпаса, державшего на руках крупного годовалого ягненка. Рядом с ним стоял знакомый жрец из храма Афины, и оба наблюдали, как Мeroпа с рабыней укладывали в мешки фрукты, связки лука, сосуды с медом и маслом, чтобы погрузить все это на осла. Увидев мужа, Мeroпа сразу пошла к нему навстречу. Лицо ее было бледным и испуганным.

- Прости меня. Я не доглядела за нашим сыном. Он упал с дерева и повредил ногу. Этот добрый священнослужитель согласился прийти осмотреть его, а теперь готов собственноручно принести жертвы Афине и просить богиню о помощи.

Он бросился в дом, но был тут же остановлен восклицанием фракийца.

- Сизиф! Вспомни, что я сказал. Возьми меня с собой. Ты обрадуешь мальчика, но не принесешь ему облегчения.

Сизиф вернулся.

- Не терзай себя. Кто же возьмется углеть за таким пострелом. Будем надеяться, что он не нанес себе увечья. Я думаю, можно позволить этому человеку войти в дом. Я знаю его давно, и если ты не против, пусть он посмотрит на Главка.

Затем он обратился к жрецу.

- Благодарю тебя, Хрисаор, за сострадание и помощь в нашей беде. Не осуждай меня, если обращаюсь за помощью и к другим. Это – лекарь, я знаю его еще по Фессалии. А в такой вид его привела только дальняя дорога.

Жрец, сохраняя выражение суровой невозмутимости, склонил голову.

Они поспешили в дом. Наверху, в женской половине Главк лежал на боку, с за-

крытыми глазами, дыхание его сопровождалось негромким стоном. Нога была неестественно вывернута, и положение в котором он замер, оставалось, как видно, единственно возможным, чтобы боль не лишила его сознания.

- Малыш... - пробормотал Сизиф и сделал еще один шаг к лежанке. Мальчик не отозвался, даже не открыл глаз.

- Ты ведь не собираешься трогать его, правда? - сказал фракиец, ставя к стене посох и снимая с плеча пустую котомку, - Он рад тебе, только у него нет сил это показать. Пойди распорядись, чтобы сварили гусиную похлебку, да предупреди, чтобы выпотрошив птицу, оставили в горшке сердце и печень. А мать пусть побудет здесь.

- Ты не собираешься...

- Нет, нет. Не такое это трудное дело, чтобы тревожить богов. Справимся без ворожбы, как справедливо решил ты сам.

Сизиф не доверил повару приготовление супа, только приказал забить птицу, и все время прислушивался, ожидая, что раздастся крик ребенка, которому фракиец, судя по всему, собирался вправить сустав. Его удивило, что тот оставил при себе Меропу, которой тоже нелегко будет наблюдать, как сын страдает от боли.

Но он не услышал ни звука. А через полчаса разругавшийся мальчик с блестящими глазами, полусидя в подушках, рассказывал матери с отцом и гостю, как его обманула белка, которую он чуть было не поймал, загнав на самую верхушку вяза. На все уговоры поест он только отмахивался.

- Гилларион считает, что тебе нужен суп, - настаивал отец.

- Ты ничего не говорил мне о супе, – живо повернулся к гостю Главк.

- Со слезами будешь просить – не получишь, - отвечал фракиец.

- Зачем же я его варил?

- В последний раз я ел настоящую гусиную похлебку много лет назад в Фессалии. Вот и подумал, что тут, в доме бывших фессалийцев мне наверно удастся вновь отведать излюбленное блюдо. Но хоть дело это не менее срочное, теперь я все-таки должен умыться и выбить из себя пыль.

Сизиф отвел его в баню. Мериоп тем временем выбирала гостю чистый хитон и крепкие сандалии из мужниных запасов. Возвращаясь в дом, Сизиф вновь увидел юношу-подпаса, который зорко следил за ним из дальнего угла двора, готовый подбежать по первому зову.

- Ты все еще здесь? Разве тебя не накормили?

- Я сыт, господин. Я жду, когда ты позволишь передать тебе слово от старшего пастуха.

- Ты давно мог бы передать его Трифону и вернуться к работе.

- Евмелий сказал, чтобы я говорил только с тобой.

- Говори.

- Вновь стал пропадать скот, хозяин. Неделю назад мы недосчитались дюжины овец, а сегодня ночью кто-то увел три десятка. Евмелий не хочет, чтобы ты подумал, будто мы боимся смотреть тебе в глаза, ибо чувствуем свою вину. Потому он запретил мне рассказывать о пропаже кому-либо кроме тебя.

- Чья же, по его мнению, это вина?

- Мы не знаем, хозяин. Могу лишь сказать – овцы не терялись, и это не волки.

- Об этом я догадался. Волки не таскают овец десятками.

- Правда. И мы бы слышали собак.

- Значит, вины за собой Евмелий не знает. А посмотреть мне в глаза послал все-таки тебя?

- Он собирался сам, но тут прибежал раб, сказал, что госпожа требует ягненка, даже не стал дожидаться, пока мы выберем лучшего, так торопился. Тогда Евмелий послал меня, бегать ему уже тяжело. Позволь мне сказать еще два слова... Не сердись на Евмелия, он хороший пастух, даром, что стар. Всему меня научил, заменил мне отца. А овцы как сквозь землю провалились, точно, как год назад, когда пропали козы.

- Далеко вы ушли со стоянкой?

- Мы переместились к Нимее, что по пути к Микенам, но если ты меня сейчас отпустишь, я вернусь туда еще засветло.

- Разыщи Трифона. Скажи, чтобы он взял у кузнеца нож для зачистки копыт, - сказал Сизиф, - покидая подпaska, - Жди меня здесь, мы пойдем вместе.

Поднявшись снова взглянуть на сына, он нашел его спокойно спящим. Меропа сидела рядом, следя, чтобы мальчик не повернулся во сне. Сизиф спросил ее шепотом, что же сделал фракиец, и жена рассказала, что тот сначала говорил с Главком, рассказывая какую-то сказку о летающих змеях, пока мальчик не открыл глаза. Потом, не прерывая речи, он коснулся своей уродливой рукой его головы, и мальчик перестал стонать, а еще через минуту спал так глубоко, что не слышно было его дыхания. Тогда Гилларион попросил Меропу отвернуться, объяснив, что поставит ногу на место, и что зрелище это не для женских глаз, но утверждал при этом, что малыш ничего не почувствует. Наконец, он снова позвал мать. Вдвоем они туго запеленали обе ровно протянутые ноги Главка в длинное покрывало, катая по лежанке безжизненное тело. Потом Меропа держала бедра сына, а гость, прижимая к постели плечи ребенка, разбудил его завершением своей сказки. Проснувшись окончательно, Главк так сильно вздрогнул, что наверно скатился бы на пол, если бы не их руки. Но он был спокоен, весел, и явно не испытывал боли, может быть, даже не помнил о ней.

Меропе, в свою очередь, не терпелось узнать, кого же это привел в дом супруг, но Сизиф пообещал все ей рассказать, когда вернется через день, объяснив, что ему нужно пойти к стаду, и он хочет добраться туда до наступления ночи. При этом он просил жену никому ничего не говорить, а если кто будет особенно настойчив в расспросах, отвечать, что он ушел в Лехей договориться с хозяином галеры о грузе шерсти.

Следовало поспешить, чтобы их не застала в пути ночь, но тут во двор вошел еще один неожиданный посетитель.

Среди знатных жителей Коринфа Автолик выделялся хвастовством и непомерной длиной своего тела. Когда Сизиф прибыл в город, еще не успели отшуметь похвалы Автолика, незадолго до того вернувшегося домой после длительного отсутствия разбогатевшим и, на зависть соседям, сразу утроившего свое стадо. Хозяйственная удача сопровождалась и более доблестными заслугами Автолика, который, по его словам, принимал участие в походе аргонавтов, откуда привез множество дорогих сувениров, доставшихся спутникам Язона в разнообразных столкновениях с местными народами по пути в Колхиду и по дороге домой.

Героизм участников этого позднейшего крупного события в истории Эллады был почитаем всеми. В случае же Автолика, причастность к походу была еще и существенным подтверждением его высокого родства. Он давно уже без всякого смущения именовал себя сыном Гермеса, а поскольку среди спутников Язона, исчисляемых по разным сведениям то пятью, то шестью десятками, было много царей и божественных потомков, там ему и было место.

Непредвиденное появление в Эфире самого Язона должно было, судя по всему, многократно упрочить положение его бывшего соратника, так что весть о новом царе вновь оживила толки о невероятных удачах городской знаменитости, сыпавшихся на Автолика одна за другой. Но виновник шумихи удивил всех еще более, проявив качество, которого от него не ожидали. Он заметно сократил свои описания славного похода, даже изредка удерживал соседей от восхваления своих достоинств, как если бы ему показалось наконец, что боги чрезмерно к нему благосклонны, и что это уж как-то слишком. Новый облик героя, смущенно принимающего восхищение окружающих, не забывая напомнить о том, как их все-таки много было на Арго, и о преобладающих заслугах главного аргонавта, еще больше расположили эфирян к несомненному фавориту царского дома.

Сизиф, как вновь прибывший, не успел еще прибавить свой голос к общему хору, и с ним Автолику нечего было расшаркиваться. Однако, он поспешил представиться в самые первые дни, когда каменщики заканчивали их дом, сразу обрушившись на супругов с советами, предложениями дружбы и помощи в знакомстве с новым местом и его жителя-

ми, о каждом из которых ему все было известно, как он утверждал. Ничего толкового он, в сущности, не посоветовал, но был очень шумен, назойлив, долго убеждал, например, Сизифа, что зал внизу мог бы быть и пошире – это при возведенных уже стенах. Сизиф быстро догадался, что вступать с ним в спор бесполезно, и с тех пор каждый раз только дожидался, когда назидательный пыл долговязого соседа угаснет, и он вспомнит о каких-нибудь других своих делах.

Напомнить о себе новому царю Автолик, напротив, не спешил. Язон тоже никак не проявлял желания заключить боевого друга в объятия. Охлажившая горожан, подталкивавших его возобновить многообещающее знакомство, Автолик рассудительно поучал их, что у царя без того много забот, что не к лицу ему лезть со своими личными интересами в ущерб городу, что всему свое время. Он даже поделился с некоторыми из них размышлениями о том, не следует ли ему вновь отлучиться из города и вернуться, когда царь окончательно освоится. Уехать он не уехал, но довольно долго избегал встречи с царствующими супругами.

Мало-помалу увлеченные обсуждения колхидской эпопеи начали остывать. У всех были свои дела, город изменил имя, они привыкали и себя именовать по-другому, и не подогреваемые вездесущим, громогласным присутствием своего доблестного земляка, коринфяне утратили интерес к истории Золотого руна, к участию в ней Автолика, и к его предполагаемой близости к царскому дому.

Тут он, кажется, все же переборщил. Совсем оставаться в тени не входило в его задачу и уж никак не соответствовало ни фанфаронскому естеству, ни полу-божественному происхождению. Когда же до его слуха было доведено, что царь недоумевает, отчего один из аргонавтов сторонится своего бывшего предводителя – кто-то все-таки намекнул, видимо, Язону о существовании тут под боком легендарной личности – Автолик отправился во дворец.

Впоследствии он воздерживался от описания встречи, лишь видом своим, уверенным и удовлетворенным, всячески подчеркивал, что все, мол, в порядке. Но кое-какие сведения, просочившиеся из дворца, свидетельствовали, что имело место определенное недоразумение.

Никто не стал бы называть Автолика в лицо самозванцем, однако поговаривали люди, что Язон его не узнал. Царь повел себя дипломатично – в конце концов, он сам не помнил точно, сколько героев участвовало в походе. Кто-то сошел с пути, не добравшись до Колхиды, как Геракл, кто-то присоединился к ним уже в дороге, как сыновья Фрикса, так что конечное число тех, кто так или иначе побывал на палубе Арго, могло перевалить и за сотню. Но жарких объятий с похлопыванием по спине и взаимными воспоминаниями не случилось. Медея же, открыто не разоблачая вежливую сдержанность супруга, проник-

лась к выскочке презрением. Даже общепризнанное происхождение Автолика, которое, по ее мнению, надо было бы, в общем-то, еще доказать, лишь утвердило высокомерное отношение к нему Медеи. «А кто такой Гермес? - говорила она тем, кто не решался пока списать со счетов лже-аргонавта, – Мальчишка на посылках? Хотя бы и у богов. Мой дед, Гелиос, по крайней мере, ни у кого поручений не принимает».

Все это, покипев в слухах, выварилось в новую кличку, которой, усмехаясь, обменивались за спиной Автолика горожане, называя его «почетным аргонавтом».

Но Медея пошла еще дальше, предложив иное толкование имени Автолика. Оно привычно связывалось для всех с образом волка – не какого-то одного живого хищника, а с идеей сильного, опасного зверя, с самой волчьей сутью, воплотившейся в имени «сам-волк». Медея была чужеземкой, и пеласгийское наречие звучало для нее более остро. Она расслышала, что в имени Автолика его вторая половина может с равным успехом означать и волка, и свет. А поскольку ничто в облике и поведении гаера на свет не намекало, колхидская царевна посоветовала воспринимать имя, как печать бесстыдного самозванства, с восточной хитростью удовлетворив любопытство коринфян, почуявших возможность расшатать пьедестал местного героя, бестактность которого они соглашались терпеть только в свете его безукоризненного послужного списка.

Всерьез никто этого не принял, но шутка прижилась, и эта ничтожная мушка в меду общественного мнения тоже раздражала горожанина, желавшего по-прежнему оставаться на виду. Но настоящая трещина пролегла между ним и Сизифом во время торжеств, которыми открывались первые Истмийские игры. Сизиф, признанный их устроитель, был задарен царской милостью и определенно становился знаменитостью номер один. Как же было Автолику не скрипеть зубами.

Но это он делал втайне от других, а открыто, нисколько не меняя своей повадки бесцеремонного простака, начал задирать Сизифа при каждом удобном случае. Оба были почтенными отцами семейств, никто не ожидал, что они опустятся до кулачной потасовки, как молодые петухи. Более того, первая же попытка такого рода с чьей бы то ни было стороны как раз стала бы свидетельством поражения. Целью Автолика было унижить соперника, одурачить его, продемонстрировав городу неловкость всеобщего любимца.

Как только все поняли, что происходит, и поединок между двумя видными горожанами стал чем-то вроде местной достопримечательности, Автолик принялся как можно чаще рассказывать – за спиной Сизифа, разумеется – что, хоть страсти и накаляются, того и гляди дело дойдет до драки, он, Автолик, никогда не позволит себе сразиться с фессалийцем. Это было бы с его стороны нечестным и, скорее всего, фатальным поступком, ибо среди прочих тайных знаний, которыми снабдил его в свое время отец – а что отцом его был вечно юный бог Гермес, все, конечно, помнили – было искусство боя, созданное одним замысловатым тибетским народцем и позволяющее легко лишить человека жизни

голыми руками, вырвав его сердце. Обладая таким неодолимым преимуществом перед любым смертным за пределами далекой горной страны на востоке, он счел бы себя не вправе воспользоваться им против во всех отношениях достойного, но обреченного на поражение соседа. Такой высокой пробы было благородство Автолика.

Сизифу крючковатые шутки в его адрес казались смехотворными, а в этом последнем признании хитроумного пустозвона, старавшегося задеть его мужское достоинство, он угадал попытку Автолика на всякий случай избавиться от маловероятного, но все же возможного столкновения.

Но вскоре у него стал исчезать скот, и это было уже не шуткой. Убедившись, что пастухи надежны, и что в округе не появилась крупная волчья стая, Сизиф пришел к единственно возможному выводу: это была кража.

Веселой проделкой воровство скота могло считаться у богов. Люди были настроены иначе, попавшегося вора вполне уместно было и жизни лишить. Соответственно, большим преступлением считалось огульное обвинение в воровстве. Поэтому самую первую догадку Сизиф решительно отбросил, сочтя, что богатый Автолик, при всей его вздорности, вряд ли решился бы так рисковать.

Тот же сам лез на рожон, расписывая направо и налево, в том числе и самому Сизифу, каким внезапно плодовитым стало его стадо и как вовремя, потому что на Сикионском базаре цены на овечью шерсть начали расти. Тут как раз и крылась причина его наглой запальчивости. Дело было в том, что пропадали у Сизифа козы, а у Автолика увеличивалось поголовье овец.

Ходило, правда, в народе еще одно поверье, опять-таки связанное с магическими способностями Гермесова отпрыска. Было как будто у него в запасе умение преобразовать облик скота, так что безрогий становился рогатым, черный – белым, курчавый – длинношерстным. Тут уж не приходилось сомневаться, кто мог научить его такой подлости. Люди хорошо знали жития своих богов, а одним из младенческих подвигов Гермеса была кража целого стада у великого Аполлона, сопровождавшаяся всякими ухищрениями вроде переворачивания коровьих копыт задом наперед, чтобы сбить хозяина стад со следа. И все же для серьезных обвинений необходимо было поймать наглеца за руку.

Одним словом, так сложились отношения двух знатных коринфян, что каждая неудача Сизифа тут же, как ветер перышко, приносила Автолика, с его громкими ядовитыми соболезнованиями, а каждое достижение удобряло почву для новых происков неумного соседа

- Сизиф! Собрат мой бедный, какое горе! - закричал он, едва увидев хозяина дома.

- Ничего, Автолик. Благодарение богам, все обошлось. Спасибо тебе за заботу.

- Что же, выходит мальчишка легко отделался?

- Жив и здоров, хоть и натерпелся страху, как и все мы. А как поживает твое счастливое семейство?

- Отлично! Превосходно! Скоро выдаю дочь за благородного Лаэрта. Вот уж когда мы с тобой бросим наши тяжкие труды и повеселимся на славу. И поверишь ли, как благосклонны к нам боги – именно сейчас, когда мне предстоят новые расходы, вновь стало быстро расти мое стадо. Разве это не благословение небес предстоящему браку?

- Несомненно так, и я искренне рад за тебя и за красавицу Антиклею. Каким же, примерно, оказался прирост твоих овец на этот раз?

- Кто говорит об овцах? Какой прок в этих безмозглых, прожорливых тварях? Да за одну их стрижку приходится платить больше, чем можно выручить за шерсть. Козы теперь в цене, Сизиф, и я говорю это только потому, что желаю тебе такого же богатства, как самому себе. Не раскрывай пока никому этот секрет, но в Нимее за молочную козу уже дают две драхмы и столько же за годовалого козленка, а за матерого козла можно выручить до пяти. Но главное, ты же знаешь, как они плодовиты, и как легко их прокормить. Послезавтра я со своей эполой поведу туда небольшое стадо. Если хочешь, могу прихватить с собой и твоих.

- Во что же мне обойдется твое посредничество в торгах?

- Побойся богов, Сизиф! Разве мы не соседи? Когда-нибудь и мне понадобится мелкая услуга, неужто ты из-за неепустишь меня по миру?

- Ну, раз так – спасибо тебе за подмогу. Сам понимаешь, что не время мне сейчас отлучаться из дому. Пошлю завтра к своим пастухам, пусть пригонят полсотни голов. Не слишком обременит тебя такое количество?

- Всего-то полсотни? Да у меня такие пастухи – они их и не заметят.

- В таком случае, хорошо бы они не потеряли их в дороге.

- За это я отвечаю головой, брат. Если бы такое случилось, я отдал бы тебе все сто драхм из собственного кармана.

Они могли еще долго обмениваться этими любезностями, но приход задиры имел, по обыкновению, какую-то скрытую цель, которой он, как видно, достиг, и потому собрался уже уходить, как вдруг заметил в отдалении подпаса, явно ждавшего распоряжений.

- Эй! - воскликнул Автолик, - Да вот же, если не ошибаюсь, твой пастух. Я вижу, он уже приготовился бежать к стаду, хотя ты еще не сказал ему о своем решении. Как удачно вышло, что он оказался здесь под рукой, а не на пастбище.

- Ему приказано было принести ягненка для всесожжения в храме Афродиты. Мы хотели возблагодарить богиню за то, что она уберегла нашего сына от увечья. Но для

этого юноши я приготовил другую работу, он слишком смышлен, чтобы тратить время в ленивых прогулках по горам. Я найду кого послать к стаду, а за одну-другую ночь у Евмелия ничего не случится.

- Ну, тебе видней. Какой ты хозяин – всем в Коринфе известно, у тебя волос с головы не упадет, прежде чем не вырастут два новых. Мне пора, однако. Ты не знаешь, какое это утомительное дело выдавать дочь замуж. Это счастье тебе пока не грозит.

Когда он наконец ушел, мальчишка-пастух приблизился к хозяину в ожидании разъяснений, так как Автолика было слышно не только на всем дворе, но и в доме, а то и во дворе соседнего дома. Планы на самом деле немного изменились. Сизиф сказал, что они выйдут через час и, вспомнив, что ни куска не держал во рту с самого утра, вернулся в кухню, где Гилларион сидел перед мармитом, любуясь поднимающимся из него паром.

- Спасибо тебе за сына, - сказал Сизиф, в свою очередь с удовлетворением глядя на ухоженного, довольного бродягу. - Я у тебя в долгу.

- Какие там долги. Ты же не спрашиваешь с меня за постой. Окажи-ка мне лучше честь, вдвоем и есть веселее. А то ты все куда-то спешишь сегодня.

- Такой, видно, день вышел, когда одна беда не ходит, - продолжал Сизиф, усаживаясь за тяжелый дощатый стол, - Кто-то скот крадет.

- Эх, Сизиф, Сизиф, - вздохнул фракиец, принимаясь за похлебку, - Не гневил бы ты судьбу, чтобы не было у тебя бед помимо этих. Ты разве не знаешь вора?

- А ты мог бы его указать?

- Кто там сейчас во дворе с тобой препирался?

- Автолик? - спросил Сизиф, невольно оглянувшись и понизив голос. - Я ведь тоже было на него подумал. Да точно ли ты знаешь?

- По голосу и узнал. Давно ли он тут, в Коринфе?

- Живет давно. Хотя и отлучался. Говорят, в Колхиду ходил с нашим царем.

- Эх, загнул! Где Колхида, а где Мессения.

- Ты, всеведущий, не темни. Это дело серьезное. Если тебе на самом деле что известно, говори толком.

- Скажу, скажу... Знатно готовят у тебя в доме, хозяин. Вот ведь, гуси – они везде гуси, а такой похлебки я нигде больше не едал. Тут вот что вышло. Я все ждал, когда же он попадется. Хитер, ворюга. В мессенской Эхалии я оказался, как раз когда туда Геракл пришёл свататься к Иоле, дочери царя Эврита. Царь же объявил, что отдаст Иолу тому, кто победит его в стрельбе из лука. Сам он большой лучник был, в свое время и Геракл у него в учениках ходил. Но поди ж ты, преуспел ли в упражнениях ученик или невесту ему поразить хотелось, но царя он обстрелял. А Эврит уперся, дочь ему с досады не отдал. Спорить Геракл не стал, покинул Эхалию и обиду свою с собой унес. Вот тут и пропало царское стадо. И соседа твоего я тогда в первый раз услышал. Легко убедил он эхалийцев, что коров увел Геракл в отместку за упрямство царя. Дня через два я дальше от-

правился и за Кипарисовым хребтом, почти на побережьи вновь на обидчика твоего наткнулся. Больше трёх сотен голов пас он в этом глухом месте. Не думаю, чтобы он решился гнать домой всю эту ораву. Должно быть там, у Филатры и отсиживался, пока потихоньку не распродал. Вот такая была у него Колхида. Такое руно золотое.

- Что ж царь коров своих не поискал?

- Как не искать! Тут же сын его Ифит побежал. Он, кажется, единственный был, кто усомнился в вине Геракла, но пошел всё-таки по его следам и совсем в другую сторону. Рассказывали, что и в Тиринф заглянул, где Геракл поселился, и что тот его будто бы принял по-доброму. Но когда узнал, в чем его обвиняют, больше не стерпел, сбросил гостя с городской стены. За этим новым грехом и прежний спрятался. Я удивляюсь, как он не боится. Неужто тут, при Язоне своим геройством хвалится?

- Язон-то с Медеей его вроде не приветили особенно. Но как будто и другие называют, что был среди аргонавтов Автолик.

- Да это же родственник твой – сын Фрикса и Афамантов внук. Их четверо было, кто к походу на острове Дий присоединился: Фроней, Демолеонт, Автолик и Флогий. Его и царица ваша знать должна, Фрикс-то на сестре ее был женат, Халкидике. Да что ты, Сизиф! Здешнего Автолика пряниками на Арге не заманишь, он другой породы.

- То-то и оно, что другой. И что это за порода, что все ему с рук сходит? Может впрямь отец помогает. Он ведь себя называет Гермесовым сыном.

- Здесь я не знаю, что сказать тебе, Сизиф. И доказать трудно, и оспорить невозможно. Этот бог опасен. Много ли тебе о нем известно?

- Ну уж наверно меньше, чем тебе.

Они давно покончили с едой, отодвинули котел и миски и сидели напротив друг друга, тяжело облокотившись на стол.

- Сколько сил я потратил, чтобы его разгадать, – говорил фракиец, - а так и не узнал, что больше всего ценит Гермес. Что покровитель пройдох и ловкачей, это так. Но столь же ликует он, как я заметил, когда тебя собьет с ног неудача. И не поймешь, что же ему большую радость доставляет – ловкость обманщика или промах обманувшегося. Да это бы еще ничего. Пока он таким способом скрывается, остается Гермес богом темной двойственности, и нам надлежит дальше трудиться, чтобы суть его постичь. Иногда же я думаю, что все равно ему, что люди ему вовсе не интересны. И коли так, тогда он становится богом двойной темноты, а страшнее бога придумать нельзя... Ты только не робей раньше времени, - продолжал Гилларион, распрямившись и подмигнув Сизифу, - Воровство – дело житейское и не одного тебя касается. Мне не повезло, возвращаться к Эвриту с именем вора не с руки было – уж больше на донос похоже. Да и не мое это дело было вовсе. А ты, если знаешь, как его уличить, да если соседей в помощь соберешь,

глядишь, и тебе Гермес улыбнется. Ему лучше нас известно, что на всякий обман есть другой – позабористей.

* * *

Сизиф с подпаском вышли со двора, когда начало смеркаться.

Проспав остаток ночи в шалаше с пастухами, Сизиф рано утром принялся за дело. Положив на камень медный, остро отточенный нож, конец которого был загнут, чтобы не поранить лошадиных копыт, он камнем поменьше слегка сплющил этот крючок, сделав его удобным для более мелкой работы. Затем он до самой темноты обходил один за другим загоны и, прежде чем выпустить овец, вырезал в их копытах полукруглые ложбинки. Разумеется, он не мог пометить все стадо – оно было поистине велико, но достаточно было отобрать в каждом загоне дюжины две животных, какое-нибудь из них наверняка попадет к вору, который не станет в темноте и спешке выбирать себе добычу.

Следующую ночь он снова провел с пастухами и долго не засыпал, прислушиваясь к коротким взлаиваниям собак, которых накануне запретил кормить. В этом лае не было ничего необычного: умные, обученные звери просто давали о себе знать овцам, которых иногда пугали какие-то их овечьи сны, хозяевам, чтобы те не подумали, что ночные сторожа спят без задних ног, и волкам, чтобы тех не обманул густой скотный дух, и они не позабыли о присутствии честной охраны. Этот лай был так же покоен, как крики ночных птиц, привычные пастухи даже не слышали его. Не услышали они, и как он надолго прекратился. Сизиф же, от которого не ускользнула эта неестественная, красноречивая тишина, наконец удовлетворенно заснул.

Едва начало светать, он уже был у ближнего загона, где его встретили вялые, с равнодушными, масляными от сытости глазами псы. Никакого труда не составило обнаружить своеобразные, отмеченные выпуклыми полумесяцами следы, которые вели в сторону от пастбища. Он не стал будить пастухов и через два часа, когда всходило солнце, подошел по этим следам к городскому загону Автолика, которым кончался задний двор его дома. Сизиф успел ещё отметить, что две дюжины украденных овец пока не превратились ни в коз, ни в какую иную живность. Не задерживаясь более, он отправился домой, обходя по дороге некоторых горожан. Они уже просыпались, так что Сизифу не пришлось даже извиняться за ранний визит. Он коротко сообщал, что нашел вора, и просил каждого, не мешкая, прийти к его дому.

Умывшись и сменив одежду, он вышел во двор, где нашел десятка два соседей. Все были оживлены, несмотря на то, что их оторвали от завтрака. О злоключениях Сизифа было известно, и всем хотелось узнать, кем же оказался этот бесстыжий, не знающий ни-

какой меры вор.

Прежде чем повести людей за собой, Сизиф объяснил им, каким способом он выследил пропавших овец, начертил на земле форму сделанных им в копытах ложбинок и на всякий случай просил их не смущаться, если они увидят в загоне Автолика не овец, а неизвестно какой скот, и все равно его осмотреть.

- Помогите мне, великие боги! - закричал Автолик, когда его вызвали к воротам, - Этот человек погубит меня своим коварством. Мы договорились, что ты приведешь полсотни коз, Сизиф, чтобы я присоединил их к своему стаду, которое отправляю... Неважно, куда я его отправляю! А ты, оказывается, хочешь, чтобы я по твоему поручению занялся торговлей свободными людьми?

На коринфян неуклюжая шутка впечатление не произвела, а лысоватый, невозмутимый Диомед, которого толпа выбрала по дороге своим предводителем, сказал:

- Здравствуй, Автолик. От всей души желаю, чтобы этот день был для тебя не менее благословенным, чем все прошедшие и все будущие дни твоей жизни. Не позволишь ли нам взглянуть на стадо, которое ты готовишься отправить, куда бы там тебе ни взбрело?

У Автолика побелели мочки ушей, но ни секунды не задержался он с ответом.

- Какие могут быть секреты у соотечественников! Боюсь только, не опоздали ли мы. Пастухи мои, должно быть, уже в дороге. Жаль, что ты так задержался, Сизиф. Но, кроме шуток, если твои козы все же готовы, мы можем послать их вдогонку. Я привык держать свое слово.

- Не Сизиф начал с тобой разговор, - неспешно и твердо продолжал Диомед, - Ты окажешь нам большую милость, если ответы свои обратишь к нам, а не к нему. - Что ж, проверь, здесь ли еще твои пастухи, и если мы успели вовремя, покажи нам свою живность.

- Не ослышался ли я? - голос Автолика зазвучал потише и менее дружелюбно, - Не различаю ли я в твоих словах не столько просьбу, сколько требование? Кто ты такой, любезный Диомед, чтобы ни с того, ни с сего приступить ко мне с требованиями? Я тебе ничем не обязан.

- Твой слух верно тебе служит, достойный Автолик. А у требования нашего лишь одна причина: мы хотим жить друг с другом в мире и согласии. И хотя по-прежнему полны уважения к твоему благородству и твоим правам, настал тот прискорбный час, когда тебе, как и всем нам время от времени, нужно лишний раз подтвердить городу свою верность его законам и обычаям. Поэтому мы пришли к тебе одни, по-соседски, не прибегая к посредничеству царя или его доверенных, чтобы, не приведи грозный воитель

Арес, они не запутали дело своей обоснованной, но иногда грубоватой силой.

- Дело? С этого надо было начинать! Нет человека более сведущего и открытого в делах, чем я. Любое честное предложение встретит согласие Автолика, если оно ведет к взаимной выгоде. Какое же у коринфян ко мне дело?

С заднего двора давно уже слышалось многоголосое отчетливое блеяние.

- Оно столь же прозрачно, как эти овечьи голоса, Автолик. И я не вижу причины, по какой тебе стоило бы отказать нам полюбоваться твоим будущим барышом, принесут ли его, согласно твоим словам, козы или овцы, которых мы сейчас слышим.

Пока вежливый Диомед стоял на своем, остальные начали терять терпение, задние уже потихоньку напирала на стоящих впереди. Чтобы сдержать это шевеление толпы, Автолику пришлось снова поднять голос.

- Вижу, что мудрые коринфяне выбрали тебя своими устами, Диомед. И всемерно одобряю их выбор. Войди со мной в дом и осмотри все, что захочешь, хотя мне по-прежнему невдомек, что пробудило такое любопытство к моей скромной персоне. Но согласись, что нашествие столь великого множества людей будет еще менее понятным моим домашним и легко может их напугать, особенно мою дочь, которая и так сама не своя в ожидании скорого замужества.

Упрямство и похвальба Автолика всем наконец надоели, новый ответ спокойного Диомеда заглушили другие, более решительные голоса. И вот людской клубок уже вкатился в ворота, вопреки попыткам хозяина их урезонить. Дело понеслось к развязке. Сизиф отделился от толпы, которая быстро перемещалась к заднему двору, где он не рассчитывал найти ничего такого, чего бы уже не знал, и, мгновенно постояв у двери, вошел в дом.

Он нарушал все приличия. Справедливость позволила бы ему лишиться обидчика имущества, обречь его на позорное публичное наказание, даже на изгнание, но входить в дом, где были женщины, без хозяина, без приглашения он права не имел. Однако, именно этот порог переступить толкало его сейчас ожесточение, с которым он не хотел совладать. В глубине души он хорошо знал, что не допустит ни одного из заслуженных воров наказаний, не было в его природе мстительности, но тем сильнее сжигала его жажда справедливости. Ее требования он предъявлял даже не Автолику, который был, в конце концов, жалким шутом, а всей своей жизни, непрерывно вынуждавшей мириться то с одним, то с другим. Овладевшее им бешенство было обращено на него самого, на образ поклядистого Сизифа, ставший вдруг ненавистным. Подбадриваемый слишком долго копившимся гневом, в котором не было настоящего жала, он хотел испытать свои пределы, он позволял себе стать громким, как Автолик, разнузданным, подавляюще властным, как если бы все здесь принадлежало ему, в том числе и женщины, с которыми можно было обойтись,

как ему заблагорассудится. И этот порыв был тут же воспринят ими двумя, испуганно прислушивавшимися к шуму во дворе. Мгновение назад мать еще заслоняла собой дочь, но вот уже не было и этого. Хотя ничто в их позах не изменилось, они выражали теперь только готовность выслушать и выполнить приказание.

- Иди к мужу, женщина! Он нуждается в твоей поддержке, - крикнул Сизиф так грубо, как ему еще не приходилось.

Дородная, круглолицая Амфитея засеменила в сторону, по стенке пробралась к выходу и выскользнула за дверь.

Ей было, что собой прикрывать – Аитikleя, еще не успевшая оправиться после сна, была не одетой. Короткая рубашка не прикрывала ее полных колен и завязана была лишь с одной стороны, обнажая круглое плечо и часть груди. Оцепенение покорности не давало ей поднять руки, всей ее защитой была глуповатая улыбка, без нужды слепленная непослушными мышцами. Она была по-своему хороша собой, с чистой молочной кожей и вьющимися рыжими волосами, небрежно подобранными к затылку. Grimаса не мешала разглядеть правильные черты ее лица, прямые короткие брови, небольшой рот с поднимающейся уголкой к носу верхней губой и смятой, прикушенной нижней. При полноватых плечах и коленях она была пропорционально сложена, даже бедра ее не казались слишком широкими. Воображение Сизифа обнаружило своеволие.

Будто догадываясь об этом, Аитikleя тронулась с места. Не спуская с него глаз, не пытаясь прикрыть наготу, она подвинулась к лестнице, которая вела наверх, в женскую половину, и стала медленно бочком подниматься. Одолев несколько ступеней, прежде чем Сизиф пошел следом, девушка повернулась к нему лицом и продолжала осторожно переставлять ноги, крепко держась за перила.

Это было как раз то, что нужно. Распаленный воитель, сокрушивший врага, разгромивший его дом, берет и дочь, окончательно уничтожив самую сердцевину жизни, семью. Как прихотливо украсит это деяние молва. Ну, по крайней мере, на этот раз не обидно будет выслушивать о себе небылицы. Шаги девы становились тем временем все увереннее, улыбка на загоревшемся румянцем лице приобретала все более естественные черты. Она не бежала от него, не пыталась скрыться, еще не вполне уверенная в своей женской притягательности, она, тем не менее, пробовала ее силу.

Сизиф споткнулся, и все в его голове перевернулось. Еще несколько шагов, поспешное нетерпеливое избавление от лоскута, и так едва прикрывавшего цветущую плоть, затем такое же свирепое избавление от всей этой лихорадки, загнавшей его в чужую жизнь – это вовсе не будет торжеством победителя, топчущего жертву. Сокрушительную, унижающую победу одержит безмозглая телка, уравнивая его в бесчинстве со своим отцом... Перед застывшим взором одна за другой вставали гермы, каменные столбы, встречавшие-

ся ему на всех дорогах, эти назойливые символы детородной силы. Если до сих пор его действительно водил Гермес, одобряя хитрость, которая позволила так окончательно посрамить вора, то теперь еще одной своей сутью – оголенной мужской статью – этот бог уводил его за черту, где удача оборачивалась поражением. И надо было знать, где уклониться от его водительства.

Он так схватился за деревянные перила, что они заскрипели и покачнулись. Лишившись равновесия, Антикля села на самой верхней ступени, обнажив бедра еще выше. Но Сизиф настолько собой овладел, что даже не отвел глаз.

- То ли ты яблоко, что падает недалеко от яблони – вот что хотел бы я знать, - сказал он, снова встретившись с ней взглядом, - Но это уж, как видно, придется расхлебывать Лаэрту. Не дрожи. И успокой отца с матерью. Свадьба твоя состоится.

Только теперь он услышал, что крики стали гораздо громче и опять доносятся со стороны входа. Сизиф быстро вышел через заднюю дверь.

Краски пасмурного летнего дня устремились к нему с такой необычной силой, что заломило глаза. Бесчисленные оттенки, о существовании которых ему ничего не было известно, давили на глазные яблоки с настойчивостью земного притяжения. Такая интенсивность не принесла бы добра и живописцу. Но пейзаж был не так уж характерен для этого времени года, облака, затянувшие небо, могли вскоре разбежаться, чтобы тысячекратно подстегнуть этот шквал красок. Он жадно отыскивал скудные бесцветные пятна – белый порошок удобрения, вытекшего из порванного пакета, скомканный клочок бумаги в траве, узкий бережок гальки вокруг цветника – на которых едва успевал передохнуть взгляд, прежде чем его не заливало вновь ослепляющее полыхание цвета.

Но и оттуда, из-за нестройно гудящих серых туч струилось излучение, шевелившее ядра клеток в его теле, отшелушивавшее с них оболочку протоплазмы. Он бросился назад в дом, поспешно опуская шторы на окнах, и каждое прикосновение к предметам отзывалось судорогой, будто от удара током.

Наконец он застыл, стараясь не вызывать в мозгу никаких картин и прислушиваясь к работе сердца. Оно ничем не выдавало волнения. Но оказалось, что лучше было бы еще и не дышать. Каждый вдох сжигал легкие, с каждым выдохом источавшиеся наружу невидимым пеплом. Даже в отсутствие прикосновений нестерпимо саднило кожу, как от широкого среза бритвой.

Он стоял неподвижно, сократив до минимума соединение тела с миром вещей, но и его ступни, его огрубевшие от ходьбы подошвы были чувствительны, как поверхность языка. Убедившись, что простое ожидание не ослабляет пытку, сопровождаемую скрежетом пустого дома, Артур хотел было дотянуться до приемника, всегда настроенно-

го на станцию классической музыки. Тот включился сам, но лишь спустя минуту он узнал в какофонии сюиту Моцарта. Она была переполнена обилием фальшивых обертонов, на которые расщеплялись неустойчивые ноты, сыгранные первоклассными инструментами.

Не могло быть и речи о воде. Даже слюна обдирала пищевод, как металлическая стружка. Так нельзя было бы прожить и часа, а вместе с тем ничто не давало надежды на приближение того или иного конца.

Мозг продолжал работать, не производя сколько-нибудь последовательного течения мысли, соскакивая к одному и тому же вопросу: что это?

- Ты как будто неудобство испытываешь. Не могу ли чем помочь? - спрашивала склонившаяся к нему массивная фигура, лицо которой было неразличимым.

- Это ты?

- Вот вопрос-то! Как ни ответь, все в лужу сядешь. Ну, я, допустим.

- Ты ли делаешь это со мной, я спрашиваю. Нельзя ли побыстрее...

- Помилуй, ничего не делаю. У меня и власти такой нет. А что случилось? По виду твоему ничего не разберешь... Разве нервное расстройство какое? Устал, может быть?

- Я долго не выдержу.

- Ах ты, беда какая! Что же предпринять-то... Да не прилечь ли тебе? Хуже ведь не станет, а я бы тебя отвлек... Рассказал бы сказочку какую-нибудь. Глядишь, и развеялось бы, что оно тебя там снедает.

Теперь Артур лежал на диване, сотрясаемый дрожью, закрыв глаза и стараясь вдыхать ровно столько воздуха, чтобы не задохнуться, а тень прищельца горбилась рядом, ни на минуту не умолкая.

- Ну вот, ну вот... Давай и музыку потише сделаем, а то вон видишь, роскошь какая. Не мудрено, что чувствительная душа начинает излишне трепетать. Музыкантам, может быть, привычнее, они к этому обилию притерпелись, но не всем же и музыкантами быть. Вот ведь заблуждение тоже – считать, что музыкант особой чувствительностью к звукам обладает по сравнению с обычным слухом. Они-то как раз, может быть, самые стойкие, лучше всех прикрытые и вооруженные против гармонии, раз так по-свойски с ней обращаются. Это большого труда, закалки требует, долгого упражнения, чтобы такую пронзительность пригасить и орудовать с ней, как с тестом или глиной. А с другой стороны, если подумать, то и во всем так. Приходится преодолеть это онемение перед стихией, притвориться, что она тебе по зубам, что обработать ее ничуть не труднее, чем кулич испечь. Гения мы ведь при случае по плечу похлопываем, как любого соседа, и он не возражает, ему тоже нужно соседствовать, а не в одиноком онемении изнывать. И это – самая что ни на есть истинная человеческая природа, по-другому никак нельзя было бы пятью

чувствами обзавестись, чтобы любоваться даже такой нежной картинкой, как радуга после недолгого дождика. В чувствах своих человек очень укрепился и оборонился от них в то же самое время. А если подумать, было же когда-то, что все увиделось и услышалось впервые. Ведь если принять, что никакого изначально сверхтонкого чувствилища не имелось, а возникли сразу соответствующие свойства восприятия в равновесии с воспринимаемым, так что же рождающаяся душа-то вопит в младенце, покидая утробу? Неужто от внезапной прохлады только? Психическая травма-то родовая, она откуда взялась? Больше похоже как будто на то, что тщательно оберегались нежные душевные потенции по всей мере их сгущения неким разлитым повсюду белым молочком. Но и никак человеку было не сгуститься окончательно, чтобы молочко это не брызнуло всем спектром. А тут же рядом и безмолвие прозвучало наконец, и горячо-холодно стало – от лесных пожаров до обмороженных конечностей, и прочие кисло-сладкие вкусы притекли, и все одновременно. Вот где агония-то началась, где яблочко-то было надкушено, так что обратно в белизну дороги не стало. И это еще не грех был. Какой тут грех, если все по взаимному согласию совершалось? Грех неизбежно последовал, когда надо было срочно облепить себя заглушечками, подкладочками и притемненными стеклышками, чтобы не растерзало душу тотчас громкое, яркое великолепие окружающей среды. В срочности вся драма и заключалась вероятно, в отсутствии досуга и времени на размышления. За этой спасительной работой все прежние тонкости были позабыты, ибо слишком отделились и вытеснились новыми привычками. Ты следишь за мной? Я, может быть, несвойственные самому себе вещи говорю, не в лад с историческим правдоподобием, но тоже приходится и из кожи вон лезть, раз ты жалуешься, что мочи нет. Я тебе искренне сострадаю, готов помочь, чем могу, чтобы ты не сорвался по какой-то случайности, а довел до конца, что тебе там пригрезилось. Да-а... Так что, вот каково совершенство наше. И дошли мы в нем почти до самого конца, полный круг обойдя и в ту же стенку с обратной стороны упершись. Попади мы теперь туда, где белым-бело, на полюсе где-нибудь, так через день-другой от чистой белизны приходится себя защищать, теперь она нам невыносима, а надо попестрее, пошумнее, в этом мы ныне равновесие обретаем... Ну как, не заговорил я лихорадку твою хоть немного? Неужто и ответить сил нет? Ну, давай я тебе еще одну новеллу расскажу. Эх, разве что совсем из вашей эпохи закрутить? А, была не была, ты вон нашими мхами не гнушаешься... Кроме того, оно и по состоянию твоему подойдет. Может, на первый взгляд жестоко покажется, но говорят же, что клином надо клин вышибать. Стало быть, из новейших времен история, когда человек столь изощрился в сочинении адских мук, что саму преисподнюю талантами своими перекрыл. И дело-то было даже не в Испании, где одно время случилась вдруг повсеместная нужда заставляя человека наговаривать на себя всякие глупости, а в северной Германии, где и погода прохладнее, и люди спокойнее.

Провинился один сельский смерд перед своим помещиком. Вина его, может, не так велика была, но истинна, он и не отпирался. А вот хозяин ему достался непростой, одной справедливостью не удовлетворялся, чувствовал в себе позыв сочинять новые формы наказания, творить, одним словом. Совсем не жестокий человек был, но так вот понимал свое предназначение не стоять на месте и развивать цивилизацию. По его приказанию была сложена из крупных камней, обтесанных, плотно друг к другу пригнанных, тюремная камера особого размера, так что встать в ней можно было только в пол-наклоне, лечь во всю длину невозможно, и даже сидя на полу и к стенке спиной прижавшись, ноги вытянуть было нельзя. И вот то незаметное счастье хоть раз в день, хоть на секунду выпрямиться во весь рост, расправить члены было у узника отнято. Кормили его отнюдь не впроголодь, снабдили камеру сточным устройством, воду подавали, так что мог он за собой прибрать, изредка к окошку сторож подходил, и можно было с ним словом-другим перебраться, но больше ему себя занять было нечем. А скоро он обнаружил, что и не может быть у него никакого другого занятия, кроме того, чтобы постоянно искать способ удовлетворить нужду своего тела в распрямлении. Приговор ему был не долгий, лет пять всего, но уже на пятый день он про конец своего срока думать бросил. Что год, что вечность стало ему едино. Невероятно пронизательным его судия оказался, догадавшись, как в такой незаметной мелочи может скрываться источник всей беспредельной муки. В самом деле, сколько мы в вытянутом состоянии времени-то проводим? Считанные минуты. А по большей мере все ведь скрючиваемся то так, то эдак. Даже во сне редко когда потянемся. Но вот лиши нас этих неприметных минут, и вопрос сразу взвешается на самый верх потребностей, и надо найти средство не помрачиться умом. Дальновиден был тюремщик и в другом, знал, что терпение наше почти беспредельно, что не завянет узник его в самое первое время, а станет как-то приспособливаться.

После первых страшных дней, когда он метался и об стенки бился, и кричал до потери голоса, начал приговоренный исследовать – а нельзя ли как-нибудь приноровиться, чтобы дать своим членам передышку в этом узилище? Сперва он обнаружил, что чем в полусогнутом положении выстаивать, пока плечи и спину не заломит, лучше совсем в поклоне согнуться и, про верхнюю половину тела позабыв, дать выпрямиться ногам. Долго в такой позе находиться было трудно, но теперь каждый раз, как ноги заноят, запросят всей своей длины, всегда можно было им ее предоставить. Тот же ракурс удавалось получить, но уже с большим удобством для спины, если улечься навзничь и ноги вверх по стенке задраить. Так пребывать даже дольше получалось, хотя ноги все же затекали. Наконец, если хотелось спину разогнуть не на полу, а в обычном вертикальном положении, то и это было возможно, просто сев и к стене прислонившись. Тут ногам приходилось потерпеть, но в предчувствии той или иной следующей позиции и это было не так уж безнадежно тяжело.

Когда он открыл, что для каждой части тела есть своя отдушина, ему чуть полегчало. Спал он на боку, ноги подбрав, мог даже со стороны на сторону ворочаться. Мучался же он пока не столько от прямой потребности тела разом потянуться, сколько от живого воспоминания о такой возможности, которая при несбыточности своей становилась временами остро желанной.

Постепенно стал он пробовать каждое из доступных положений продлить, просто из любопытства к своим физическим возможностям. А любопытство это навело его, в свою очередь, на мысль, что чередование поз находится в его полной власти. То есть, наловчившись уже подолгу в земном поклоне выстаивать, он с некоторым подобием удовольствия размышлял, что по окончании этого срока может усесться, распрямив спину, а может и лечь, ноги воздев и дав волю спине и ногам одновременно. И было это первым дуновением свободы и столь необходимого личного произвола. Ты не поверишь, как он сам себя смешил, когда, отмеряя одно из положений, даже затягивая его сколь возможно, и усиленно представляя себе, как следующим займет определенное второе, он в последнюю секунду, почти уж без сил, брал, да и соскакивал не в то, о котором думал, а в третье. От такой новизны сами тесные стены на мгновение упали.

Еще некоторое время спустя он заметил, что в постоянно повторяющихся переменах был какой-то расчет и ритм, и опять можно было его менять и конструировать. Наконец, всеми этими особенностями существования, о которых и не помышлял никогда, он овладел в совершенстве, продолжая оперировать ими с не меньшим увлечением, но с необычайной легкостью, так что они отодвинулись в его сознании на задний план и стали живительным фоном для дальнейших размышлений. Кстати, о том первоначальном желании потянуться он больше и не вспоминал. Но тут мы нашего преступника покинем, так как дальнейшая его судьба – это уже совсем другого рода шванк. Фабула-то, собственно, заключается в том, что задачку без ответа, заданную ему природой – с помощью экстравагантного хозяина, конечно – он разрешил задолго до конца своего срока. Отметь еще, что это был грубый смерд, к досужим упражнениям и размышлениям непривычный. Я уже давно замечаю, что тебе полегчало. Просто хотел довести до какого-нибудь конца. Так ли я понимаю, прошел приступ твой?

Снаружи ровно шумел дождь. В райские мелодии переливал свои пушистые, пустынные зимние пейзажи Сибелиус. Боль действительно схлынула некоторое время назад, словно смытая огромной освежающей волной, но чувствовал себя Артур скверно.

- Что это было? - спросил он.

- Откуда же мне знать. Если бы ты хоть описал недомогание свое, может, и разобрались бы вместе.

- Я думал, это конец.

- Ну уж, сразу и конец. Ты разве болен чем?

- Нет.

- Так с чего же помирать?

- История эта... она ведь о смерти прежде всего, да мы уж, кажется, говорили об этом. Я думал... то есть, даже надеялся, что она как-то во мне отзовется. Может быть, не очень в это верил...

- Моя история?

- И твоя, если ты Сизиф. То, что ты тут рассказывал про зарождение чувств и так далее – это ведь тоже про смерть?

- О молочке-то? Наверно, можно взять в виде параболы. Как еще такие вещи опишешь, сотворение нечто из ничто и все такое прочее? Но я готов и любое другое описание принять. От того, что на самом деле было, все они равно далеки.

- Похоже. Все становится колючим, громким и ярким. Очень тяжело.

- Ах, вон какие переживания у тебя. И ты решил, что в обратный путь отправился?

- Я не знаю, что это такое. Никогда прежде не испытывал. Но параболу-то свою ты к случаю рассказал, наверно?

- Не думаю. Я только отвлечь тебя старался. Тут хватаешь первое, что под руку попадет. Тем более, что мне неизвестно было, чего ты так отчаиваешься. Но ты уж слишком серьезно подходишь ко всему этому. Обманываться не стоит. Немножко мертвым побыть нельзя. У вас тут, кажется, много на эту тему свидетельств появилось, особенно в последнее время, парения всякие над самим собой, свет в конце туннеля и тому подобное. Ты, я надеюсь, не очень этим увлекаешься?

- А что тут удивительного? Человеку хочется туда заглянуть. И тебе хотелось.

- Да это сколько угодно. При развитом уме можно даже очень близко подойти, а увидишь все же лишь самого себя.

- Или тебя.

- Пожалуй. Но тут и вопрос века возникает, который тобой же и уже дважды был сегодня задан: я-то – что такое? Ты хоть про себя и имя мне присвоил, и меня заставляешь его повторять, но ведь так до конца не решился еще в этот вымысел погрузиться. Что же ты видишь во мне, кроме себя самого?

- По-твоему, я и отвечать на это должен?

- Ну, а по-твоему, кто мог бы тебе этот вопрос разрешить?

- Ты разве не можешь?

- Зачем же я стал бы это делать? Ты подумай, что толку в моей помощи, если ею все окончательно и определится? Или ты уж и от космогонии своей отказываешься?

- Познакомился, значит.

- Более-менее.

- А Лазарь?

- Видишь ли, хабир этот не из моей епархии, их дела – вне моего разума, так что твой вопрос не очень вежлив. Да и ты не его ведь выбрал в свои герои, по какой-то причине от этого знакомства уклонился. Но если хочешь все же знать мое мнение, то помер и Лазарь.

- И?..

- И кончился. Остыл и залубенел.

- О воскресении его тебе нечего сказать?

- Помимо все тех же украденных яблок, кустов пламенеющих или, в моем школьном варианте – смешения вертящихся цветов до белого пятна, пожалуй, что и нечего.

- Хорошо, Бог с ним, с Лазарем. Ты – Сизиф, сын Эола, внук Эллина, правнук Девкалиона и Пирры и прочее, был совлечен в преисподнюю и сумел оттуда выйти. Ненадолго, как я догадываюсь, но все же день-другой побыл опять среди своих. Вот этот день, даже час меня больше всего интересует. Что в глазах твоих отразилось? Как твой язык знакомые слова лепил?

- Не знаю, как тебе передать. Безнадёжно пустое дело. Ничто не отразилось, и никак не лепил. Нет тут связи никакой. Одно суетливое любопытство, на которое с той стороны и ответить нечего, только руками развести. Или, в случае крайнего расположения, разразиться темными намеками, вроде германского анекдота.

- И кроме могилы другого пути нет?

- Пока ты один, сам по себе, придется обождать.

- Ты ведь не советуешь распространяться насчет некоторых вещей, других не вовлекать. Как же сделать, чтобы не сам по себе?

- Мм? - вопросительно отозвался собеседник, будто, занятый своими мыслями, не расслышал вопроса.

- Мне кажется, что и в твое время умели разумно поспешать. Может не большими группам, но пропускали через эти секреты.

- Ты про Элевсин опять? Скажи мне, ты разве не слышишь, что это какая-то чужеродная нота в нашей поэме? Наподобие ваших летающих тарелок. После всего, что вам известно, тебе ли возвращаться в Элевсин? У вас тут, я слыхал, эксперименты проводили, так настолько увлеклись, что один ученый буквально в ладонях держал эти две половинки, которые критической массой называют. Да неловко получилось – то ли отвлекся, с ноги на ногу переступил, но свел вместе и начал цепную реакцию – это в

собственной-то горсти. Так с какой стати ему плестись среди простонародья в пыльное афинское предместье, чтобы всего-навсего спелый колос увидеть?

- Что ж, там хотели узреть тайну зерна, которому суждено погибнуть, чтобы родиться вновь. От меня скрыта суть ядерной реакции. Я, впрочем, и про зерно мало что знаю. Не все ли равно, с чего начинать?

Но этот вопрос задавать было уже некому. Громоздкая фигура, которая мерещилась ему поблизости, давно потеряла последние очертания и лишь условно оставалась объектом, скорее каким-то сгустком тяготения. Теперь исчезло и оно.

А приступ, им пережитый, все-таки не был ни сном, ни работой воображения, у него до сих пор тряслись руки, и желудок рассылал по всему телу противоречивые сигналы о положении в пространстве, как после обморока или чрезмерной выпивки. Не было никаких сомнений, что это как-то связано с работой. Но что именно послужило толчком, какие усилия или действия ввергли его в это состояние, оставалось неизвестным.

Оно было отнюдь не привлекательным. При всей серьезности его намерений воспользоваться архаической историей, помещавшейся на границе бытия, для более пристального изучения этой границы, он рассчитывал все-таки на мысленный, в лучшем случае духовный процесс, не предполагающий физиологических трансформаций. Хотя на окраине сознания возникала иногда не слишком ясная мысль о том, что разрешение истории может неким свободным движением вытолкнуть его из жизни, не приносящей более радости.

Но до разрешения было еще далеко, а этот последний опыт отводил работе лишь вспомогательную функцию без всякой зависимости от завершения. К такому прямому бездорожью он готов не был. Наступившее облегчение – пришло ли оно извне или было результатом его собственных усилий, принесло с собой неожиданное чувство стыда, будто он прошел мимо чьего-то унижения, не ответил на призыв о помощи, естественному развитию событий предпочел... Чему же, собственно, было отдано предпочтение?

Для чего была начата работа, как не для освобождения от тяжести бытия? И ему ли капризничать, если его желание исполняется не таким красивым образом, как хотелось бы? И как быть, если снова представится такая возможность, что казалось теперь вполне реальным? Боли отдаться или страху? Или поднять как щит, значимость своих исследований, которым надлежит быть доведенными до конца? Может быть, они в самом деле приобрели за это время самостоятельную ценность? Написать книгу, прибавить новую главу к современному истолкованию мифа – не этой ли возможностью оборачивались его тоска и интерес к греку? Прислушавшись, не шевельнется ли что-то внутри навстречу этому искушению, Артур не уловил ничего, кроме неприязни. Даже

оставив в стороне вздорность предположения, что такого рода труд способен просветить современников, помочь им прийти в лад с самими собой, он сознавал, в каком мраке по поводу гармонии и равновесия находился сам, и насколько неуверенными были его попытки выбраться из этой темноты. Для стороннего глаза польза от его свидетельств была бы еще ничтожнее. А если прав грек, и при всем старании не суждено выйти за пределы простого любопытства, то ничего полезного не обещает работа и ему самому.

Пожалуй, он смог бы найти в себе силы одолеть страх, расстаться с надеждами дойти до конца своей истории и выбрать уже знакомую или какую-то новую форму агонии. Там, вероятно, он и так все узнает. А заодно, успокоит Сизифа. В конце концов, грек достаточно долго его обхаживает.

8.

О том, что царица готовит какое-то безумство, Сизиф узнал от фракийца, которого вскоре представил Медее, и тут же подумал, что по некоторым признакам мог бы сам догадаться о приближающемся неблагополучии.

Вновь он оказывал услугу всему городу. В Коринфе до сих пор не было знающего лекаря, люди спасались от болезней и ран случайными, сомнительными средствами, в основном – молитвами и жертвоприношениями. Язон, будто бы владевший искусством врачевания, не только его не практиковал, что, может быть, показалось бы неуместным для властителя и героя, но не испытывал и отеческой заботы об этой нужде своего народа. К тому же, с недавних пор он стал подолгу гостить в Микенах, где набирало силу сказочно богатое царство пелопидов. Он объяснял свои поездки необходимостью укрепить связи со златообильными Микенами, обещавшими в недалеком будущем стать средоточием всего полуострова, а неподкупная молва, между тем, свидетельствовала о том, что время Язон проводил не столько с враждовавшими за власть братьями, сколько с их женами и дочерьми.

Это был довольно распространенный и самый надежный способ установить прочные, взаимно обязывающие отношения между царствами. Что же касается уже существующих обязательств, то при необходимости всегда можно было найти лишние доводы, чтобы внести поправки. В данном случае их и искать особенно не стоило. Положение далекой чужестранки, колдовские способности, а более всего предательские, кровавые деяния, которые совершила Медее ради своего возлюбленного, не вызвали возражений лишь до тех пор, пока самому возлюбленному они казались привлекательными.

Вероломный обман отца, позволивший Язону завладеть Золотым Руном, жес-

токосердное убийство родного брата, надолго задержавшее погоню, пока безутешный царь Колхиды собирал в волнах предусмотрительно разбросанные останки сына, и венец коварства, где соединились и обман, и колдовство, и убийство, когда пообещав дочерям Пелия, у которого Язон оспаривал царство, что она вернет их отцу молодость, если они сварят его живьем, Медея прервала волшебство на самом бульоне – все это отнюдь не было для эллинов манифестацией предосудительного заморского нрава. Они могли бы и фору дать темпераментной дочери Ээта, но, как утверждала пословица, за своей спиной сумки не видать, и если ахейцам, ионийцам, спартанцам или коринфянам вздумалось связать свои владения союзом, не пришедшей кавказской царевне было диктовать моральные нормы. Уж Талоса-то, медного критского сторожа она совсем ни за что погубила, за одну ночёвку аргонавтов на знаменитом греческом острове.

Потере интереса к событиям, некогда связавшим Язона и Медею единими целью и чувством, немало способствовало длительное благополучие покоя, заставившее бывшего предводителя постареть и заскучать. Но совершить такую семейно-политическую реорганизацию ни с того, ни с сего было, разумеется, не просто. Пока Медее ничто не грозило, кроме унижения от простой супружеской неверности, которая тоже оставалась не более чем догадкой, ибо никто не решился бы открыто судачить о внебрачных связях царя. Пока вопрос не был поставлен ребром, любые толки вели бы лишь к неразберихе и беспорядкам, а их законопослушные коринфяне старались избегать.

Кто же занимал воображение коринфского владыки, пока Медея в отсутствие супруга правила городом?

Пелопиды – братья Атрей и Фиест были потомками Тантала. Это многое определило в их судьбе. Знаменитый предок давно изнывал от голода и жажды в Аиде за то, что подверг богов испытанию, попытавшись накормить их мясом собственного сына. При всей пустоголовости этой затеи, он все-таки отчасти преуспел, так как целиком погруженная в скорбь по пропавшей дочери Деметра блюдо отведала, и когда Пелоп был в назидание отцу оживлен, у него оказалось отсутствующим плечо.

Житейское любопытство тех, кто впервые знакомился с этой историей и пытался уточнить – какое именно плечо, оставалось не отвеченным. Да так ли уж это важно, в самом деле? Не более, чем быть осведомленным, с какой стороны носил на лице темное пятно оставленный Медеей в кипятке узурпатор Иолка. Что стоило бы отметить, так это наследственность признака, в соответствии с которой протез из сирийской слоновой кости, смастеренный калеке Гефестом, отзывался во всех его потомках пятном на плече на этот раз белым, что, впрочем, их никак не осветляло.

До поры до времени спасенный богами из отцовского котла Пелоп имел дело с обычными неприятностями. Затем судьба привела его в южную Грецию – или Апию, как

ее тогда называли – и, укрепившись в северо-западной оконечности этого полуострова, Пелоп весь его назвал в конце концов своим именем.

Начал он свою пелопею, посватавшись к дочери элидского царя, одолев его, по условиям сватовства, в скачках и женившись на Гипподамии. Состязание не было честным. Знай Медея его подробности, ей было бы что сказать в защиту своей страсти. Впрочем, возможно она кое-что знала и в одной из новых ссор с мужем могла бы об этом упомянуть.

- Я, такая-сякая, выросла в горах Кавказа, - сказала бы она, - но Гипподамия-то была эллинкой. Ей, спокойной и благоразумной, к лицу ли было так втюриться в незнакомца, чтобы вступив в заговор с возничим отца, его погубить?

- Любить никому не запрещено, - возражал бы ей Язон, - но надо и меру знать. Одно дело восковая чека в оси, нехитрая уловка, которая помогла ее избраннику победить в скачках...

- Что говорить! - поддакнула бы Медея, - Тем более, что и скачки-то были совсем не простыми. Неспроста на шестах вокруг дворца Эномая торчали головы прежних соискателей. Не помню, сколько их там набиралось, дюжина? Две? Не подарком ли Ареса были кони у царя Элиды?

- Но он и фору давал всем соперникам.

- Это с божественными конями тягаться?

- Ты знаешь много, но не все, - поучал ее Язон, как самонадеянную и малообразованную ученицу, - Известно ли тебе, что кони Пелопа тоже были крылаты? Знаешь ли, что колесницу ему подарил сам Посейдон?

- Я знаю, что благодаря форе, которую давал соперникам Эномай, ему удобно было поражать их копьем в спину. Что он и проделывал, будь они на Посейдоновой колеснице или нет.

- Тем больше причин было у Гипподамии сберечь жизнь юноше, который ей понравился.

- Убив отца?

- Не было у нее такого в мыслях! Все, о чем она просила Миртила, это ослабить одно колесо.

- Жаль, что не догадалась устлать обочину перинами и подушками до самого Истма. Насколько я успела убедиться, почва здесь, в добродетельной Элладе не менее камениста, чем у нас в Колхиде. А не помнишь ли, кстати, чем влюбленные соблазнили царского возничего? Не была ли ему, кроме половины царства, обещана еще и ночь с невестой?

- Ну, это уж никто бы не поверил, что такое можно обещать всерьез.

- Миртил поверил.

- За эту глупость и поплатился. Сама видишь, что не собирался Пелоп делить с ним Гипподамию. А как только тот попытался взять ее силой, тут же с жизнью расстался.

- А заодно с половиной царства. Так, стало быть, принято у вас выполнять договор.

- Что же ты хочешь? Чтобы мужчина, женившись, отдал жену другому?

- Нет. Я хочу, чтобы ты вспомнил, на что был способен сам там, в Колхиде. Как доволен был, когда я убила Апсирта, и мы ушли от погони. Он был мне братом. Но, может быть, мне следовало сразу покончить с отцом? Тогда не было бы и погони. Разумные греки, как видно, считают это меньшим злом. Так, что ли?

У Сизифа были основания предположить, что такие перепалки случались, эти удручающие препирательства, в которых на сторону Медеи вставали пошедшая против воли отца Ариадна, которая спасла из лабиринта Тезея, или дочь Коринфа, связавшая свою судьбу с разбойником, а Язона вдохновляли незавидные судьбы всех этих женщин, потерявших голову от любви. Но тогда уж надо было бы вспомнить, что споры эти вопиют о непоправимом разладе, потому что одержать в них верх не может ни тот, ни другой, и их опустошающий исход предрешен.

Что же касается победителя в скачках, давшего имя Пелопонесу, то к висевшему на нем проклятию Танталова рода добавилось теперь еще одно. Доверчивый Миртил, который согласился заменить воском металлическую чеку в колеснице своего хозяина, а затем попытался, по уговору, овладеть Гипподамией, за что был сброшен гневным женихом в море, успел проклясть обманщика, и клятву услышал его отец.

Вновь приходилось Сизифу слышать это имя, но тут в родстве сомневаться не приходилось, его подтверждала вся вызванная проклятием дальнейшая судьба пелопидов. Отцом Миртила был сам Гермес. Бог был оскорблен вдвойне, так как именно он когда-то по велению Олимпийца извлек из котла и воскресил нынешнего убийцу своего сына. Но мудреная, двойственная природа этого подчиненно-независимого духа предпочла отложить возмездие, растянуть его во времени и распространить на несколько поколений. Оно стало разворачиваться, когда Пелопу пришлось выгнать из дому двух своих сыновей, погубивших из ревности сводного брата.

Атрей и Фиест поселились в Микенах, но это была только краткая передышка, ибо деятельные силы проклятия уже приступили к работе. Тогдашний царь Микен Эврисфей, которому в свое время повезло получить в услужение Геракла, так пристрастился к роскошному обладанию могучим, исполнительным слугой, что не только не хотел его отпускать, но и после смерти героя, движимый уж вовсе бессмысленной обидой, взялся пре-

следовать его сыновей, оставив свой город на попечение одному из пелопидов. Из похода он не вернулся, а детей у него не было, так что Атрею можно было бы спокойно продолжать царствование, если бы у него не было брата, и если бы они не были отпрысками Пеллопа, отмеченными бледной проплешиной на плече.

Тяжба началась сравнительно невинно с соблазнения Фиестом жены брата. Эропа, страдая зудом награждать любовника подарками, добралась и до хранившейся у мужа в ларе шкурки золотого ягненка, которая по давнему завещанию Артемиды должна была принести владельцу право на царствование. В лицемерном порыве к законности Фиест, неожиданно овладевший залогом, предложил брату покончить с путаницей, положившись на волю богини и предъявив символ власти. Не подозревавший о краже Атрей быстро согласился и тут же утратил даже то условное право, которое у него оставалось по поручению сгинувшего Эврисфея. Когда обманутый муж и брат взмолился самому Зевсу, тот передал через посланца свою волю.

И еще раз приходилось называть имя стремительного гонца Олимпа Гермеса, явившегося теперь уже в непосредственной близости от Коринфа. Не в его обычаях лукавого миротворца было обнаруживать собственные чувства или намерения. Он добивался своего исподволь, добросовестно исполняя чужую волю. По поручению повелителя он посоветовал Атрею убедить Фиеста в необходимости последнего, окончательного испытания, которое утвердило бы власть в Микенах раз и навсегда. Атрей последовал совету, сказав брату следующее:

- Теперь, когда весь народ увидел, как воссияло золото барашка в твоих руках, все считают, что царствовать в Микенах надлежит тебе. Некоторые недоумевают, правда, каким образом попала к тебе шкура овцы, родившейся в моем стаде. Дело ведь в том, что весь уговор возник из моего обещания принести златорунного овна в жертву Артемиде, за что богиня, в свою очередь, пообещала мне царский трон. Я, конечно, затянул с обещанной жертвой, упрятал руно в ларь и как-то отвлекся насущными заботами. Да и не нам, братьям и царским сыновьям, обвинять друг друга в недостойных проделках. А посему, как уже сказано, я не оспариваю твоего права. Разве что какое-то невиданное знамение укажет нам, что мы согрешили против истинной воли богов. Трудно вообразить, что могло бы выполнить роль такого знамения, ибо оно должно быть поистине всеохватным. Ну, как если бы солнце вдруг повернуло вспять... А что ж, пожалуй, одно лишь это и могло бы убедить всех нас, что мы совершаем ошибку, что править Микенами следует все-таки мне. Ты ведь согласишься, что такой поворот событий не оставит уж ни малейших сомнений в том, на чьей стороне боги и судьба?

Предложение должно было показаться результатом полного отчаяния и умопомешательства. Фиест согласился еще быстрее, чем перед тем его брат. Но владыка Олимпа

не бросил слов на ветер. Опустившись накануне за пологие склоны Дервенакийского перевала, солнце взошло на следующее утро там же, будто мяч, ударившийся о землю Элиды, на которой запеклась кровь убитого Атреем и Фиестом сводного брата.

Не так уж давно это было, хотя с уверенностью говорили о катаклизме только сами микенцы. Впрочем, не так велики были и сами Микены, чтобы бог не смог за ночь повернуть их со всеми окрестностями на полкруга подобно гончару – привыкшие к частым сотрясениям почвы эллины ничего бы не заметили.

Так или иначе, Микены пришлось Фиесту покинуть. Быстро перестроив свои планы с расчетом на слегка отодвинувшуюся победу, он умыкнул с собой племянника, которому сумел затем, вдали от дома, всячески балуя мальчика и потакая любым его капризам, внушить неприязнь к собственному отцу. Не прошло и десятка лет, как подросший, окрепший юноша готов был выполнить любое поручение своего опекуна. Отца Плисфен, казалось, вовсе не помнил, и когда добрый дядя послал его в Микены, чтобы убить тамошнего правителя, некоего Атрея, юнец ухом не повел. Однако, со всем его молодым задором, сноровки парню не хватило. Его удар был предупрежден мужской рукой опытного воина, и Плисфен пал, пораженный мечом отца, который защищая свою жизнь, не очень разглядывал нападавшего. Но вот угроза миновала, и Атрею пришлось убедиться, что тяжба с братом не окончена. За свой вынужденный грех взбешенный сыноубийца готов был отомстить сторицей. Вспомнил ли он роковую авантюру деда Тантала, или безмолвно заявила о себе наследственность, хранившая в роду каннибальские замашки, но именно в этом направлении действовал Атрей, притворившись, что ни в чем не подозревает брата, и пригласив его в гости для примирения. Тело напрасно погибшего юноши было тем временем искусно разделано и приготовлено для пиршества.

Сколь омерзительными ни выглядели бы оба брата, ослепшие от ненависти и попеременно попадавшие в ее грязные липкие лапы, но в отдельные моменты этого соперничества приходилось хоть немного сочувствовать очередной жертве, чтобы самому не утратить человеческой природы.

Теперь наступил черед Фиеста испытать всю горечь семейной вражды. Встреча братьев за ломившимся от яств столом была не просто настоящим праздником, но редчайшим торжеством, настолько из ряда вон выходящим, что имя главного гостя стало с тех пор нарицательным, обозначавшим среди прочих атрибутов пиршества его избыточность, присутствие отборных, особо к случаю приготовленных блюд, которым надлежало вознести на самый верх гастрономического блаженства всех приглашенных на празднество, но прежде всего его виновника и почетного главу стола.

Поистине трудно было бы превзойти богатство и тщательный выбор угощений для Фиеста, среди которых особое место занимало жаркое из плоти собственного сына.

Самим богам не удавалось привыкнуть к этой склонности Танталова рода. Поступок Атрея, лишь отчасти оправданный жаждой мести, снова вынудил их вмешаться. Прежде всего был восстановлен привычный ход дневного светила, так как боги убедились, что даже эта радикальная мера к равновесию не привела. Фиесту, которому после насильственного превращения в людоеда и нравственной гибели грозила теперь самая обычная смерть, боги помогли бежать, одновременно обрушив на город неурожай и пообещав, что избавят Микены от этого несчастья, только когда Фиест будет возвращен.

В развитии поединка – и Микенского царства в целом – образовался своего рода тупик, который как раз совпал с проснувшимся в Язоне интересом к чужим делам и длительному пребыванию вне дома. Для всех участников спора он оказался самым подходящим кандидатом в посредники: он был независимым лицом, не заинтересованным ни в чем кроме мира; он сам правил царством, мог говорить с царями на равных; о губительной братской вражде ему было известно из первых рук, а уж все тонкости, связанные с изначальной причиной междоусобицы – золотошерстным барашком, миниатюрной копией знаменитой добычи, которую он привез из Колхиды, составляли основное содержание самых деятельных лет его жизни.

Начав с Атрея, бившегося над неразрешимой загадкой – как спасти свой народ от устойчивого неурожая, не потеряв при этом трона, Язон разъяснил царю, что вернуть Фиеста в город отнюдь не означает уступить ему весь дворец. Достаточно отвести брату помещение с крепкими стенами, предпочтительно подземное и с надёжными запорами. Когда у Атрея прояснилось в голове, затуманенной властным повелением богов и привычкой мыслить в конечных категориях, он проявил себя не менее хитроумным, чем его новый советник, решив, что пока будут идти поиски скрывавшегося Фиеста, стоит последить за его оставшимися детьми, а если удастся, привлечь их на свою сторону. Беда была в том, что в мясорубке вражды, а определение это уже почти лишилось смягчающего ореола метафоры, гибли пока именно дети братьев, и оставалось их совсем немного. Однако, были сведения, что где-то неподалеку, в безвестности и уединении живет дочь Фиеста, воспитывая сына. Найти Пелопию сыщикам царя было гораздо легче, чем вступить с ней в переговоры, но тут как раз совершенно незаменимым стал Язон, не представлявший для дочери изгнанника видимой опасности, даже наоборот – располагавший к себе славой героя и главы мирного соседнего царства.

Пелопия долго оставалась пугливой и неразговорчивой, но в конце концов не знавшему устали Язону удалось ее окончательно очаровать и тогда он выведал у несчастной женщины позорную тайну. Сын, которого она растила, был зачат ею от собственного отца.

Так как для Язона это было полезной новостью, ему не трудно было проявить

сострадание, постепенно избавляя молодую мать от угрызений совести, становясь ее близким другом и единственным утешителем. А благодаря этому, доверительные, если не сказать отеческие, отношения установились у него и с ее подраставшим сыном, отца своего не знавшим. Открыл Язон и причину, по которой Фиест решился на кровосмесительную связь. Среди небесных волеизъявлений, которыми боги пытались рассудить запутавшуюся в нечеловеческих средствах вражду братьев, было обещание Фиесту родить заступника с помощью собственной дочери. Боги как будто не видели выхода без использования столь же пагубных средств. Узнав об этом, посредник быстро переманил мальчишку из убогой материнской лачуги в роскошный дядин дворец.

Другой участницей переговоров была неверная жена Атрея Эропа, не забывшая еще свояка и любовника и, может быть, зная, где его найти. Боясь разоблачений, она ни словом не смела обнаружить хоть какие-то остатки связей с изгнанником, но очень обрадовалась, когда в ее окружении появился сторонний, независимый муж, не склонный судить ее слишком строго, заинтересованный более в примирении, чем в преследовании виновников раздора.

Избрав инструментами своих посреднических усилий этих двух женщин, чье недостойное поведение позволяло пользоваться их слабостями, Язон проводил в их обществе много времени, что и послужило основанием для слухов о его супружеской неверности.

Слухам Медея значения не придавала. Даже все удлинявшееся одиночество ее, казалось, отвечало собственным намерениям царицы, которые простирались далеко за пределы псевдогосударственных забот супруга. Но узнав она доподлинно об измене Язона, уж конечно ее ответный удар – решительный и сокрушающий – последовал бы незамедлительно. Кем ее никак нельзя было представить, так это отвергнутой женой.

У Сизифа не было особого расчета привести своего полезного гостя именно к Мее. Будь Язон в это время во дворце, они пришли бы к царю. Но царь вновь вел свои миротворческие дела в Микенах, а Сизиф не видел причин откладывать осуществление плана, который представлялся выгодным вдвойне. Если бы все получилось так, как он хотел, Коринф обрел бы наконец толкового врача, тогда как фракиец смог бы вполне независимо жить в городе, зарабатывая на пропитание одним из наиболее понятных своих талантов. Чтобы царская пара не оказалась вынужденной верить ему на слово, Сизиф собирался предложить им испытать Гиллариона, поручив ему излечить одного из наследников трона.

Ферет страдал легким, но досадным недугом – его речь часто прерывалась, он застревал на каком-нибудь звуке и сколько ни старался продвинуться дальше, помогая себе головой, руками, а потом и всем тельцем, кроме повторяющихся спазм, мучительных и

для него, и для всех, кто наблюдал за этой схваткой ребенка с демоном косноязычия, ничего не продолжалось. Самую острую жалость вызывал конец поединка, когда мальчик сдавался, замолкал, и, глубоко вздохнув, обводил окружающих виноватым взглядом.

Прежде чем отправиться во дворец, Сизиф спросил у фракийца, сможет ли он исправить этот изъян, а заодно поинтересовался, не противоречит ли мысль устроить таким образом судьбу бродяги его собственным желанием. Воодушевления тот не выказал, но и не возражал, как если бы заранее был согласен на любые предложения своего гостеприимного хозяина. По поводу же болезни царского сына сказал, что это пустяк, о котором не стоит беспокоиться.

Была у Сизифа еще одна причина отвести прорицателя во дворец. Он предполагал, что рано или поздно колхидская царевна узнает об умении фракийца по-свойски обращаться с высшими силами, и тот, возможно, станет для нее гораздо более благодатным собеседником, заменой ему самому, по большей части, исчерпавшему свои аргументы в спорах о бессмертии.

Уговаривать Медею не пришлось, Гилларион сразу же завладел ее вниманием, при том, что сам еще не проронил ни слова, а лишь с любопытством поглядывал на царичу.

Она обращалась с вопросами к Сизифу, говоря о его спутнике в третьем лице. И только когда вопросы эти стали все больше уклоняться в сторону от способностей лекаря, пользы, которую они могли принести ее сыну, а потом и всему Коринфу, и напоминать одну из их прежних бесед вдвоем, она спохватилась. Будто вовсе забыв о присутствии фракийца, Медея заговорила о самом Сизифе, об обиде, которую ему нанес Автолик, и о наказании вору, с просьбой о котором к ней обратились старейшины города.

- Прощу тебя, не придавай большого значения их гневу, - сказал Сизиф, - Этот шумный плут испытал достаточно унижений и, надо думать, расстанется теперь со своими наклонностями. Овцы ко мне вернулись с помощью наших отзывчивых сограждан, за что я им вечно буду благодарен. А у Автолика дочь на выданье, и даже самое легкое из наказаний тяжело отзовется на всей семье. По-моему, было бы разумнее устроить так, чтобы он покался при народе, а мы от всего сердца его простив, забыли бы весь этот эпизод, как будто он не случался. Я думаю, Автолик не откажется. А со старейшинами я сам могу поговорить, если ты того пожелаешь.

Он говорил медленно, давая Медее собраться с мыслями.

- Раз таково твое желание, будем считать, что само-свето-званцу повезло совершить преступление в отсутствие царя. Узнай об этом Язон, давно бы уж поднимал Автолик пыль на беотийских дорогах, ибо ни один правитель на всем Пелопонесе не согласился бы его принять. А что скажешь ты, лекарь? Возможно ли, чтобы вор бросил свои при-

вычки?

- Все бывает, венценосная. Лишь одного я не встречал в своей жизни никогда – города без вора. Хорошо, когда люди знают его в лицо.

- Когда ты можешь приступить к лечению, и сколько времени тебе понадобится?

- Сразу же, царица. Но позволь мне ответить на вопрос, который ты не стала задавать. Сына я у тебя заберу и буду с ним неотлучно. А чтобы мальчик не заскучал, надо бы тебе отпустить и его брата. Чем дольше ты сможешь без них вытерпеть, тем надежнее твой сын избавится от недуга.

Взгляд Медеи стал тяжелым и неподвижным.

- Не мать ли ты считаешь причиной болезни сына?

- Разве я сказал, что забираю его навсегда? - твердо отвечал Гилларион, - Что пользы было бы совать в костер однажды сожженную руку?

- Тогда это вздор! Можешь жить во дворце. Я дам тебе достаточно места.

- Не много места прошу я у тебя, владычица Коринфа. Другое место вернет твоему сыну гладкую речь.

- Прости, царица, что напоминаю о себе, - вмешался Сизиф, жестом останавливая фракийца, - Но поверь, этот человек знает, что говорит. Надо было тебе видеть, как стонал от боли мой Главк, и как четверть часа спустя он смеялся, готовый вскочить на ноги. Я не спрашивал его, как он собирается лечить моего сына, и надеюсь, что сократил тем самым страдания мальчика. Если я заслужил твое доверие, позволь мне предложить для твоих детей свой дом. Я присмотрю за всеми тремя. А жена моя постарается на время заменить мальчикам мать.

Мужчины не догадывались тогда, какое трудное решение они вынуждали ее принять. Дни ее материнства были сочтены, во всяком случае простейшая, самая драгоценная их часть, переполненная взаимными ласками, созерцанием младенческого облика и беготни, звуками голосов и запахами родной плоти. И уже самой определенностью своей краткий срок, когда она могла во всю силу материнской страсти надыхаться и насмотреться, они хотели сократить еще больше. Стоило ли лишаться этого счастья для того, чтобы избавить одного из сыновей от пустякового, в общем-то даже милого временами недостатка, если ему совсем недолго оставалось пребывать здесь, где этот изъян только и способен был проявляться? А коли решиться на это, должна ли она ради совершенства одного терять возможность побыть это время с другим?

Послышался частый, быстро приближавшийся топот, и в зал влетели мальчишки. Увидев незнакомца, они замедлили бег, но лишь на мгновение, и вновь понеслись по кругу, то с одной, то с другой стороны огибая колонны, пока один не настиг другого, звон-

ко хлопнув его ладонью по голому плечу. Потом одновременно, словно по команде бросив игру, они подошли к Гиллариону, потные и задыхающиеся. Проигравший, который был всего на год младше, чуть опередил второго, но, остановившись перед фракийцем, вдруг повернулся к брату и легонько ткнул его кулачком в бок.

- Ты принес нам вести от отца? - спросил тот.

- Мне еще не приходилось встречаться с вашим славным отцом, - отвечал Гилларион, - А ты прекрасно владеешь умением догонять, я хотел бы узнать твое имя.

Мальчик назвал и уже хотел назвать брата, но не успел.

- Однако, не менее искусен и Ферет в убегательной сноровке, - продолжал фракиец, - Я уверен, что, поменяйся вы местами, победа досталась бы ему, ибо силы ваши равны, а побеждает всегда преследователь.

Тут же позабыв о своей слабости, Ферет заговорил:

- Папа нам рассказывал о собаке и лисице, которые никак не могли догнать д-д-д... – это был как раз тот обидный момент, когда природный недостаток вновь мешал ему высказаться единым духом.

- ...и великий Зевс остановил погоню, обратив животных в камни, - договорил за него Гилларион, - Так что можно сказать, что никто из них не одержал верха. А теперь давай посмотрим на это чудо с другой стороны. Добрый пес Кефала никому не принес вреда, тогда как хищная тевмесская лисица не только таскала скот, но поела людей. Заставив ее навечно улечься камнем на фиванской равнине, владыка Олимпа остановил разбой, и разбойница окончательно проиграла. Правда и то, что за это торжество справедливости безвинный пес заплатил жизнью. Но так часто бывает, собака, возможно, готова была пожертвовать собой, чтобы победить зло. Так чья же это была победа?

- А что с-с-случилось бы, если бы лиса погналась за собакой? - продолжал допытываться мальчуган, которому удалось в этот раз сравнительно легко преодолеть заминку.

- Это уж была бы не лиса. Такое противоречит всей природе и порядку. Там ведь дело было не в том, чтобы догнав, хлопнуть лапой по хребту и поменяться местами. Если бы твоя неправдоподобная лиса чувствовала в себе силы сразиться с отважной собакой, ей незачем было бы убежать.

- Р-р-р... - зарычал Ферет, обернувшись к брату и подняв руки со скрюченными пальцами. Этот звук не мучал его, собачья угроза была как раз тем, что ему хотелось произнести.

Вновь звонко застучали пятки по мраморному полу, они умчались так стремительно, что дробные звуки не сразу успели за ними улететь.

- Завтра я дам тебе ответ, - сказала Медея, - Ты, вероятно, способен вылечить

моего сына, но условия твои неожиданны для меня. Мне нужно подумать.

По дороге домой Гилларион озадачил Сизифа, без конца выспрашивая у него все, что было тому известно о царице. Он, вроде бы, никогда не нуждался в помощи, а те сведения, которых ему не хватало, узнавал собственными средствами, по большей части необычными. В конце концов Сизиф потребовал у фракийца сказать, к чему тот клонит.

- Большую тревогу предстоит пережить этому городу, - сказал Гилларион, взглядевший непривычно хмурый, - Тебе, может быть, и не стоит беспокоиться, так как я не вижу угрозы твоему дому, но царство ожидают перемены. Я не удивлюсь, если в Коринфе прольется кровь.

Тут наступил черед Сизифа вытягивать у помрачневшего фракийца, что за ненастье он пророчит. Но тот отказался что-либо еще сообщить и лишь проговорил, глядя под ноги и мерно кивая головой в такт своим шагам:

- Мне нужно еще раз увидеться с царицей, чтобы я мог сказать тебе больше. Завтра я пойду к ней за ответом один.

* * *

- Где Сизиф? - спросила Медея, когда на следующий день Гилларион явился во дворец, - Или он считает тебя достаточно важной персоной, чтобы самостоятельно входить в царский дом?

- Венец славы и благодетельница Коринфа, ты сказала, что дашь ответ мне, а не ему. Благородный Сизиф без сомнения воспользовался бы случаем, чтобы еще раз увидеться с тобой, если бы я не упросил его отпустить меня одного. Я надеялся, что твоего великодушия достаточно, чтобы не ограничиться простым ответом и обменяться словом-другим с твоим слугой. Этого с лихвой хватило бы, чтобы оплатить мою услугу, если ты по-прежнему в ней нуждаешься.

- Ты, стало быть, не просто лекарь? И не боишься держать речь перед царями?

- Я много боюсь, царица. Боюсь холода и голода, людей боюсь и богов. Тебя сейчас боюсь до дрожи в коленях. Но такой страх положено преодолевать человеку, а не оказаться человеком я боюсь больше всего на свете.

- Ты человек, ты храбр, ты умеешь лечить людские недуги, и ты полагаешь, что этого довольно, чтобы пробудить мое любопытство?

- Нет, жемчужина Колхиды, одного этого было бы мало.

- Ты отнял у меня слишком много времени. Чего ты хочешь?

- Готова ли ты расстаться с детьми, царица?

Фракийцу пришлось выдержать долгий прямой взгляд Медеи, в котором ему

не удалось, однако, ничего прочитать.

- Ответ мой был готов, - сказала она наконец, - Но ты вновь поселил во мне сомнения. Если тебе есть что сказать помимо этого, говори. Постарайся быть кратким.

- Будет жаль, если ты переменишь свое решение, владычица Коринфа. Нет ничего, что мне хотелось бы сильнее, чем сделать твоих равно смысленных сыновей столь же равными в способности высказывать свои мысли. Но если ты предпочтешь оставить все как прежде, у тебя наверняка есть для того серьезные причины, которых мне и знать не подобает. А может быть, довольно самой простой причины – как видно я не подхожу для той работы, за которую пообещал взяться, раз не сумел ясно изложить свои намерения и навел тебя на мысль, будто мне есть, что сказать внучке Гелиоса и правительнице одного из влиятельнейших царств Эллады. Вся моя надежда была в том, что ты – ты, а не я, будешь устами истины и уделишь мне толику своей мудрости, ибо я нахожусь в затруднении.

Медея слушала довольно равнодушно, но не прерывала фракийца, и он продолжал:

- Мой давний знакомый, приютивший меня Сизиф был так добр, что решил позаботиться о моем благополучии, равно как и о здоровье коринфян. Мне нечего было возразить на его предложение. Но бремя истинной заботы о народе лежит на тебе и твоём муже, и вам надлежит заглядывать куда дальше, чем любому горожанину. В моем умении врачевать нет ничего чудесного или загадочного. Твой царственный супруг, воспитанный Хироном, мог бы поведать тебе, если ты не знала этого и до него, что нет такой болезни или раны, которая не произрастала бы из душевного изъяна. И тот, кто берется лечить руку или ногу, должен, по всем установленным богами правилам, начинать с исцеления души. Не скрыто от тебя и то, что души коринфян находятся в глубоком беспорядке, твой народ не отличается в этом от жителей любого другого царства. Меня не пугает такая трудная, требующая времени задача, но напряги свое воображение, царица, загляни вперед со всей прозорливостью, данной тебе божественным происхождением. Вообрази, что правишь умудренным и просветленным народом. Найдете ли вы с Язоном в своем сердце довольно любви и сострадания, чтобы возвысившись над этими душами, служить им путеводной звездой? Ведь царь, с его божественной властью и есть жизненный источник царства. Сизиф может не задумываться об этом, но тебе без сомнения ведомо, что вручая мне целительную чашу, ты соглашаешься отпить из нее первый глоток. А без этого не стоит и браться за такую затею, она не приведет к добру. Вот о каком решении я просил бы тебя мне возвестить. Поэтому я пришел сегодня один. Сизиф предложил тебе нечто большее, чем подразумевал, и, хочет он того или нет - решаться это будет между тобой и мной.

Погруженная в свои мысли Медея не отвечала.

- Мне нечего больше прибавить, - сказал после недолгого молчания Гилларион,
- Сберегая твоё время, я готов смиренно выслушать ответ и удалиться.

- Ты прав, - ответила царица, - Сколько ни размышляй, ничего нового не придумаешь, кроме того, что нам уже известно. Надеюсь, тебе удастся вывести на истинный путь коринфян. Может быть, тебе повезет и с подходящим правителем города. Обо мне же не беспокойся. В другое время я, возможно, более внимательно отнеслась бы к твоей проповеди, но ты опоздал. В любом случае, мой и Язона путь с твоим не пересечется. Передай Сизифу, что сегодня перед заходом солнца я сама приведу к нему в дом детей.

* * *

Готовясь к приему высоких гостей, Сизиф чувствовал себя беспокойно. Его радовало доверие царицы, доволен он был и тем, что задуманный план начал осуществляться без задержки. А вместе с тем росла в его душе тревога, посеянная вчерашним предсказанием фракийца, который, укрепившись в предчувствиях, не смог, однако, сообщить ему ничего нового, кроме того, что царствование Язона и Медеи, вероятно, подходит к концу. Но и одного этого было бы достаточно, чтобы растревожить почти забытые надежды и новые подозрения.

Пока Гилларион ходил во дворец, Сизиф успел навестить Диомеда, которого хотел поблагодарить за содействие и уговорить отказаться от преследования вора. Диомед, куда-то собираясь, предложил пойти вместе, чтобы поговорить по дороге. Сизиф не успел еще высказать всех своих соображений, как сосед как-то торопливо согласился, тут же предложив ему заглянуть к Эвфону, где несколько старейшин должны были обсудить важные новости. Сизиф напомнил, что, не принадлежа к числу старейшин, он не вправе принимать участие в таком совете. Но Диомед настаивал, говоря, что, по мнению многих, Сизифу давно пора было войти в их круг, и что сейчас как раз тот случай, когда его слово может оказаться полезнее всего.

Их встретили так, будто присутствие Сизифа было само собой разумеющимся, а новость, которую изложил четверым уважаемым коринфянам пятый, пришла из Микен. События там принимали дурной оборот, но опаснее всего было непосредственное участие в них коринфского царя, который, похоже, по уши завяз в самой неприглядной истории.

Думая, что помогает микенскому правителю восстановить порядок, Язон слишком открыто связал себя с Атреем, чья судьба была отнюдь еще не решена. Он далеко продвинулся в хлопотах. Сын сбежавшего соперника Атрея, Эгисф давно уже жил в микенском дворце, пользуясь славой царского любимца. А сыновьям Атрея удалось

наконец разыскать и самого Фиеста, которого они выкрали в Аттике и тайно привезли домой, где он был по совету Язона заточен в глухой подземной камерке. Благословением Микенам явились впервые за много лет покрывшие поля всходы ячменя, однако и эта зелень не примирила царя с братом. Самая последняя новость заключалась в том, что Атрей, не находивший себе покоя при живом Фиесте, даже погребенном в каменном застенке, намеревался избавиться от него окончательно и будто бы уже поручил расправу своему новому фавориту.

Все тут было коринфянам не по нраву, и все же они не стали бы волноваться из-за чужих распрей. Даже участие в них собственного царя, не очень их обеспокоило бы, завершишь эти распри с пользой для Коринфа. Но вот в этом-то как раз и не было никакой уверенности, так как войти к отцу, чтобы совершить злое дело, должен был его сын. Этот развязный, драчливый юнец, которому в конце концов открыли позор его рождения, не назвав имени отца, видимо считал, что раз он был произведен на свет таким незаконным образом, то и самому ему не пристало считаться с какими бы то ни было законами. Эгисф открыто поносил мать, отказался видеться с ней, а о собственном отце сквернословил так грязно, что покровители его покатывались от хохота. Пелопия же, лишившаяся ребенка, обезумела от одиночества, так как и Язон оставил ее, как только удалось заманить сына во дворец. Она бродила по округе, как нищенка, громко жалуясь на богов, обманувших ее, вынудивших родить себе одновременно сына, внука и брата, а теперь лишивших всякого смысла эту позорную жертву. Ибо не холемым, купающимся в роскоши любимцем Атрея надлежало быть Эгисфу, а суровым мстителем за своего униженного отца.

В микенском дворце не обращали внимания на вопли потерявшей рассудок, никому больше не нужной оборванки, но рассудительных коринфян этот слух заставил насторожиться. С обещаниями богов следовало обращаться очень осторожно, события в Микенах могли обернуться совсем не так, как того хотелось Атрею и Язону. Самое время было коринфскому царю уносить оттуда ноги, но он как будто и не думал возвращаться.

Не попытаться ли найти такого человека, который рискнул бы отправиться в Микены и пока не поздно уговорить Язона обратить взоры к своему собственному цветущему царству у Истмийского перешейка – вот о чем размышляли старейшины, малопомалу склоняясь к тому, что если кто мог бы справиться с такой задачей, так это Сизиф.

- Но не нужно ли прежде всего оповестить обо всем царицу? - спросил он.

Переглянувшись, коринфяне отвечали, что да, это было первым, что пришло им в голову. И они уже пытались со всей осторожностью намекнуть Медее о возможной угрозе. Но ей как будто было известно даже больше, чем им самим. Царица довольно равнодушно отнеслась к их призыву, а они были до такой степени взволнованы, что осмелились напомнить ей об ответственности за весь город, если уж она по каким-то там,

не вполне доказанным причинам не спешит вызволять супруга. И тогда царица быстро поставила их на место, повелев заниматься своим делом и не беспокоиться о царстве, о котором она, когда придет время, позаботится так, как они и вообразить себе не смогут.

Сердце у Сизифа подпрыгнуло, но он, стараясь ничем не выдать волнения, попросил коринфян дать ему срок до завтра, предупредив, что, может быть вовсе не сможет взять на себя поручение, если у него в доме поселятся царские дети.

Узнав у Гиллариона о решении Медеи, Сизиф поспешил к жене, чтобы сообщить ей, кого им предстоит принять у себя в доме.

- Я чувствую симпатию к гостю, уж не говоря о том, как благодарна я ему за Главка. А все же кажется мне, что именно с ним явились в наш дом новые заботы, - сказала Меропа, выслушав супруга и согласившись сделать все, что нужно для сыновей царицы.

- Мне все это видится по-другому, - ответил Сизиф, - Давай-ка я кое-что тебе расскажу. Ты увидишь, что заботы пришли бы и без него, а фракиец, пожалуй, лишь вовремя поспел, чтобы помочь нам справиться с ними, не понеся большого урона.

Сизиф поделился с плеядой всем, что узнал от старейшин. Не скрыл он и предчувствий Гиллариона, добавив, что как бы это ему ни претило, а фракийцу он склонен верить.

- Так ты думаешь, что эта ужасная женщина нарочно отсылает детей из дворца, чтобы им не пришлось увидеть ее нового злодеяния?

- Нет, сказать по правде, об этом я не подумал. Может быть, ты права, хотя я так и не знаю, что собирается сделать Медея.

- В том-то и страх, что никто не в силах этого вообразить. А когда мы узнаем, уже поздно будет.

- Это – ее собственные слова. Они как раз подтвердили Гиллариону его опасения. Он говорит, что пробовал отвлечь Медею от ее намерений, предлагал ей свою помощь. А царица ответила, что поздно, хотя как будто ничего непоправимого еще не произошло. Но я хочу признаться тебе в одном, не совсем понятном волнении моей души, - продолжал Сизиф, - Я верю всему, что о ней рассказывают, думаю даже, что на совести у нее много других преступлений, о которых вовсе не знают люди. И вместе с тем, мне ее жаль. Ведь ты подумай: если мерять все, что она натворила глубиной ее страсти к Язону, поневоле испытаешь благоговение. Многие ли из нас готовы так позабыть о себе?

- Позабыть о других – ты хочешь сказать? Оплачивали эту великую страсть другие, кого даже не просили об этом.

- Да, верно. Я не оправдываю ее грехов. Но, должен признаться, за те несколько встреч с ней, о которых я тебе рассказывал, я убедился, что царица наша не похожа на

похотливую сучку, неспособную ни на что, кроме как тереться боком о своего кобеля да рвать клыками любого, кто станет ему поперек дороги. Мне кажется, от нее не укрылось, как с каждым беззаконием чернеет ее душа, и все более неотвратимой становится расплата. Единственным утешением был их счастливый союз с Язоном. Но и ему, как будто приходит конец. То, что мы видим сейчас, это, может быть, последние судороги перед казнью. Пожалуй, она ее заслужила, но не горько ли наблюдать за этим правосудием? Мы ведь не взяли бы казнить ее собственными руками. Да и кто мы такие, чтобы судить Медею.

- Как она тебя заворожила! Наверно, окажись на месте Язона ты, счастье колдуньи продолжалось бы бесконечно.

- Почему ты хочешь меня уязвить? Разве я сказал что-то обидное?

- Если уж обижаться, то только на судьбу. И вместе с тобой завидовать этой безмерной страсти. Я не догадывалась раньше, что можно мерять чувство количеством совершенных во имя него убийств.

- Ты делаешь мои слова более грубыми, чем они были на самом деле. Конечно, это не единственный способ говорить о чувствах. Но я по-прежнему считаю, что если посмотреть на судьбу Медеи с этой стороны, наш суд, возможно, будет справедливее.

- Принесет ли тебе удовлетворение, если я изловчусь отравить дочь Автолика?

- Боги милостивые! Что за мысль?

- Или ты, подобно Язону, пресытился нашим, слишком обычным счастьем и предпочел бы сохранить ей жизнь?

- Единственная моя, только не говори, что ты поверила какой-то новой сплетне.

- Скажи, что это ложь, и я больше не вспомню об Антиклее.

- Это бессовестная и смехотворная ложь! В тот единственный раз, когда я был в доме Автолика – это случилось после кражи наших овец, я был там не один... - Сизиф говорил все медленнее и вдруг замолчал.

Плеяда сидела прямо, вытянувшись всей узкой спиной и отвернувшись от него. Сизифу хотелось заглянуть ей в глаза, но он не решился. Поднявшись, он отошел на несколько шагов, затем вернулся.

- Я должен был рассказать тебе все тогда же. Это было похоже на помрачение. Я не помнил себя от гнева. Мы действительно пришли к Автолику целой толпой, но в дом я вошел один и выгнал его жену, и несколько мгновений мы оставались наедине с Антиклеей. Я так устыдился своей ярости, что потом выбросил из памяти все, что там происходило. То есть, там ничего не происходило, кроме того, что дева решила, как видно, спасти отца, пожертвовав своей невинностью. Наверно что-то в моем облике дало ей право поду-

мать, что это возможно. Не знаю, что со мной случилось. Да это был как будто и не я. И тому, другому, хотелось разделаться с Сизифом, наступить на его жизнь, которая представилась вдруг нескончаемой чередой неудач. Но в какой-то миг мне открылось, что бог случайности и обмана, помогавший поймать вора, уводит меня ещё дальше, тешась своей страстью к чужой беде. Тогда я пообещал ей, что свадьба состоится, и ушел.

- Этот бог... - проговорила Плеяда после недолгого молчания, - имени которого ты не называешь... Его владения должно быть обширны и не сводятся лишь к обману и случаю? Не он ли провожает души умерших в подземное царство?

- Так говорят, - ответил Сизиф.

- Служит посланцем владыке Олимпа, выполняя поручения, о которых иногда лучше бы не знать...

- Да.

- А не его ли напряжённому сраму стоят памятниками каменные столбы по всей Элладе?

Сизиф кивнул, и хотя Мeroпа не могла этого видеть, ответ был таким, какого она ждала.

- Тебе придется приложить немало сил, чтобы убедить людей в том, что дитя, которое родится у Антиклеи, будет сыном Лаэрта, - сказала она, так и не взглянув на мужа.

- Я виноват перед тобой за это беспамятство, - продолжал Сизиф, - но никакое помрачение не заставит меня позабыть о плеяде. А если уж говорить о зависти, мне иногда кажется, что это как раз Медея завидует нам с тобой.

- Она знает, что делает. Кто мы такие, чтобы судить – спрашиваешь ты? А кем мы должны были бы стать, чтобы получить право на суд? Ведь божеская справедливость тоже остается, по большей мере, непонятной. И каждый может получить это право, если у него достанет сил утвердить его за собой. Я буду матерью всем четверым так долго, как это понадобится, но пожалуйста, не говори со мной больше о несчастиях Медеи... Не понимаю, почему она отправляет детей к нам, если их как раз и выбрала своей новой жертвой.

- Откуда ты знаешь? - сказал остолебневший Сизиф.

- Разве не это она пыталась тебе внушить во время ваших бесед? Странно, что она ни разу не упомянула имя богини-матери. Если у тебя будет случай, напомни ей, чем кончились попытки той даровать бессмертие сыну элевсинского царя.

Но прежде чем такой случай представился, заговорить об этом с царицей пришлось самой плеяде.

Фракиец с мальчиками остался в доме, а они вдвоем вышли к воротам, чтобы

встретить Медею с детьми, которых сопровождали кормилица и полдюжины воинов. Четверо несли две крытые корзины. По углам двора теснилась челядь, которой не так часто приходилось видеть царицу вблизи.

Оставив охрану с кормилицей снаружи, Медея вошла в дом, не глядя по сторонам и как будто совсем не интересуясь его убранством. Детей она держала за руки.

- На все время, пока дети будут здесь, у твоих ворот останется стража, - сказала она Сизифу. Затем обратилась к фракийцу, - Ты все еще отказываешься назвать срок?

- С твоей доброй волей и божьей помощью, он может оказаться совсем коротким, владычица Коринфа. А чтобы сократить его еще более, позволь мне со всеми детьми покинуть вас прямо сейчас. Мы выйдем на воздух и как следует познакомимся.

Мать отпустила сыновей, те пошли за Гилларионом и мальчиками Сизифа, с любопытством разглядывая Главка, который все еще немного хромал.

- Иди и ты, Сизиф, - попросила царица, - Нам, матерям, нужно кое о чем договориться. Но не уходи далеко. Я хочу потом обмолвиться словом и с тобой.

- Как прикажешь, - ответил Сизиф, оставляя женщин одних.

Они присели на лежанку, полуобернувшись, почти касаясь коленями.

- Сколько лет мы живем вместе в этом городе, а виделись до сих пор только издали. Моя это вина или твоя?

- Ничьей вины тут нет, царица. Должно быть богам не хотелось, чтобы мы разглядывали друг друга.

- Я даже знаю, почему. Нет ничего на этой земле, что могло бы послужить причиной соперничества между нами. Обе мы красивы, обеим повезло встретить единственного мужчину и найти в нем ответное чувство, дети твои столь же здоровы и хороши собой, как Мермер с Феретом. А все же лучше бы нам не встречаться. Твой небесный облик все переворачивает у меня внутри и будит недобрые чувства. Мы похожи на два летящих навстречу камня. Только я пытаюсь подняться к небесам, а ты спускаешься с небес на землю.

Плеяда промолчала.

- Сумеешь ли ты окружить мальчиков той заботой и теплом, к которым они привыкли?

- У меня ведь тоже двое. Тебе показалось, что они чувствуют себя заброшенными?

- Прости меня. Сейчас не самые счастливые дни моей жизни, мой язык говорит совсем не то, что у меня на уме.

- Не тревожься. Если бы ты хотела сохранить детей, ты не нашла бы более надежного места.

- Странно. Я не предполагала, что мне будет так покойно и хорошо говорить с тобой.

- Это только потому, что и мой язык отказывается произнести то, о чем кричит сердце.

- Говори! - вскрикнула Медея, но никто в доме не смог бы этого услышать, так как женщины уже давно перешли на шепот, - Я хочу знать все, что ты пытаешься утаить. Мы видимся в последний раз, и, может быть, ты пожалеешь, если отпустишь меня, не открыв своего сердца.

- Не губи детей, Медея.

- Тихо! -- вновь вскрикнула царица, подняв руки к лицу Мeroпы, будто торопясь зажать ей рот, - Нет, нет, продолжай, но не так громко. Ты не знаешь, о чем говоришь. Какая же мать лишится разума настолько, чтобы пожелать зла своим детям? Ты можешь думать обо мне как угодно плохо и, скорее всего, не дойдешь и до середины той мрачной пещеры, в которой с давних пор ютится моя душа. Но если там брезжит еще для меня хоть какой-то свет, он исходит от моих сыновей. Я не только не собираюсь гасить этот светильник. Я разожгу его таким ярким пламенем, что он будет гореть вечно.

- Ты грезишь, царица. Ты хочешь взять на себя то, что не удастся и богам.

- Да, да! Твой муж убеждал меня в том же. Но ни он и никто другой не знают того, что я хочу открыть тебе. Знаешь ли ты, кто сжалился надо мной в моей душевной нищете? Знаешь ли, что сам Зевс предложил мне свою грозную руку? А теперь догадайся, каков был мой ответ Олимпийцу. Нет, я не стремлюсь в небожители, одного мужчины мне хватило на всю жизнь. Но что явилось неожиданной наградой, это благосклонность его супруги, великодушной Геры, которая, будто отвечая самым тайным моим помыслам, обещала дать вечную жизнь моим сыновьям.

- Хвала небесам! Будем молиться, чтобы великой Гере открылось, как это сделать. И чтобы никто ей не помешал, как помешала другой богине плаксивая жена Келея.

- Деметра? Ты говоришь так, будто это случилось вчера. Не оборачивайся назад. Неужто ты не слышишь, какой гул катится по земле? Какие события зреют в Микенах? Но это только начало, они отзовутся во всей Греции такими бурями, что по сравнению с ними приключения аргонавтов будут выглядеть детской сказкой. А означает это только одно – утрачен покой и на Олимпе. Ты знаешь, что могучую Фетиду богам пришлось выдать за простого царя, только чтобы она не родила Зевсу сына, еще более великого, чем отец. Значит, зреют силы, превосходящие все, что известно и самим богам. И если уж ты вспомнила о Деметре, тебе должно быть известно и о том безымянном, который каждый год, при огромном стечении народа воскресает в Элевсине. С тех пор, как твоя богиня урожая, приняв человеческий облик, пыталась неумелыми своими,

дрожащими руками совершить чудо и не преуспела в этом, небожители далеко продвинулись в делах бессмертия.

- Об этом я знаю слишком мало, чтобы разделить твои надежды или ободрить тебя. Но если великая супруга Гера дарует твоим детям вечность, зачем ты ее торопишь?

- Как же не торопиться, нежная Меропа! - шептала Медея, сжимая горячими пальцами обе руки плеяды, - Их ждет нелегкая жизнь. Я верила прежде, что отец уберезет их от порока, но больше я ничего от него не жду. Откуда же мне взять уверенность, что они доживут до старости, не встряв в мерзкие распри, не натворив много зла? А со строгими судьями Аида не станет спорить и волоокая Гера. Она ведь умолчала о том, какую вечность им сулит. Разве могу я обречь их на вечную муку? Но даже если они останутся безвинны и чисты, кто знает, как изменятся судьбы и людей, и богов? А что как захочется богине дать еще одно обещание? Что если новый избранник окажется ей дороже двух братьев, мать которых уже не сможет за них постоять, и чтобы наградить его, придется пожертвовать прежним словом? Ведь все решают они, не у кого просить от них защиты. Если ты знаешь о таком заступнике, открой мне его имя, тогда мы начнем наши рассуждения сначала. Тебе скорее, чем всем нам, должно быть известно о его существовании... Ты молчишь? Промолчу об этом и я. Но теперь ты хорошо понимаешь, о чем я толкую. Своими руками можно еще до поры сопротивляться их произволу. Ну, вот это я и предпочитаю делать. Пока желание Геры не остыло, некуда будет деться супруге Олимпийца, придется дать то, что было обещано. А чтобы не смогла она сказать, что не заметила, мол, их крохотные души, пропустила, в другую сторону глядела, я выберу такое место, что некуда будет ей отвернуться.

Глаза Меропы спрятались за опущенными веками, и губы ее несколько раз вздрогнули, прежде чем она сумела заговорить.

- И слова, и мысли твои ужасны. Но я готова внимать им день и ночь, лишь бы ты не приступала к делу, которое будет чернее всех твоих прежних дел. Это говорю тебе я – не мать, не жена, а та, к кому ты обращаешься за именем заступника. Ты берешься судить страдальцу Деметру, но не ее ли волей возведен тот самый храм в Элевсине, где совершается таинство воскресения? Не перестать ли тебе пороть горячку! Отложи свое решение, забери детей, поезжай в Аттику. Может быть, там тебе откроется то, чего ты так страстно ищешь.

- Мне? В праздничных гуляниях пьяной и выпренной черни? Ты хочешь, чтобы я поверила, что постом, кикеоном, тенями, непристойной суетой во мраке, факелами и возгласами иерофанта можно вызволить душу из смертельной неволи? Вот где ваша извечная слабость! Вы – лучшие из вас – так нас любите, что готовы разделить нашу участь и наши страдания, а как доходит до дела, посылаете нас провести время со своими жреца-

ми. Будто бы из жалости, вы не хотите мириться с нашей смертью. Смерть вас отвращает. Но это и есть самая суть нашей жизни – мы живем, чтобы умереть. Смерть. Смерть! Открой глаза и слушай. Звук этих слов так же сладостен, как вкус спелой груши и смех детей. И что же сумела выдумать скорбящая Деметра, чтобы спасти человека от смерти? Держать в огне царское дитя и всей своей божественной силой не давать ему сгореть! - Медея зажимала себе рот обеими руками, и все ее маленькое тело сотрясалось от хохота, - А всего-то надо было ей – стать человеком, отказаться от своей спасительной небесной силы и дать мальчишке умереть. Смерть и есть вечность, если вырвать у нее поганое жало страха. Но хватит об этом. Я совсем не хотела мучать тебя своими заботами. А все же вспомни обо мне, когда тебе не хватит сил оставаться для Сизифа земной женщиной. Быть может, мои страдания помогут тебе возвыситься над своей небесной сущью, как ты помогла мне сегодня утвердиться в моих мыслях. Я не прошу тебя скрывать от мужа этот разговор. Он ведь посвящал тебя в наши беседы. Скажи ему только, чтобы не пытался меня остановить. Тебя я сама просила со мной спорить, но от него этого не потерплю. Теперь иди. Я позабочусь, чтобы вашего дома не коснулись грядущие беды. Может быть, все для вас обернется к лучшему. Позови Сизифа.

Но плеяда не пошевелилась.

- Что еще? - нетерпеливо спросила Медея.

- Зачем же было рожать? - прошептала Мeroпа, глубоко заглядывая в темные глаза, которые стали медленно наполняться влагой. Женщины все больше склонялись головой к голове, пока они не соприкоснулись. Тогда обе замерли, переливая друг в друга душевную силу и силу отчаяния. Потом Медея с трудом отстранилась и полным голосом, в котором не было ни живости, ни настоящего звука, проговорила:

- Я передумала. Мне не нужен Сизиф. Я пошлю за ним, когда придет время. В корзинах у стражников – детское белье и любимые пряности. Распорядись, чтобы ваши слуги их забрали. Дай мне знать, не откладывая, когда знахарь сделает свое дело. И постарайся полюбить мальчиков, как своих. Расставаться с ними тебе будет все-таки легче, чем мне.

Дети не отпускали Гиллариона допоздна, отгадывали его загадки, слушали и рассказывали истории, щупали, замирая от страха, его изуродованные руки, а желая взрослым доброй ночи, все, как один, заикались, смеша друг друга, и больше всех веселился Ферет, у которого это выходило гораздо лучше других. Сизиф с Меропой наблюдали за ними, и сердце щемило у обоих.

* * *

Эту ночь они провели без сна.

Что решимость Медеи не выдумка, не довод ума в каком-то споре, который она вела с судьбой, а прямое свидетельство будущих действий, сколь ни казались бы они абсурдными, заставляло обоих остро чувствовать свое бессилие. Они никак не могли с этим смириться, вновь и вновь старались осмыслить задуманное Медеей, чтобы найти доказательство, какое-то единственное слово, способное опрокинуть ее убеждения, развеять ложные надежды. Вероятно, это должно было быть не только их словом. Движимые простым инстинктом, ни тот, ни другой не сумели поколебать волю царицы. Необходим был более весомый довод, может быть – слово самого бога, чтобы соперничать с обещанием Геры. А расслышать его можно было лишь в том вселенском гуле, о котором говорила Медея, или в самой горькой из божественных страстей, частью которой была попытка богини сделать бессмертным сына элевсинского царя.

Говорить об этом было нелегко. И потому, что они впервые так пристально, по такой неотложной причине вглядывались в основы мироздания, и потому, что судьба богини-матери составляла необъятную эпопею, создавшую знаменитые элевсинские мистерии, известные только посвященным, каковыми они не были. Известно было, однако, что провозглашенный запрет, грозивший казнью тому, кто стал бы открывать незнакомому с таинствами их обряд и суть, был всего лишь строгим законом и не шел ни в какое сравнение со священным трепетом, навсегда лишавшим желания касаться этого предмета в праздной беседе. Человек, вольно отдавший себя течению мистерии, не догадывавшийся, что ему предстоит пережить, оказывался притиснутым к тому, чего знать не мог, может быть, и не хотел, что, пренебрегая его малодушием, заявляло о себе, как о несомненно существе.

Но несправедливо было бы назвать их ночные перешептывания праздной беседой. Супруги осторожно творили собственную мистерию, углубляясь в опасную область, где возможны были смерть без смерти и воскрешение без жизни. Божеские судьбы и дела часто бывали невероятными, но и в загадочности своей все же поддавались хоть какому-то объяснению. Здесь же боги вели себя не как боги и не как люди и, казалось, сами не вполне понимали, что делают.

Когда мать услышав душераздирающий крик дочери, бросилась к Нисейской долине, куда увлекла Кору беспечная прогулка за букетом цветов, она нашла лишь покойный луг, покрытый маками, качавшими крупными, цвета крови головками на тонких стеблях. Ничто здесь не напоминало о случившемся минуту назад, когда перед девой, склонившейся за диковинным, благоухающим нарциссом, белым посреди алого ковра, разверзлась почва, и подхваченная неодолимой силой, она исчезла из поля зрения всех живущих.

Воображая во множестве подробностей то место, куда они исчезают с лица

земли, люди утешают себя, стремясь отстраниться от очевидного – об этом месте никто ничего не знает. Но позволь проникнуть в мозг той простой истине, что исчезают туда навсегда, и это безмолвное, безликое нигде способно погасить сознание. У богов, как оказалось, дела обстояли не лучше. После девятидневных скитаний в поисках того, кто мог бы ответить матери на ее отчаянный вопрос: где Кора? где дочь моя? – она убедилась в том, что предчувствовала с самого начала. Новостью были лишь причина, по которой пропала дева, и имя похитителя. Ни то, ни другое нисколько не помогало становящемуся все более человеческим желанию матери вернуть дочь или, по крайней мере, отомстить.

Причиной был сватовской произвол хозяина вселенной, отца похищенной девы, Зевса, а то, что исполнителем и женихом был безликий правитель того отсутствующего места, которое, за неимением более подходящего направления, принято помещать под землей, отменяло любые попытки что-либо предпринять. Назвать его имя отнюдь не означало определить персону. Вступить в противоборство с Аидом было то же самое, что хватать или бить кулаками воздух. Такое не приходило в голову ни титанам, ни гигантам, которые в свое время пробовали бороться даже с Олимпийцем и, проиграв, были отправлены именно туда, во тьму нигде, где всякий бунт иссякал мгновенно и бесследно.

Отсутствующее лицо Аида было следствием множественности обличий, которая погружала его существование в холодную бездну перевоплощений, где терялась всякая надежда его назвать.

Плутон было одним из тех его имен, которые произносились чуть легче, без помрачающей рассудок тени небытия, ползущей вслед за мыслью об Аиде. Оно же предлагало отождествлять его с Плутосом, божеством несметных богатств, хранящихся в подземных недрах. Но Плутос был зачат самой Деметрой на меже критского поля от местного бога земледелия Иасиона, а это означало, что мать сама произвела на свет убийцу своей дочери. Не правильнее ли было бы сказать произвела на тьму? Так как по-прежнему лишенный лица Плутос был еще и слеп.

Еще одно имя безликого – Дий – позволяло угадывать в нем самого Зевса. Да как же могло быть иначе? Верховная власть громовержца не была бы безмерной, если бы границы ее определялись каким-то еще нигде. Это правда, что надзор за тремя сферами бытия – небесно-земной, подземной и водной – был распределен между тремя братьями: Зевсом, Аидом и Посейдоном. Но чуткий слух вполне способен был различить в таком распределении неясность: разве власть над небом и землей не включала в себя все остальное? Разве можно представить себе океан без дна и берегов, а землю без недр? И уж никак не приходилось заблуждаться относительно того, кто на самом деле всем владел и управлял. Ведь и похититель, прежде чем взяться за некрасивое дело, должен был спросить разрешения у Олимпийца. А теперь прислушаемся внимательно к их речам:

- Заметил ли ты, как расцвела юная дочь Деметры?

- Мне ли не видеть! Я ей не чужой дядя.

- Это-то как раз и мешает тебе, я боюсь, взглянуть на неё со стороны. Как думаешь, что сказала бы ее мать, если бы я посватался.

- Да то же, что ответила бы и мне, приди мне в голову эта безумная мысль.

- Но ты-то во всесии своём и спрашивать не стал бы.

- Я – другое дело. Тебя не любят на Олимпе.

- Тем меньше у меня оснований церемониться.

- И Деметра тоже, знаешь, не робкая овечка.

- Да будь она дикой буйволицей – тебе ли не знать, как укротить её нором.

И братья добродушно посмеиваются.

Не похоже ли на разговор с самим собой, на последние сомнения перед рискованным шагом?

Правителем небытия называли и еще одно существо – таинственного Загрея, жертву, дитя рогатое, соблазненное и растерзанное титанами и вновь родившееся у Зевса и Семелы в облике Диониса. Но это был уже новый Дионис-Вакх, а первый Дионис-Загрей вынужден был после гибели остаться в нетях и, будучи любимым отпрыском отца, который связывал с этим живым, любознательным ребенком какие-то серьезные, еще неосуществленные надежды, получил там неограниченные права. Таким образом бездна неизбежно притягивала следующее имя. Властителем царства мертвых называли также бога виноделия, опьянения и неистовства Диониса, одно из прозвищ которого было «разверзатель». Самые серьезные люди, не склонные к фантазерству, утверждали, что Аид и Дионис – одно. Кто же зачал, выносил и родил его первоначальную ипостась, златоглавого агнца Загрея?

Персефона? Но это имя нам еще незнакомо! Так будут называть пропавшую дочь, когда она станет супругой безликого и царицей Аида. Могла ли она родить, будучи еще девой, а то и вовсе пребывая в лоне матери своей? Можно ли находиться на определенной ступени развивающегося события и в то же время стоять многими ступенями ниже, почти в самом начале подъема по лестнице бытия? Кое-что об этом двойственном положении было Сизифу и Меропе известно, и они продолжали удерживать равновесие между постижимым и невероятным, еще не зная, что в воображении своем уже переступили порог телестриона в элевсинском храме. В рождении Загрея следовало, видимо, предполагать единое усилие матери и дочери. Как будто некие обязательства, не всегда желанные, заставляли богиню плодородия принимать участие в сгущении той тьмы, куда исчезла теперь юная, ласковая, жизнерадостная Кора.

Но, может быть, довольно и того, что тьма не носила никакого другого назва-

ния, кроме имени своего хозяина, а он не был ничем иным, как этой тьмой. Перечислив все другие имена и возвратясь к первому, человек опять тыкал пальцем в пустоту, не зная, говорит ли он о царстве мертвых, об одном из богов или ни о чем.

Деметре бесплодность таких попыток была давно известна. Даже не пробуя осветить это зияние мыслью, богиня сбросила с себя величие и могущество, ничему не помогавшие и неизвестно зачем нужные, и, облекшись в рубище, не отличавшее ее от смертных, пошла скитаться по земле, воочию наблюдая, что людям живется еще тяжелее. Ее невыносимая утрата была, оказывается, не более чем ежедневным горьким хлебом страданий человеческих. Когда ее переполнило сочувствие к этому бесправному роду, занялось в Деметре жгучее желание снова воспользоваться своей неземной силой, на этот раз – чтобы избавить человека от необратимой тяги Аида.

Внимательный читатель напомним нам, что такое безумие богини-матери, замахнувшейся на изначальное условие возникновения человека, одобренное всем сонмом богов, уж очень напоминает людские пристрастия и заблуждения, что добившись своего, она устранила бы единственное различие между своим верховным кланом миродержателей и существом, созданным по их образу и подобию. Ну что ж, приходится согласиться. Вероятно, это был как раз один из тех случаев, когда духи опасно приближались к земному бытию, слишком проникались его страшным бременем, готовы были пересмотреть основы мироздания, вплоть до того, чтобы пожертвовать своей исключительностью. Основы тоже ведь не блистали чистотой и последовательностью – в каком диком самозабвении мог подтолкнуть Зевс свою божественную дочь Кору к судьбе, так буквально повторяющей удел незащитного человека?

В глазах сидевшей у колодца старухи, с ног до головы одетой в черное, сияла просветленная боль сострадания, и пришедшие за водой четыре дочери царя Келея прониклись ответным чувством. Девы ласково обошлись с незнакомкой, которая, по ее словам, была похищена с родины разбойниками, сумела от них спастись, а теперь оказалась потерянной в чужой стороне. Сбегав домой, чтобы спросить разрешения у матери, они привели старушку во дворец. Гостя вела себя очень скромно, предложенному ей Метанирой креслу предпочла простую табуретку, отказалась выпить вина, утолив жажду тут же изобретенной ею самой ячменной брагой. Оставалась ли она целиком погруженной в свое горе, заслоняло ли ей печаль новое желание помочь людям, но пригубить и даже взять в руки сосуд с напитком «разверзателя» она, конечно же, не могла.

Что-то еще мешало установившемуся было доверию Метаниры к будущей няньке – бабушка была как-то уж очень грустна.

Тогда старая опытная служанка взялась развлечь симпатичную, но понурюю гостью.

Боги, что позволяла себе Иамба!

Вульгарная простолюдинка, уже лишившаяся всех приемлемых форм женственности, вызывающе демонстрировала именно эти увядшие прелести. Таких восклицаний, танцев и жестов не потерпел бы никто не только во дворце, но и на улице, разве что в особо отведенный для подобного непотребства час священных церемоний, оправданный всеобщим духом хмельного веселья. Самой-то ей это было по нраву, она купалась в бесстыдстве, радуясь возможности пограть приличия в неурочное время, веря, что только таким зверским образом и можно проникнуть сквозь тяжкий панцирь горя, сковавший старушку. И богиня улыбнулась.

Она были принята в дом и вскоре приступила к возвращению царского сына. Выкармливаемый нектаром и амброзией, Демофонт быстро обретал редкое благообразие, радуя сестер и родителей. Но главное было впереди. Няньке предстояло еще выжечь в младенце его человеческий изъян телесности, природную червоточину, обрекающую людей рано или поздно расстаться с жизнью. Это чудо требовало особых усилий даже от богини, и она выбирала время глубокой ночи, когда никто не смог бы прервать священнодействие.

Деметра набралась многих знаний о природе человеческого страдания. В этом смысле справедливо было бы считать, что ей известно о людях больше, чем кому-либо из богов. Но и она не успела еще постичь всего разнообразия запутанных человеческих переживаний, среди которых есть и безмерное любопытство, и животный страх. Первое толкнуло мать поинтересоваться предметом ночных бдений няньки с сыном, второй вырвался протестующим воплем Метаниры, которая увидела сына лежащим среди поленьев в очаге и охваченным пламенем.

Внезапно остановленная в высоком разгоне уздой профанического страха, который обуял женщину, богиня вышла из себя. Люди не способны были ведать, что творят. Обманутые внешними признаками, они не отличали хорошо знакомого зла от сверхъестественного добра, которым она хотела их одарить. Демофонт был извлечен из огня и спасен – спасен в их убогом сиюминутном значении, но вечную жизнь у него отняли. И тогда обескураженная двумя подряд поражениями, нанесенными ей с противоположных сторон, изнутри и извне, богиня взялась за то, что не удавалось до сих пор никому – отыскать звено, которое соединило бы безнадежно разорванные от века время и вечность.

И людям, и даже богам ее усилия представлялись бунтом скорбящей матери. У этого предела и задерживалось сознание тех, кому не довелось пройти до конца испытания и откровения элевсинских таинств.

Уединившись в храме, выстроенном по ее требованию царем Келеем, богиня плодородия отказалась участвовать в небесных и земных делах. Жизнь вокруг останови-

лась. С этим не могли не считаться и боги, которые вскоре стали обращаться к Деметре с дарами и предложением вернуться к своим обязанностям. Все были отправлены обратно ни с чем.

Считалось, что условия, на которых богиня могла бы пойти навстречу просьбам о восстановлении мирового порядка, известны. То есть всем казалось, что они знают, каковы должны быть желания богини, лишившейся дочери, так что после некоторых колебаний стал возможным компромисс – дочь к ней вернулась. Она не была более прежней девой Корой, перед матерью предстала утратившая девичью прелесть, обреченная на бездетный брак с лица не имущим Аидом, обретшая новое имя Персефона, полноправная властительница царства мертвых. Но возвращение это было лишь неизбежным побочным эффектом другого, более глубокого явления, о котором сосредоточенно молилась богиня. К кому же обращала молитвы Деметра в своем собственном храме? Очевидно, не к олимпийскому владыке – ему оказалось достаточно ее стойкого отказа в сотрудничестве.

Чудилось, что они блуждают в этих светлых дебрях где-то совсем рядом с истиной, которую искали. Богиня-мать, бессильная одолеть смерть в одиночку и не сумевшая это сделать с помощью людей, нуждалась в чем-то или в ком-то еще. Когда ей открылась эта тайна, она передала элевсинцам свой несказанный опыт в виде таинств, причащаясь которым, человек обретал знание о вечности и переставал страшиться смерти.

История, тем временем, катилась дальше, повествуя об уловке Аида, скормившего супруге перед возвращением на земную поверхность гранатовое зерно, что лишило Персефону возможности остаться с матерью навсегда – будто бы ей, властительнице вечных душ, так уж этого хотелось! – о радостной встрече матери с дочерью, об оттаявшей богине, которая вернула земле плодородие, даже кое-чему еще научила нескладных земледельцев. Весело катясь по этой праздничной дороге, история уводила от того, единственно значимого, что открывалось каждый год в Элевсине. С возвращением Кору к земной жизни совершалось еще одно рождение, заявлял о себе миру уже самой девой неизвестно от кого рожденный, неведомый младенец, имя которого вырывалось вздохом ошеломленной многотысячной толпы - Иакх!

В отличие от нескольких избранных, толпа была только свидетелем, не участником таинств, и для нее это имя означало всего лишь глас, зов. За год, прошедший с последних тесмофорий, люди успевали перепутать это имя с именем Вакха – человеческим воплощением Диониса. Но может быть, это и был третий Дионис? Может быть, сами того не зная, они еще раз эхом повторяли отзвук того надмирного действия, которое вершилось между богиней, становившейся одновременно матерью, супругой и дочерью, и богом, который был собственным отцом, сыном и братом. Эти множественные наслоения, складывавшиеся одно за другим, как лепестки божественной розы, составляли тайну, необходи-

мую душе, чтобы взрастить истину. Колос, просиявший в осеннюю ночь месяца боедромиона в погруженном во мрак храме, был чем-то похож на этот внезапно раскрывшийся цветок, ибо и зерну, чтобы взрасти, необходима тьма. Лишь тогда бесплотные души, слонявшиеся неизвестно где, ничего не значившие двойники тел, брошенных в землю безо всякой надежды на воскрешение, начинали проявлять признаки жизни.

Изнуренные бессонной ночью и небывалым путешествием, в котором они попеременно помогали друг другу спускаться по кручам и одолевать отвесные подъемы, супруги лежали, обнявшись, и улыбались сквозь слезы. Говорить они больше не могли. Им было непривычно легко и радостно, почти как в ту первую ночь по дороге в Фокиду, когда их брак, наконец, свершился. Но сегодня в их неге не было счастливой опустошенности, их тела пронизывала новая искрящаяся сила. Только в отдалении все еще качалась скорбная тень беды, с которой они ничего не могли поделать. Неясное чувство, открывшееся в мистерии, воспроизведенной ими собственными скудными средствами, никак не могло помочь кому-то третьему. Они понимали теперь, почему мисты ни с кем не говорили о таинстве – они не обсуждали его и между собой, ибо говорить об этом было незачем.

Отдалившись в сознании, беда не оставила их сердца. Наоборот, она была теперь еще осязаемее, как если бы речь шла об их собственных детях. Но эта горькая жертва совести, казалось, была неотделимой от блаженного света, пролившегося на них перед тем, как в окна заглянул рассвет. Вместе с ним пришла к Меропе и Сизифу уверенность, что спасти детей, да и не только детей, а всех, кому грозит смерть, можно и не вяжа рук Медею, чего им все равно не дано было сделать, а только зная, зная, зная, как задуман мир.

9.

Пролетели те недолгие дни, когда дом Сизифа был отмечен присутствием царских сыновей, когда их шумные игры сменялись тихими беседами Гиллариона, а те, в свою очередь, выливались в оживленные споры, в которых демон косноязычия, изнемогавший под пристальным вниманием наставника, выбивался из сил и мало-помалу уступал свою добычу, отпуская мальчика в ясный мир плавной и выразительной человеческой речи. Медея, держа слово, никак не давала о себе знать, не поступало вестей из Микен, ни дурных, ни добрых, и волнение, достигшее высшей точки той бессонной ночью, которую Сизиф и плеяда провели в мыслях об элевсинской затворнице, улеглось.

Но вот наконец фракиец сказал супругам, что мальчик здоров, а в доказательство попросил Ферета рассказать своими словами один из подвигов Геракла, что малыш и проделал очень увлеченно, без единой запинки. Знакомая тревога вернулась к Сизифу и Меропе, когда пришла пора уведомить царицу, что целитель сделал свое дело, но мешкать

они не решились.

Провожая ребяташек, Мeroпа чуть дольше, чем принято, прижимала к себе их беспокойные тельца, и лишь нетерпение, с которым они рвались домой, помешало ей удержать их в объятиях еще немного. В сопровождении Сизифа, фракийца и стражи, не без удовольствия покинувшей свой пост, Мермер с Феретом отправились во дворец.

Самые первые бурные мгновения встречи с матерью тоже были сокращены горячим желанием Ферета показать ей свои успехи. К удивлению Сизифа, это было уже другое приключение Геракла, переданное с той же легкостью и изяществом. Но теперь дело не ограничилось и этим, ибо и Мермер жаждал получить свою долю материнского внимания. Не успел Ферет закончить рассказ о злых птицах с когтями и перьями из твердой меди, обитавших у Стимфалийского озера, особенно ярко обрисовав ту его часть где герой, взобравшись на дерево, вспугнул прячущихся хищниц громкой трещоткой, и даже изобразив ее веселый звук, как брат перехватил инициативу ловким переходом «а вот еще говорят» и изложил новый подвиг силача, за которым последовало еще одно красноречивое описание Феретом его победы над диким вепрем. Здесь излюбленным местом рассказчика были искрящиеся на солнце снега на вершине горы Эриманты, куда Геракл загнал зверя, и где тот окончательно завяз. Должно быть это зрелище напомнило Медее о Кавказе, потому что в этот момент она привлекла к себе сына и не отпускала его до конца истории.

Слушая это трогательное состязание, Сизиф думал о том, что фракиец, оказывается, не только обучал детей риторике, но и пополнял их восприимчивый разум новыми знаниями о богах и героях, и удивлялся – сколько же тот сумел вложить в их кудрявые головки всего за десять дней.

Оба были в равной мере удостоены восторженных материнских похвал и, прощавшись с мужчинами – почтительно с Сизифом и тесным двойным объятием с фракийцем – убежали в свою комнату.

- Неотложное дело заставляет меня повременить с тем, что тебе причитается, - обратилась Медее к Гиллариону, - Тебе будет воздано по заслугам, но я не хочу благодарить тебя походя, ибо заслуги твои велики. Будь так добр, подожди за дверьми, пока я переговорю с Сизифом, и возвращайся.

Когда Гилларион ушел, Медее еще некоторое время молча разглядывала Сизифа.

- Много воды утекло с нашей последней встречи, - сказала она затем.

Только тут он решился поднять глаза и, отбросив все посторонние мысли, ответил:

- Я слушаю тебя, царица. Мое сердце по-прежнему открыто.

- Другого я и не ждала. Сегодня я не задаю тебе вопросов, не приглашаю к спо-

ру. Мне нужно, чтобы ты выслушал то, что я скажу, с начала до конца, и запечатлел это в своей памяти. Тут не будет домыслов, слухов или сомнительных умозаключений, одна голая правда. Через три дня тебе предстоит принять власть над Коринфом. Чтобы ты не счел это моей причудой и не удивлялся, почему я, а не Язон, объявляю тебе об этом, я напомним о том, что ты, возможно, уже знаешь. Мой отец Эет был некогда полноправным властителем этого места и царствовал здесь под благословением своего отца, блистающего Гелиоса. Однажды он отправился за Эвксинский Понт, где столь же успешно правил колхами, что, я надеюсь, делает и по сей день. Вместо себя он оставил в Эфире Бунуса. А теперь слушай еще внимательнее: после Бунуса Эфирой правили Алеус, Эпопей, Марафон и только потом царство перешло к Коринфу, который тоже провел тут всю свою жизнь. Не находишь ли ты, что пути, приведшие нас с тобой к Истму, на удивление похожи тем, что пролегали не столько по поверхности земли, сколько сквозь время? Во всяком случае, не сокрушайся более, что время так своевольно с тобой поступило. Как видишь, не ты один был им сначала удален от цели, а потом приближен к ней. Должно тебе теперь стать понятным и то, что не из-за Язона были мы приглашены старым Коринфом. Не будь я его женой, у Язона не оказалось бы никаких прав на этот город. Ныне он легкомысленными деяниями навлекает позор на свое имя и собственными руками лишает себя царства. Я же, хоть и не буду ему на этот раз помогать, но не останусь и в Коринфе, ибо имена Язона и Медеи прочно связаны, сколько бы страданий ни приносила нам эта связь. Да и не Коринф занимает сейчас мои главные помыслы. Но городу нужен правитель, и по праву прямой наследницы Эета я назначаю им тебя, как наиболее достойного. Поверь, что одного этого было бы довольно, чтобы коринфяне охотно тебе подчинились, но, насколько мне известно, они готовы это сделать и без моего приказа, скоро ты сам в этом убедишься. Эти три дня я проведу с детьми в храме Геры, в молитвах. Последи, чтобы никто нас не беспокоил. Тебе не трудно будет это сделать, так как храм окружают верные мне воины, которые не пропустят и самого Язона, вздумай он появиться. Не думаю, однако, что он вернется сюда прежним властителем, не до того ему будет. По истечении же трех дней, наутро я покину Коринф, но не прежде, чем народ назовет тебя новым царем. Отправится ли Язон вместе со мной или выберет иную дорогу, править Коринфом ему больше не придется ни волей богов, ни волей людей, ни собственной волей, которую он растерял, ни моим содействием. Отрешись от всех прочих забот, Сизиф, и возрадуйся. Подумай о себе, о том, что желанная тобой судьба наконец свершилась.

Переполненный чувствами Сизиф долго не мог произнести ни слова. Медея не торопила его. Потом, не отдавая себе отчета в том, что делает, он опустился на колени и до земли поклонился царице, а выпрямившись, проговорил:

- Прости, скорбная дочь Эета, что поступаю вопреки твоему повелению, но я

не смогу как подобает открыто принять твой щедрый дар, если не скажу, что должен. Не все остается мне ясным в твоих намерениях. И то, о чем ты умалчиваешь, омрачает радость совершающейся судьбы.

Медея смотрела на него, улыбаясь.

- Чего мы не постигаем сейчас, именно таким и задумано богами и вернется к нам рано или поздно, раскрывшись в истинном своем значении. Разве ты этого не знаешь? Нет у тебя причин тяготиться неведением. Не сказала ли я, что собираюсь целых три дня провести в непрестанных молитвах?

Поднявшись с кресла, Медея подошла к Сизифу и опустила руку на его темя.

- Я не ошиблась в тебе. Ты будешь добрым и мудрым царем. Ступай домой, передай великую весть Меропе, скажи, что я благодарна ей за сыновей, что буду молиться и за ее детей, и что, благодаря ей, был у Медеи миг, когда она почти сравнялась в чистоте с плеядами.

* * *

Был глубокий вечер, а Гилларион все еще не возвращался из дворца. Супруги успели обсудить все подробности предстоявших перемен, и после того, как Меропа заставила мужа несколько раз повторить слова царицы, которые, как они полагали, касались ее ближайших планов, оба пришли к выводу, что Медея, усомнившись в своей правоте, собирается просить у богов совета. Возможно, она даже вовсе отказалась от губительного решения и обращается к богам по какому-то другому поводу, ибо и в ее жизни наступали крутые перемены. Последнее подтверждалось упоминанием о мгновении, которое будто бы подарила ей Меропа. Та снова и снова просила мужа передать дословно, сказанное царицей. Он терпеливо исполнял просьбу, стараясь вспомнить не только сами слова, но выражение лица Медеи, интонацию, с которой они были сказаны, и замечал, что с каждым разом женой все больше овладевает печаль. Ему не удалось ничего выпытать о ее причинах, за исключением того, что это не было связано с судьбой царских сыновей.

Когда они готовы были уже подняться наверх, явился фракиец, но лишь для того, чтобы еще раз поблагодарить хозяев за приют, объявив, что по просьбе царицы он остается с нею и ее детьми. Эта новость еще больше утешила Сизифа, но все же он не удержался и спросил Гиллариона прямо, не предвидит ли тот какой-либо опасности в необычном уединении Медеи. Ответ фракийца был столь неожиданным, что на руках и ногах Сизифа вздыбились волосы.

Беспалому бродяге каким-то образом известны были подозрения сына Эола и плеяды, и после того, как его осыпали благодарностями и дарами, фракиец решил вновь

обратиться к царице с речью. В этот раз он рассказал ей одну из притч, случайно услышанных им в Мегаре от купца, только что вернувшегося из Египта. Любознательные египтяне таили пристрастие не только к собственным бесчисленным богам и пророкам, но и к преданиям окружающих народов, особенно – к легендам того племени, которое долгое время обитало на их земле, спасаясь от голода, поразившего всю округу. Эта притча, по мнению Гиллариона, как нельзя более подходила к случаю.

Речь в ней шла о богатом стадами и почтенном годами хабире из Халдеи и его престарелой жене, которым бог этого племени даровал единственного сына в таком возрасте, когда их соседям и в голову не пришло бы думать о потомстве. Но вслед за этим тот же странный бог по имени Иахве потребовал долгожданного первенца себе в жертву. И нимало не смущенный такой непоследовательностью отец приготовился развести костер и зарезать безмерно любимое дитя. Даже многоопытные жители верхнего и нижнего Нила, вполне по-свойски обращавшиеся с загробным миром, качали в этом месте головами, отказываясь понимать испуганную веру варварского народа. Но надо сказать, что и самому этому народу воспоминания об упрямой решимости патриарха внушали ужас.

Фракиец признался Сизифу, что в этом месте ему удалось так захватить внимание Медеи, что та стала поторапливать его, желая побыстрее узнать, чем кончилось дело, даже притопывать своей царственной стопой. Он же не поддаваясь нажиму и не стесняясь для лучшего впечатления добавить от себя некоторые украшения, постарался расписать во всех подробностях, как рано утром престарелый отец отправился с ничего не подозревавшим юношей в уединенное место далеко от дома, чтобы послушно исполнить повеление своего страшного бога.

Все шло так размеренно и привычно, как если бы старик готовился принести в жертву овна, за исключением того, что овцы у путников не было, а в том пустынном месте, куда они наконец пришли, ее и взять было негде. Египтянин, от которого узнал эту историю мегарский купец, особенно настаивал на решимости почтенного хабира, на отсутствии у него каких бы то ни было сомнений или надежд на неожиданное разрешение дела. Упирал он на это потому, что даже у этого пастушьего племени человеческие жертвы были давно уже не в чести и запрещались их противоречивым богом, не желавшим видеть свой народ кровожадными дикарями. Последнее же повеление его было вполне недвусмысленным, ошибаться старик не мог, так как он сам как раз и был духовным родоначальником племени, познакомившим людей с этим богом, его природой и свойствами и внушившим соплеменникам потребность позабыть всех остальных богов, вручив свою судьбу ему одному. Хороша же была судьба, предписывающая пресечь духовную наследственность у самого корня. Но в вере хабириков или иврим, как их еще называли, в непостижимость своего бога таилось одновременно и грозное его величие. Он громогласно заяв-

лял, что не имеет ничего общего с многочисленными, неразборчивыми, противоречившими друг другу божествами варваров, и в то же время требовал от самого верного своего адепта немислимого, варварского жертвоприношения. И сжавший в кулак сердце патриарх знал, что поступит именно так и никак иначе.

Нагнав на своих слушателей достаточно страха, так что мозг их готов был уже отказаться следовать за событиями, ибо по всем человеческим и божественным меркам они никуда не вели, египтянин быстро завершил историю, скупое поведав, что рука с занесенным, остро отточенным ножом была намертво схвачена неведомой силой, и старику столь же непререкаемо, как прежде, было возвещено, что сын его никак не может быть жертвой, а наоборот станет отцом бесчисленных множеств благословенного потомства. А в ближайших зарослях, на горе, где происходило дело, обнаружилась заблудшая овца, которую и надлежало предать всеسوужению.

Поведав царице эту притчу во всей ее возможной полноте, фракиец встретил в ней такую вдохновенную, благодарную слушательницу, о которой и не мечтал. Тут-то она и попросила его принять участие в трехдневном бдении, на что он тотчас согласился.

Гилларион тоже выглядел возбужденным, уверяя Сизифа, что их догадки были, может быть, слишком поспешными, что мысли Медеи отнюдь не так грубы, как им казалось. Ободренный этим рассказом окончательно, Сизиф не стал задерживать фракийца, присутствие которого во дворце оказалось таким полезным. Они дружески попрощались, Гиллариона снабдили факелом, и он ушел.

* * *

Всего и забот-то было у ослепительного сына титаниды Тейи и ее брата Гиперона – выкатить из своего роскошного дворца на восточном краю Океана запряженную четверней золотую колесницу и не спеша прокатиться по далекому небосводу, одаряя все живущее на земле благодатным теплом и служа всевидящим оком самому Зевсу. Завершив веселый дозор, Гелиос утверждал свою карету на золотой ладье и невидимый никем, кроме сестры Селены, замещавшей его в ночных небесах, возвращался во дворец, чтобы на завтра, полный огня и живительной силы возобновить ежедневную прогулку. Никто из богов и никто из людей не мог сказать о нем дурного слова. Единственное зло он причинял лишь невольно и только тем въедливым дуракам, которым мало было заниматься своим делом, наслаждаясь теплом и светом. Стремясь разоблачить его тайну, они пялили глаза на божество дольше, чем подсказывал здравый смысл, и лишались зрения. Сам Гелиос не предпринимал никаких усилий, чтобы наказать глупцов. Да он же и возвращал потерю тому, кто не поленится подставить слепые глазницы самому первому его утреннему лучу.

Лишь дважды случилось безмятежному Гелию испытать зависть и покапризничать. Впрочем, очень недолго. Раздел земли, который учинил владыка Олимпа, пройдя к власти, застал солнечное божество за его обычной работой, и, чувствуя себя не вправе изменить долгу, оно обиделось, обнаружив, что в его отсутствие никто о нем не вспомнил. Зевс тут же исправил ошибку, предоставив Гелиосу широчайший выбор, и тот поднял со дна Эгейского моря целый остров только для того, кажется, чтобы увековечить в его названии имя своей жены Роды.

В другой раз Солнцу приглянулся край у Истма между двумя заливами, на который, как оказалось, претендовал Посейдон. Тут на помощь пришел поздний брат Гелия, один из сторуких – Бриарей, который рассудил спорящих, отдав морскому богу перешеек с прилегающими к нему землями, а Гелиосу возвышавшийся над городом каменистый холм с его подножием. И снова светлому богу, удовлетворенному чудесной вершиной, она была как будто вовсе не нужна, ибо он тут же передал и верхний, и нижний город в правление сыну Эту, а попечение о горе предоставил прекрасной Афродите, на дивных чертах которой так любили отдыхать его лучи.

Двойное благословение города – покровительство бога морской бездны и бога Солнца обещало необычайные преимущества, но надо было обладать особой мудростью, чтобы разумно сочетать влияния этих, столь отдаленных друг от друга божеств. Если человеку не хватало проникновенного знания их природы, благословение могло обернуться нелепостью, как это случилось с достойным во всех других отношениях царем Коринфом.

Чревом и лоном возлежавшей у Истма Эфиры, чьи ступни охлаждали воды Коринфского и Саронического заливов, безусловно был рынок – шумное, пыльное место в нижнем городе, куда стекались пути из обоих портов, из близлежащего Сикиона и всей прочей округи. Ее сердцем и головой был начинавшийся у южного выхода с агоры Акрокоринф. Стоило выйти из ворот и сделать несколько первых, еще нетрудных шагов по полого поднимавшейся дороге, как ты чувствовал, что постепенно покидаешь суетливый бренный мир, а то и самое землю. Обернувшись уже на этих шагах, можно было увидеть далеко на севере вершину дельфийского Парнаса. Чуть выше, там, где начинали встречаться многочисленные жертвенники Гелиосу, повторявшиеся на каждом извие пути, воздух совсем очищался от пыли и городских запахов, становился прозрачным, и уже не надо было оборачиваться, а просто следовать за петлявшей по склону дорогой, чтобы одна за другой вставали вершины Келены на западе, Герании на северо-востоке, а затем открывались два волшебной синевы залива по сторонам Истма.

На этой высоте холм был достаточно широк, чтобы принять в свои уступы и террасы дома многих именитых горожан, среди которых был и Сизиф со своим семейством.

На третий день рано утром вверх по дороге, будя обитателей квартала непривычным в это время шумом шагов, стали подниматься горожане. Сначала по одному, по два, но вскоре их поток стал почти непрерывным. Миновав жилища своих более благополучных сограждан, они собирались на площадке последней широкой террасы, выше которой оставались только царский дворец и храм Афродиты на самом верху.

Первым, слева у входа на террасу возвышалось небольшое, строгое, лишенное украшений здание храма Судеб. Лишь беглым взглядом отдавая почтение этому святилищу, люди проходили мимо и прикрывали ладонью рты, как бы запрещая себе невольно вырвавшимся словом, даже вздохом, привлечь внимание трех могущественных мойр, отмеряющих, прядущих и обрывающих нити человеческой жизни. Напротив через площадь стоял низкий, с широкой колоннадой храм Деметры и Кору, хранивший внутри величественные статуи обеих. А справа, скрытое от дороги скалой, ушедшее в камень располагалось святилище Геры Бунеи. Бунус, которому оставил царство отец Медеи, отправившись к колхам, частью вырубил в скале, частью достроил снаружи этот храм таким образом, что даже его жрецы не могли быть уверены, что им знакомы все его внутренние помещения. Тремя ступенями поднимался от земли портик с четырьмя колоннами из серого известняка, за которыми виднелась закрытая дверь. К ней и было устремлено внимание собравшихся на площади.

О том, что царица уединилась в храме, стало известно сразу же. Знали люди и день, когда должна была окончиться ее долгая молитва. Все предчувствовали, что им будет возвещено нечто важное, но никто толком не понимал, с чем связано решение Медеи, и слухи, ходившие в городе в течение этих дней и негромко обсуждавшиеся теперь в толпе, были самыми разными. Все в той или иной мере наслышаны были о событиях в Микенах, об участии в них Язона. Этим, по общему мнению, и объяснялся столь необычный шаг царицы, но истинных его причин называли множество.

Одни были убеждены, что царица просит у богини благополучного и скорого возвращения мужа, другие с уверенностью заявляли, что Язон давно вернулся и скрывается во дворце, а Медея молится о его спасении от гнева нового микенского правителя. Были такие, кто утверждал, что неистовая царица готова принести в жертву собственных детей, чтобы побудить супругу Зевса отвлечь от Коринфа месть Микен. Им возражали четвертые, точно знавшие, что царских сыновей нет ни в храме, ни вообще в городе. Эти спешили рассказать о новом, уже совершившемся злодеянии колхидской царевны. По их словам, Язон и не собирался возвращаться. В последний момент он, будто бы, предотвратил казнь заточенного Атреем брата, раскрыв беспутному сыну, кого ему предстояло убить. Эгисф, расправившись с подлинным убийцей, посадил на трон освобожденного и отмщенного по предсказанию богов отца, Фиеста. Язон же, решив еще прочнее закрепить

свое влияние в златообильных Микенах, посватался к дочери нового царя, которая, не смотря на торжество сына-брата и отца-мужа, все-таки оставалась опозоренной своим кровосмесительным участием в исполнении божественной справедливости. Вот это-то сватовство, по мнению сведущих, и переполнило чашу терпения царицы Коринфа, которая отправила своих детей в сопровождении няньки со свадебным подарком для новой невесты Язона. Подарок оказался колдовским, губительным. Пелопия была сожжена волшебным пламенем, дети пропали без вести, а Медея искала теперь у Геры защиты от мужнего гнева.

Две дюжины хорошо вооруженных воинов, плотно сидевших и стоявших на ступенях храма, с любопытством прислушивались к бормотанию толпы, надеясь вовремя различить в нем первые признаки беспокойства или возмущения.

Но заволновались люди не сами по себе, а лишь услышав приближавшийся снизу, затрудненный подъемом топот копыт. Расступившись, толпа пропустила всадника, который, как и его взмыленная лошадь, был покрыт густой пылью. Она не помешала, однако, узнать в нем Язона. Царь спешился почти у самых ступеней, кто-то отвел в сторону коня. Солдаты поднялись ему навстречу, сомкнувшись еще плотнее.

- По какому случаю собрался народ Коринфа? - спросил Язон, обернувшись к толпе.

- С благополучным прибытием, царь, - ответил стоявший ближе всех один из почтенных обитателей соседнего квартала, - Мы ждем царицу, которая проводит в этом святилище безвыходно уже третий день.

- Она ли приказала вам собраться? - нетерпеливо продолжал Язон, не дослушав.

- Нет, такого приказа не было. Но твое отсутствие и долгое молитвенное бдение царицы заставляют нас ожидать важных для города известий.

- Идите по домам, - распорядился царь, - Вас позовут, если нам в самом деле будет, что сказать Коринфу.

Толпа даже не шелохнулась.

- Вы не расслышали, что я сказал? - поднял голос Язон, вновь обращаясь ко всем собравшимся.

- Слова твои ясны и громки, - отвечал богатый горожанин, - но мы сошлись здесь, чтобы разделить с царицей ее заботы. Так почему бы тебе не узнать сперва, что заставляет Медею так усердно и необъяснимо долго молиться великой Гере?

- Именно это я собираюсь сделать, - говорил Язон, который, казалось, окончательно теряет всякую выдержку.

Он сделал несколько стремительных шагов, как бы не предполагая задержи-

ваться по пути ко входу в храм, и вынужден был остановиться лицом к лицу со стражниками, только теперь осознав, что они не собираются уступить ему дорогу.

- Что это значит? - крикнул царь. Солдат, стоявший перед ним, не ответил, продолжая в упор смотреть на своего правителя.

- Да ты, видно, спишь с открытыми глазами, - продолжал Язон, - Что ж, придется тебя разбудить, - и широко размахнувшись, он ударил солдата по лицу открытой ладонью. Голова воина качнулась, но положения своего он не изменил, ни на шаг не отступив и крепко опираясь на копье.

- Остановись, Язон! - властно прозвучал от двери храма женский голос, - Ты наносишь незаслуженную обиду верному воину, который не может ответить тебе ударом на удар.

- Разве не царю своему он должен быть верен?

- Если у него есть царь. Стало быть, ты вернулся... - Медея оставалась в тени портика, ее черный плащ с накидкой, покрывавшей голову, сливался со мраком за открытой дверью. Голос царицы звучал твердо, но слова давались ей с трудом, - Расскажи же, какую доблестную победу ты принес Коринфу.

Язон задержался с ответом, разглядывая жену сквозь живой забор. Сизиф, который пришел на площадь не из первых, стал потихоньку пробираться вперед, чтобы тоже взглянуть на лицо Медеи. Его встревожило, что рядом с ней не было детей.

- Где дети? - спросил наконец Язон.

- Не хочешь, значит, похвастаться своими подвигами? Тогда я поведаю тебе и народу о своих. Два дня и три ночи я провела здесь без сна, молясь о нашем спасении и о детях, которые, как я надеюсь, обрели вечность, навсегда уснув в одной из ниш этого храма...

Толпа всколыхнулась было, но тут же замерла, вновь услышав голос царицы.

- ... Боги не давали проясниться моему разуму. Много раз я в беспамятстве бросалась на камни, закрывшие могилу – мне казалось, что я слышу их голоса. Но тот, кто, зачарованный мной, сложил эту могильную дверь, уже не мог мне помочь, ибо я убила и его, зная, что мне, может быть, не удастся справиться со своей слабостью. Потом мною овладевал стыд. «Неужто ты не способна охватить страшную истину бессмертия! - кричала я себе. - Разве помимо жалкого человеческого разумения нет в тебе веры во всемогущество богов, которые обещают блаженство твоим детям за такую скромную плату, как твое материнское отчаяние»? Тогда я отступала от стены и хлестала себя плетью в наказание за слабость. А скорее всего, чтобы этой желанной болью заглушить другую, гораздо более нестерпимую боль. Но она не проходила, я снова царапала ногтями неподатливый камень. Моя голова отказалась мне служить, потому что не было смысла в этих тщетных попыт-

ках. Даже если бы каким-то чудом мои руки обрели нужную силу, они не вернули бы детей, которые были уже мертвы. Они были мертвы еще тогда, когда я укладывала их на белые, пушистые овечьи шкуры перед тем, как навеки скрыть от людских глаз. Могла ли я позволить им задохнуться от страха в тесной, темной каменной могиле? Нет, они мирно, без всяких мучений уснули, напоенные сладким снадобьем из аконита...

Медея говорила не останавливаясь, ровным, как будто чужим голосом. Его монотонное звучание заворжило толпу, которая в течение всей ее речи не издала ни всхлипа, ни вздоха. Не мог пошевелиться и Язон, словно скованный взглядом змеи.

- Достаточно ли полно я ответила тебе? Твои дети – в царстве блаженных, куда по моей просьбе отвела их великая Гера. И веселый Мермер, и Ферет, который без тебя научился так причудливо и гладко рассказывать множество историй, что без сомнения сможет порадовать ими и богов, и все бессмертные тени...

Тут голос царицы вдруг пресекался. Когда она вновь заговорила, он стал хриплым и колючим.

- Не нужно было тебе приходить, Язон. Коринфяне в тебе не нуждаются. Не был ты им настоящим царем, как не было у тебя и настоящих прав на это царство. Они были у меня, дочери Эета, законного правителя этих мест. Но теперь и меня не захотят коринфяне видеть своей царицей. А я, уважая их чувства, не стану противиться их воле. Что же говорить о тебе, которому до сих пор не простили гибели своего царя жители Иолка, а теперь грозит справедливый гнев Фиеста?

- Да ведь это ты своими руками убила Пелия! - вскричал Язон, - Аконит! Не этим ли зельем ты свела со света и доброго Коринфа, чтобы заполнить трон?

- Оставь это, Язон. Я принесла в мир достаточно зла, чтобы приписывать мне то, чего не было и в помине. Скажи уж лучше правду, что не царствовать ты прибежал сюда из Микен, а спасти свою жизнь за крепкими стенами коринфского дворца и за спинами коринфян, которые ни сном, ни духом не помышляли лезть в кровавые раздоры пелопидов. Ты так стремился породниться с ними! Не заразился ли ты от них этим бледным лишаем, который метит плечи? Но довольно об этом. Ни ты, ни я не принесли Коринфу счастья. Три четверти того, что было здесь сделано за это время, совершил человек, который, будь в его руках царская власть, сделал бы еще больше. Вы знаете, о ком я говорю, кто сможет защитить вас, когда сюда явятся люди из Микен, а этого вам долго ждать не придется. Так поторопитесь, назовите вашего нового царя, чтобы я передала ему права своего отца и власть над Коринфом.

Толпа задвигалась, Сизиф услышал, как несколько раз назвали его имя. Наконец стоявшие рядом с ним расступились, открыв ему проход к храму. Но не успел он подойти к ступеням, как от подножья Акрокоринфа вновь послышался конский топот.

Теперь поднимался целый отряд. Прежде чем Сизиф увидел у входа на площадь первого из них, он успел краем глаза заметить, как отошел в сторону и замешался в толпу Язон.

Во главе десятка всадников ехал юноша в боевом вооружении, с обнаженным мечом. Все его движения выражали своеволие и решимость, лицо подергивалось от напряжения. Остановившись в нескольких шагах от Сизифа, он огляделся, ища, к кому обратиться, и не найдя достойного, крикнул всем собравшимся:

- Где преступный царь Коринфа?

- Ты, как видно, считаешь, что заехал в овечье стадо или того лучше – в ячменное поле, готовое разбежаться перед тобой во все стороны, - сказал Сизиф, подходя к всаднику и взявшись за уздечку его коня, - назови-ка нам лучше свое имя, сынок.

- Я – Эгисф, сын Фиеста, который царствует теперь в могучих Микенах. А кто ты такой?

- Преступные цари никогда Коринфом не правили. Но ты, по молодости лет, можешь и не знать об этом. Я – Сизиф, коринфский царь. И, право, не знаю за собой никакой провинности перед Микенами.

- А где же Язон?

- Мы еще поговорим об этом, если останется охота у нас обоих. Но ты сказал, что ищешь царя. Он перед тобой.

- Откуда мне знать, не самозванец ли ты?

Толпа вокруг дружно сомкнулась на полшага, и конь под Эгисфом беспокойно переступил ногами.

- Придется поверить мне на слово, юный Эгисф. Слово коринфян дорогого стоит. Может быть – всего золота Микен.

- Ты мне не нужен.

- Я тоже так думаю. Теперь вопрос в том, нужен ли здесь ты – на храмовой площади, посреди мирных жителей, с обнаженным оружием.

- Я вижу среди вас и солдат.

- Стража не должна смущать тебя. Эти добрые воины здесь просто для порядка, на всякий случай. Вдруг какому-нибудь невежде вздумается смутить наш покой, начать указывать городу, как ему следует поступать.

Всадник, так и не вложивший меча в ножны, дернул поводья, запоздало сдерживая лошадь.

- Ты, должно быть, храбрый юноша, раз решаешься совершать вылазки столь незначительными силами, - продолжал Сизиф, тоже успокаивающе похлопывая по конской шее.

- Чего мне бояться? - громче, чем нужно ответил Эгисф. - С Коринфом я не во-

юю. Мне нужен только Язон, повинный в заговоре против моего отца.

- Но Фиест, по милости богов и на радость всем нам, остался жив. Что же ты собираешься сделать с Язоном, на котором нет крови твоего отца?

- Случай спас отца, не добрая воля твоего Язона! И он должен быть наказан.

Сизиф отпустил коня и, отступив назад, сложил за спиной руки.

- Мне жаль, что так неудачно сложился твой день. Вероятно, ласка перебежала тебе дорогу, а ты так торопился, что не заметил. Мы желаем тебе вернуться домой в целости и сохранности. И не предпринимай сегодня особо отчаянных поступков, чтобы неудача не огорчила ни тебя самого, ни твоих достойных отца с матерью.

Из груди молодого пелопида вырвалось рычание, он плашмя ударил мечом по крупу коня, от чего тот бешено затанцевал.

- Ты не смеешь упоминать имя матери моей! Это еще одно преступление вашего гнусного царского семейства! Мы знаем, кто пропитал маслом ее одежды и поджег дом, в котором она уютилась. Может быть разум ее давно помутился из-за козней все того же Язона, и она уже не могла порадоваться победе своего отца... - юноша запнулся, поняв, что сказал лишнее, и закончил яростным криком, - Никто не имел права лишать ее жизни!

- Да обретет мир душа бедной Пелопии. Я всем сердцем сочувствую твоей утрате. Однако, намеки твои темны. Ты обвиняешь в смерти своей матери кого-то из нас?

- Да! Ее! - Эгисф протянул вооруженную руку в сторону храма, где у двери виднелась почти неразличимая тень Медеи. - Эту чужеземную колдунью, не постеснявшуюся послать собственных детей, чтобы исполнить свой чудовищный замысел.

- Дети царицы не покидали этого храма в последние три дня, а до того долгое время жили в моем доме. Остерегись указывать перстом на ту, о которой мало что знаешь. И вот что, мальчик. Ты уже довольно много времени занимаешь нас своими путанными речами. У Коринфа есть свои дела. Ступай домой, передай царю Микен, что мы охотно выслушаем его требования, когда они будут представлены в надлежащей и спокойной форме, как это принято у добрых соседей. Если такие требования существуют и лишены вздорных вымыслов или необдуманных притязаний, Коринф сумеет на них ответить. Прощай.

Повременив мгновенье, микенский царевич грубо потянул повод, поворачивая коня, и медленно двинулся к спуску. В толпе успели прозвучать два-три смешка, но Сизиф поднял руку, и на площади воцарилась тишина.

Бесшумно струились, свиваясь в пальцах Клото нити судеб – тех, чье появление здесь было мимолетным, и тех, кто отныне уходил в тень коринфской истории, и выступавших в этот момент на самое освещенное место, и остального множества, без заметного и постоянного присутствия которого была бы невозможной эта игра света и тени

– всех, кроме еще не рожденных, которым прозорливая Лахесис пока только отмеряла сроки, и тех троих, чью жизнь, воспользовавшись людским неразумием, оборвала бесстрастная Атропос.

10.

Молодая женщина, в облике которой можно было бы узнать некоторые черты Антиклеи, если представить себе, что она лет на десять моложе, и что её застали врасплох полуодетой, вошла в дом, открыв дверь своим ключом. Наташа повременила у двери, прислушиваясь к мёртвой тишине, затем пошла в комнату отца, отмечая по пути, что кроме бросающейся в глаза пыли, никакого беспорядка в доме нет.

Артур лежал на диване, отвернувшись лицом к стене. Она подошла ближе, наклонилась над ним и, не услышав дыхания, постояла ещё немного, пока не увидела, как едва заметно приподнимается на его плечах плед.

Сдвинув шторы, поскольку на улице стоял солнечный день, она ушла в кухню, открыла заднюю дверь на веранду и вокруг дома вышла к машине, чтобы тем же путём привести гостя. Когда через полчаса Артур появился в дверях кухни, они сидели на воздухе, негромко беседуя за чашкой кофе.

- Я уж решила, что мы тебя не дождёмся. Здравствуй, - сказала дочь, подойдя к отцу и быстро его поцеловав. - Это – мой друг, Виктор. Хотели зайти взглянуть, не наносишь ли ты себе непоправимого вреда.

Мужчины пожали друг другу руки.

- Кофе сварить? - спросила Наташа, - Или ты голоден?

- Есть не хочу, спасибо, а кофе было бы замечательно. Мы раньше не встречались с вами, правда?

- Нет. У Наташи я бываю довольно часто, а в этом доме впервые.

Они помолчали.

Артур пытался вспомнить, сколько раз в последнее время он видел дочь, и удивлялся её такту, потому что из всех посещений, которых было порядочно, ему запомнилась только эта множественность. Они безусловно говорили о чём-то, но если она задавала вопросы, они касались столь малозначимых вещей, что, ответив, он тут же об этом забывал. Основное время она проводила в делах, наводя кое-какой порядок, пополняя запасы еды в холодильнике, орудуя со стиральной машиной и прочими шумными приспособлениями, но ей удавалось всё это совершать незаметно. Его участие во встречах сводилось, кажется, к выражению благодарности за то или иное

своевременное пособничество его отсутствию в миру. Она не знала, чем он занят. Видела, что работает, и не донимала ни советами, ни упрёками. Но вот все же не выдержала. Посвоему, без всяких уловок привела консультанта, чтобы оценить, остаётся ли отец в пределах допустимого умопомешательства.

С удовольствием выпив крошечную чашку крепкого кофе и получив вторую, Артур спросил:

- Что, собственно, вызвало твоё беспокойство?

- Да ничего особенного. Так, одна вещь. Ты, худо-бедно, но всё же интересовался моими делами. И вот я не помню, когда ты в последний раз о чём-нибудь спросил. Не то чтобы это меня обижало, но как-то странным показалось. Довольно много времени ведь прошло.

- Сколько, примерно?

- Боюсь, месяца три, а то и четыре. Тебе хоть звонят?

- Звонил кто-то. Это некрасиво с моей стороны, я согласен. Вам это тоже кажется подозрительным? - обратился он к гостю, отметив про себя, что не запомнил его имени.

- Не знаю. Нет, я бы так не сказал, - ответил тот, - Я, например, когда чем-то своим занимаюсь, могу быть очень неприятным для окружающих.

- Включая любимую дочь? - спросила Наташа, - Единственного близкого человека?

- Близкие-то сильнее всего раздражают.

Гость как будто его оправдывал, но заступничество это было непрощенным и несоразмерным. Кроме того Артуру вообще непривычно было поддерживать беседу такого рода. Она не имела отношения к тому, чем в последнее время были заняты его мысли, казалась бессодержательной, лишней. А вместе с тем он ощущал смутное обязательство перед дочерью, которая всё ещё ждала ответа на свой вопрос, слабо сформулированный, но тем не менее прозвучавший.

- Скажите пожалуйста, - обратился он вновь к приятелю дочери, - в какой мере вы знакомы с греческой мифологией?

- Вы как-то так спрашиваете, что возникает желание уклониться от ответа, - улыбнулся тот.

- Известно ли вам, по крайней мере, кто такая Медея?

- Страстная особа, кажется. Это она ведь погубила своих детей, наказывая мужа за измену?

- Более или менее. Есть и другие варианты. Это, собственно, сюжет Еврипида, а затем Сенеки, Ануя и так далее. Один наш с вами соотечественник высказывает пред-

положение, что Еврипиду была вручена коринфянами немалая сумма денег за то, чтобы он представил дело именно в таком свете. Жителям Коринфа пришлось многие десятилетия замаливать свой грех тягостными, изнурительными обрядами, ибо это они до смерти забили камнями детишек, которые, выполняя просьбу матери и не ведая, что творят, отнесли смертоносный подарок Креузе, новой пассии Язона. На самом деле это только еще один вариант мифа, но основывая на нём свои домыслы, наш исследователь пришёл к мысли о социальном заказе. Драматург, будучи выдающимся художником, овладел умами на много веков вперед и избавил очередное поколение коринфян от бремени раскаяния.

- А вы считаете, что такое возможно?

- Я думаю, это не имеет значения, поскольку данное открытие является попыткой найти психологическую отмычку к противоречиям мифа и характеризует скорее наше состояние умов и круг интересов.

- Так и есть, наверно.

- Похоже, что так, да. Но вот есть ещё одна притча – о сироте, жившей в Дельфах в неблагоприятное время засухи и голода. Однажды она затесалась в толпу, которая пришла к царскому дворцу просить о помощи. Царь раздал немного зерна и бобов наиболее видным горожанам, потому что у него не было достаточных запасов для всех. Девочка же, которой, судя по описаниям было лет десять, не больше, не унялась, стала требовать у правителя еды. Раздосадованный собственной беспомощностью в присутствии толпы, царь ударил ребёнка по лицу сандалией. Девочка в слезах убежала и в глухом месте повесилась на собственном пояске. Когда к засухе прибавился мор, пришлось обратиться к оракулу, который возвестил, что надо умиловать некую Хариклу. Ещё некоторое время ушло на то, чтобы узнать, что таковым было имя гордой нищенки. И тогда был учреждён в Дельфах обряд, который совершался раз в восемь лет – может быть, кстати, это и был возраст девочки – и в котором повторялся сюжет с участием подлинного царя и деревянной куклы, изображавшей Хариклу: её били по лицу, привязывали к шее верёвку и с почестями хоронили. Не напоминает это вам средний голливудский сценарий?

Гость в вопросительном несогласии покачал головой.

- А по-моему – типичная смесь садизма с умилением. Но тут уж несомненно древний склад ума, без поздних интерпретаций. Так что может быть у нас нет оснований снисходительно оценивать нашего мифолога. Но вы извините, что я вас вовлёл в этот диспут. В любом случае у меня не было намерения вас экзаменовывать.

- Какую жуткую историю ты рассказал, - промолвила Наташа, - Мне даже не по себе стало.

- Мне тоже не по себе, - ответил Артур, - Это не причина для беспокойства о моём здоровье.

- Мне, может, не следовало здесь появляться, - вставил гость, - но раз уж так вышло, разрешите доложить, что никакого особого беспокойства я не замечал. Так, обычное внимание. А что меня в притче этой смутило, так это суровость. Всем последующим царям, я думаю, немало стоило участвовать в ритуале. В первый раз, как я понимаю, это случилось в растерянности, в гневе. А потом должна была снова и снова обнаруживаться чрезмерная жестокость поступка. Это всё-таки не наши методы искупления. Такое углублённое чувство вины нами позабыто. Поэтому ваше сравнение с Голливудом мне осталось непонятным. Вот первый случай, оплаченная политическая пропаганда – это, конечно, наши дела.

Пустившись в этот разговор, чтобы прекратить обсуждение собственной персоны, и не сомневаясь, что, оставив за собой последнее слово, он вежливо укажет гостю на неуместность его участия в дочернем расследовании, Артур встал теперь перед новой необходимостью отвечать, так как в возражении несомненно сквозило нечто существенное. Он никак этого не хотел и был не готов. Возникла неловкость. Аналогия его была, разумеется, поверхностной и за неуважение к собеседнику приходилось платить. Его полемическая диада должна была продемонстрировать терпимость знатока к заносчивости современников, а обнаружила высокомерие и злость. Хорошо было бы повиниться, признаться в неуклюжей хитрости, да и пора было уже что-нибудь сказать.

Он подумал, что для чувства превосходства у него было ещё меньше причин, чем он предполагал. С самого начала работы он был убеждён, что предмет его исследовательский интересен и важен только ему. Чем пристальнее он вглядывался во всё более усложнявшуюся огранённость мифа, тем дальше уходил от своего прежнего существования и, стало быть, от окружавших его в этом существовании людей. Ему в голову не пришло бы обсуждать какие-либо аспекты своей работы, так как даже для самого простого сюжета необходимо было бы привести такое несметное количество предварительных объяснений, что сам сюжет отодвигался куда-то в необозримое будущее, и вся беседа лишалась смысла. Артур не знал, чем занимается приятель его дочери, но ответы его явно свидетельствовали об отсутствии специфических знаний в гуманитарной области или повышенного к ней интереса. Абсолютно чужой, никак не подготовленный человек способен, оказывается, уловить магическую силу древнего ритуала в одной из второстепенных притч, которую он даже не счёл достойным упомянуть в повествовании.

- Пожалуй, вы правы, - сказал наконец Артур, - Я беру назад своё сравнение. Скажите мне... Я прошу прощения, назовите ещё раз ваше имя... Скажите, Виктор, как часто вам приходится обсуждать такие вещи?

- Нечасто, - отвечал гость, переглянувшись с Наташей, - А пожалуй можно сказать, что никогда. Это всё – из какой-то другой формы существования, да? - продолжал он,

обращаясь к женщине, - Когда читаешь что-то похожее, вроде получается, что участвуешь в разговоре. С самим собой, по большей части.

- И вы стали бы такое читать, попадись оно под руку?

- Почему же нет? Чему вы улыбаетесь?

Артур развлёк было себя внезапно возникшим представлением о том, что многоликий грек мог ведь явиться среди бела дня в облике Наташиного знакомого, чтобы ничем себя на этот раз не выдав, настроить его полезным для себя образом, восхваляя его, Артура, повествовательские способности, развеивая сомнения в необходимости и доступности его труда для окружающих. Но тут же вспомнил, что сам затеял краткую экскурсию в Элладу.

Конечно ему было что поведать и дочери, и этому впечатлительному молодому человеку. Наверно они многое поняли бы, сумеи он выдержать до конца ту самую эпическую форму, в целесообразности которой, он уже столько раз сомневался, и которую отчасти использовал только что в устном пересказе. Всё ли из того, что ему уже открылось, и того, что еще предстоит узнать, можно передать – это совсем другой вопрос. Но гораздо более трудный вопрос заключался в том, насколько им это необходимо.

- Я улыбаюсь вашей проницательности. Хотя меня настораживает, что у моей дочери есть друзья, предпочитающие разговаривать с самим собой.

- Этого я не говорил.

- Тебе много еще осталось? - спросила Наташа?

- Трудно сказать. Надеюсь управиться еще месяца за три. А может и не получится.

Дочь подошла сзади, обняла его за шею.

- Не сердись. Я почву подготавливаю, а то мы через три месяца совсем чужими станем. Или ты без перерыва ещё за что-нибудь возьмёшься?

- Сейчас я не могу думать о том, что будет через три месяца. Нет, я не сержусь. Ты тоже меня извини. Наверно нелегко так устранишься, как тебе это удаётся. Но поверь, это лучшее, что ты можешь для меня сделать.

Пока дочь мыла чашки, они снова сидели молча. Артур пытался представить, что могло бы его настолько заинтересовать, чтобы продолжить беседу с этим довольно неглупым, общительным человеком. И не мог найти ни единого предмета. Боясь, что к такому же выводу придёт в отношении дочери, он оборвал эти мысли и стал думать о книге – единственном, что целиком его поглощало, и никого кроме него не касалось.

* * *

Обстоятельства, приведшие Сизифа к цели, не нанесли его новому положению никакого ущерба. И всё же царь счёл необходимым уравновесить трагические события, взломавшие ненадолго размеренную жизнь Коринфа, соответствующими священнодействиями. Оставалось неясным, видеть ли в деянии Медеи осквернение храма, что требовало бы богатых очищающих жертвоприношений, или супруга Громовержца сочтёт чрезвычайной жертвой самих невинных ребяташек и прольёт над городом своё благоволение.

Несомненную тень бросила на святилище смерть чужеземца. Она казалась, как будто, менее тяжким оскорблением Гере, поскольку убийством её назвала в своей горькой исповеди Медея, а на самом деле она таковой не была. Фракийца нашли висевшим над сдвинутой крышкой подземного хранилища в одном из дальних помещений храма. По-видимому, дурман, которым подчинила его волю царица, в конце концов развеялся, и ужаснувшийся своим участием в детоубийстве чужеземец нашёл собственный способ не выходить более на белый свет. Первым, что бросилось в глаза вошедшим в освещённом факелами мраке, не желавшем уступать, метавшемся тенями по низкому потолку и стенам, были висевшие вдоль тела, чуть повёрнутые ладонями назад руки самоубийцы, редкие пальцы на которых напоминали рожки козлёнка. Он явно сам себя наказал, если только богиня не смотрела на содеянное иначе, в каком случае самоубийство могло оказаться неудобным ей протестом. Уж больно глумливо указывали изуродованные руки фракийца вниз, в разверзшуюся под ним бездну.

Действовать следовало осторожно, ублажив Геру обычными, не чрезмерными жертвоприношениями и отдав должное погибшим, может быть еще не успокоившимся душам.

Наступала весна. Пора было открывать питы с прошлогодним вином и, попробовав, разливать его в мехи, чтобы нести на базар. В отличие от шумных Афин, где эта пора отмечалась трёхдневным праздником Анфестерий, Коринф ограничивался скромным ярмарочным гулянием в двенадцатый день месяца. Но в этот раз Сизиф решил отчасти воспользоваться примером Афинян и добавить еще один праздничный день. С одной стороны, он относился к обычным сезонным торжествам и не имел прямой связи с событиями вчерашнего дня, но с другой – вполне мог развеять всеобщую угнетённость по поводу смертей, так как из афинского канона царь выбрал не День кружек – буйную, непристойную гульбу, от которой старались уклониться и наиболее степенные афиняне, а третью, последнюю фазу Анфестерий – День мармитов.

Выбор этот определялся не столько расчётом, сколько глубоким личным сожалением о случившемся, утешить которое можно было не менее личным приношением. Тут всё и сошлось, так как в основе обряда, отправляемого в День Мармитов, лежала роковая вежа в судьбе его прадеда, однажды оставшегося со своей женой единственными живущи-

ми на земле людьми.

Это было время великого божьего гнева и опустошения. Роду людскому предстояло исчезнуть под водами океана. Лишь Девкалиону и Пире удалось выжить, благодаря их редкой праведности и заступничеству отца, Прометея, надоумившего сына заблаговременно построить корабль. Неоглядные хляби, по которым десять дней носилось судно с одинокими супругами, несколько не уверенными, суждено ли им когда-нибудь вновь увидеть сушу, и уже не знавшими, стоит ли радоваться своему избранничеству, стали наконец сокращаться. С обнажившейся вершины Парнаса праведники с облегчением наблюдали, как остатки потопа бурливо опали в одну из расщелин. Их должно было быть множество, чтобы принять такую бездну воды вместе с останками всего жившего прежде, и любая из них становилась отныне священной, отмечая границу между жизнью спасённых и смертью бесчисленных множеств, почитать страдания которых было бесспорной обязанностью.

Возблагодарив Зевса за дарованное спасение, принеся ему скудные по обстоятельствам жертвы из того, что им удалось собрать не едва подсохшей земле, Девкалион и Пира принялись восстанавливать отсутствующее человечество, в соответствии с откровением, которое нечеловеческим языком предлагало воспользоваться для этой цели «костью матери своей». Когда чрезвычайным усилием духа Девкалиону удалось разгадать, что речь идёт о всеобщей матери, о прародительнице всего живущего Земле и, стало быть, о простых камнях, муж с женой распустили пояса и тронулись в это посевное шествие, бросая через плечо камешки и закутав головы, чтобы не лицезреть страшного труда исходной созидательной силы – столь велико было их благочестие, то есть понимание непостижимости для человека божьего промысла, попросту говоря – страх божий.

Обзаведясь таким образом многочисленным потомством, в котором вновь благоразумно соединились мужи, выросшие из камней Девкалиона, и жёны, образовавшиеся из посева Пире, третьим своим долгом на обновлённой земле супруги сочли помянуть навсегда ушедших. Среди утвари, собранной ими в ковчег, был отыскан медный котёл – мармит, и в нём сварена нехитрая похлёбка. Затем, оставив еду у расщелины, родоначальники нового человечества увели стремительно подраставшее потомство в отдалённую рощу, где все вместе провели целый день, чтобы не смущать своим присутствием тени умерших. Этот обряд и составлял содержание Дня мармитов. Вводя его в обычай города, Сизиф отдавал людям потаённую часть самого себя, она становилась той самой личной жертвой, способной искупить его удручающую безучастность в предотвращении греха, на который обрекла Коринф мятежная царица.

Обучив домашних и всех горожан отмечать День Мармитов, сначала приношениями Гермесу, проводнику душ, без которого они не нашли бы пути к священным расщелинам, а потом приготовлением настоящей похлёбки из козлёнка с овощами и травами и

запретом на целый день входить в комнату, где она оставалась, Сизиф и сам проделал всё это в сосредоточенном молчании. На время ему полегчало.

Однако, скорбь по царским детям и беспалому бродяге, чья жизнь начинала так тесно переплетаться с его собственной и так нескладно оборвалась у него на глазах, не проходила. Сопутствуя трудам и дням, она отнимала у них прежнюю яркость. Истина о неизбежности утрат, которую они с плеядой познали в ночь просветления, оставалась в силе, помогая сохранять бодрость, но мир вокруг как будто слегка потускнел. Ему по-прежнему доставляло удовольствие жить в полную меру сил, испытывать радость от того, что любое начинание он мог теперь осуществить собственными руками, без досадных упрощений, неизбежных при посредничестве третьих лиц. Ему нравилось быть царём, отвечать за благополучие подданных, заботиться о процветании государства, ощущать себя соседом не Автолика и Диомеда, а Тиринфа, Дельфа или даже Афин. Это был внушительный, давно желанный шаг, но с того места, куда он привёл, открывалась новая, хорошо протоптанная дорога к ещё большему могуществу, которому он уже служил, несколько к нему не стремясь. Хотел он того или нет, надо было соперничать с соседними городами, втягивать их в сферу своего владычества, если Коринф не хотел сам оказаться в чьём-либо подчинении. И недостаточно было просто уклоняться от таких посягательств с помощью всё новых и новых уловок. Разум подсказывал, что лучшим способом оберечь себя от чужой жадности было бы испытывать её самому или притворяться, что она велика и неуёмна, что, в сущности, одно и то же. Такая перспектива повергала его в уныние.

Он задумывался о том, были ли у его отца, фессалийского царя, похожие заботы, и, припоминая некоторые разговоры, казавшиеся тогда неинтересными, понимал, что Фессалия жила под постоянной угрозой нашествия с севера дикого, многочисленного народа, имени которого из суеверного страха старались не называть. Теперь ему уже не вспомнить было, к каким хитростям прибегал Эол, чтобы отвести эту опасность, которая им, детям, виделась далёкой и нереальной. Противостояния эти не были случайной бедой, вроде засухи или землетрясения, они коренились в самой природе взаимоисключающих волю разных племён и народов к господству, иногда обостряясь, благодаря всяким дополнительным чертам характера того или иного царя.

Осуществляя свой главный план – устройство удобной сухопутной переправы через Истм, Сизиф не сомневался, что облегчив торговый путь купцам из Малой Азии и Италии, за что они будут платить Коринфу разумную мзду, он поступит всем на благо. Но он догадывался и о том, что разница между услугами отдельным, хотя и многочисленным, торговцам и доходом, поступающим в казну единого царства не станет незамеченной и наверняка приведёт к кривотолкам. Он не стремился к быстрому обогащению – жизнь давно отучила его торопиться – и не собирался устраивать драконовских поборов. Однако,

сам проект требовал первоначальных затрат, которые царь решил ни с кем из соседей не делить. Предстояло расчистить и выровнять дорогу от одного порта до другого, наладить надёжный извоз и постоянное производство катков и волокуш для более громоздких грузов. Так что прежде чем обогащаться, городу предстояло ещё вернуть уже израсходованное. Правда, помимо чистого дохода в виде платы за переправу, коринфяне обеспечивали себя устойчивым заработком, так как в обоих портах появлялась потребность в грузчиках и достаточном количестве возничих, а на самой переправе – в умелых носильщиках и подкладчиках брёвен и погонщиках воловьих упряжек. Работу давала и плотницкая мастерская, ибо срок службы катков и волокуш был недолог, их следовало заготавливать впрок.

Так или иначе, размер пошлины, которую установил Сизиф, был умеренным. А ещё он упорядочил процедуру прохода через Коринф для своих соотечественников с севера и юга. Он запретил всякий досмотр и вместо произвольных и вынужденных распродаж в самом Коринфе, которые лишали купцов стимула предпринимать долгие путешествия в Пелопонес и на материк, ввёл устойчивый, опять-таки умеренный налог, рассчитывая, что движение взад и вперед оживится, и в итоге все выиграют.

Это было всего лишь умелое использование географического положения, которое вело за собой, тем не менее, грозную опасность. Выгоды Коринфа, о которых прежде по-настоящему не задумывались, пробудили зависть других городов. Соперничество, так разочаровывавшее Сизифа, ещё более обострилось. Пока хватало небольшого гарнизона, чтобы удерживать порядок на всём торговом пути, обеспечивая безопасность тем, кто им пользовался, и предупреждая разрозненные вылазки запальчивых соседей. Но само благоразумие внушало, что так продолжаться не может, надо либо заводить серьезные военные силы, либо смириться и делить доходы с тем, кто окажется сильнее.

Этим Сизиф не хотел и не чувствовал себя в силах заниматься. Дело было не только в том, что по природе своей он не принадлежал к полководцам. В конце концов, можно было найти обладавшего необходимыми качествами и талантом, надежного лавагета. Ему претила сама мысль о превращении миролюбивого города в военную крепость, подобную Спарте. Но в неприступной Спарте жили самые красивые женщины. И хотя одно не имело никакого отношения к другому, само по себе это сочетание вновь намекало, что мир слеплен кое-как и управляем законами, которые, по меньшей мере, неразумны. Будучи простым горожанином, он сокрушался о недаровитости в управлении государством. Став царём, он обнаружил беспорядок в международных делах, где преобладали не разум и находчивость, а нетерпение и сила, и уже догадывался, что попытка объединить на неких мудрых основаниях весь обозримый мир будет вторжением в сферу влияния еще более высоких, уже небесных сил, которые пока не только не проявляли благоразумия, но, по-видимому, сами были причиной земного неблагополучия. Эта догадка возвращала его

к собственному давнему переживанию, испытанному во дворе отцовского дома, когда расходились в стороны два равно одиноких родных человека, отец и дочь. Но стоило начать размышлять об этом, как в голову лезли все остальные нелепости, случившиеся на его веку, венчаемые мыслью о матери-богине, стукнувшейся лбом в ту же стену. Она сумела обрести покой, но оставалась при этом небожительницей. Свет её откровения перепал и некоторым людям, помогая не впасть в отчаяние, но чтобы полноценно жить на земле всем, этого было мало.

Как бы в подтверждение тщетности добрых поступков и полезных начинаний до Сизифа стали доходить слухи о нём самом, как о разбойнике, безжалостно грабившем всех, кто решался пересечь Истм с севера ли на юг или с востока на запад. Как будто ради удобной простоты люди объединили его коммерческие способности с преступными наклонностями сосногибателя Синиса, благо того давно не было в живых, и судачить о нём, а тем более гневаться на него им стало скучно. Теперь Сизиф был не только совратителем малолетних и чужих жён, не только пройдохой, не гнушавшимся для своей выгоды ни хитростью, ни обманом, но просто грабителем.

Слухи ему не мешали. А если бы он желал добиться большего могущества, можно было бы даже использовать широкую известность себе на пользу. Но поскольку ни такого рода спекуляции, ни агрессивная воинственность не пробуждали в душе коринфского царя ни малейшего отклика, он видел, что постепенно вновь остаётся в стороне от главной дороги, по которой шумным, беспорядочным потоком влекутся его современники. Эта навязываемая ему созерцательность мучила Сизифа. В попытках избавиться от неё он придумывал всё новые и новые занятия, стараясь себя убедить, что уныние – слабость, что не стоит заглядывать вперёд слишком далеко, что Дельфийский оракул своё отслужил, подарив долгожданное царство в таком красивом и богатом возможностями краю, что каким бы хрупким ни казалось благоденствие, оно вполне способно продержаться ещё некоторое время, и так ли уж много осталось этого времени на его веку...

* * *

В тот день он захотел после долгого перерыва пройти по перешейку, где не осталось и следа от строительных работ, где теперь можно было встретить только купеческие караваны, неторопливо перемещавшиеся навстречу друг другу. Но выйдя из дому, он почти тотчас вернулся. Не ответив на удивлённый взгляд жены, он прошёл мимо неё и поднялся на открытую террасу, выходящую на площадку позади дворца с видом на Эленийскую долину и синий залив. Меропу обеспокоил мрачный вид супруга, она поднялась

вслед за ним.

- Я не ждала тебя так скоро, - сказала она, - Хочешь я приготовлю соку из граната? Внизу должно быть жарко сегодня.

Сизиф покачал головой.

- Хорошо, что ты дома. Как только ты ушёл, я вспомнила, что собираюсь тебе сказать уже давно, и все забываю. Ты должен заняться детьми. Они неплохие мальчики, но теперь, когда Главк и Орнитион стали постарше, мне трудно с ними управляться. За младшими я ещё могу уследить, а на всех четверых просто глаз не хватает. Да и не очень они слушаются меня, эти молодые мужчины. У них уж, наверно, девицы на уме. Третьего дня приходил Агелай, тот, который держит извоз в Кенхрее, и, не то чтобы жаловался, но я поняла, что мальчикам нашим кружит голову принадлежность к царскому дому. Мы ведь не этого для них хотели, правда?

- Ты знаешь, что обо мне люди говорят? - спросил Сизиф, и Мeroпе показалось, что она сумела отвлечь мужа от его тяжёлых мыслей. Её тревога о детях была настоящей, но всё же не шла ни в какое сравнение с тем, что, как она видела, мучает Сизифа, и о чём ей боязно было расспрашивать.

- О тебе хорошо говорят. По крайней мере в Коринфе. Не думаю, чтобы они когда-либо были так довольны своим царём. Но и врут тоже много, это верно.

- Одно другому, как будто, не мешает, а? Хотелось бы знать, доходит ли это враньё до богов, умеют ли они отличить его от правды.

- Почему ты об этом думаешь? И что означает эта горечь в твоих словах? Я замечаю её не впервые.

- Хотел бы я также, чтобы сыновья росли побыстрее. Вряд ли я смогу чемуто полезному их научить.

- Что ты говоришь, Сизиф! Разве стряслась какая-то беда, о которой мне не известно?

- Может быть и нет. А думаю я об этом, потому что всё остальное перестало меня занимать. Сдаётся мне, что я всё больше похожу на слухи, которые обо мне распускают... Если подойдёшь вон туда, к краю, увидишь это место на Лехейской дороге, за первым поворотом. У меня даже нет возможности поверить, что это было во сне, как ты пытаешься меня убедить, когда я говорю о твоих сёстрах и охотнике... - только сейчас Плеяда заметила, что смуглые кисти его рук дрожат. - Сам Зевс, я полагаю, удостоил меня теперь своим лицеизрением. И застал я его за делом недостойным. Видала ты когда-нибудь орла, способного тащить в своих кольчатых лапах взрослую деву? Вот и вообрази эту птицу, ворочающую крылами размером в парус и косящую жёлтым глазом величиной в критскую чашу на случайного путника, который провожает взглядом этот позор. О,

воронье отродье! - вскричал вдруг Сизиф, топнув ногой так, что подпрыгнул треножник в углу терассы, - Мне не семнадцать лет! Любопытство моё поугасло! Я больше не горю желанием вступать в божественные дела. И пусть я буду стократ оболган богами и людьми – ведь мог же он не показываться! Не пялить свой холодный глаз, приглашая меня вступить с ним в сговор! Мне незнакома несчастная дева, но я держал на коленях малышку Тиро, обманутую его братом. А с некоторых пор мне не совсем чужим стало горе Деметры, у которой украли дочь. Если бы я знал, чей дом разоряет Олимпиец, клянусь – не задумываясь указал бы отцу похищенной на вора.

У Плеяды оборвалось сердце, и дыхание её стеснилось.

- Ну что? - продолжал Сизиф, - Теперь впору тебе предложить питьё? Пожалуй, простой воды, чтобы ты успокоилась. Я же сказал, что не знаю, кому оказать эту услугу, и ничего ещё с нами не случилось. Но я сыт по горло ролью соглядатая, которую отводят мне боги в своих бесчинствах.

- Боюсь даже представить, какую кару ты мог бы навлечь на себя таким своеволием, - проговорила наконец Меропа.

- Означает ли это, что ты взялась бы меня остановить?

Вот о чём шептала ей Медея, советуя держаться за человеческое естество. Не медля ни минуты, ей следовало решить, что же будет истинно людским ответом. Только в крайнем, самоубийственном заблуждении мог восстать человек на основы миропорядка. В общем-то, это было бы уже не по-людски, так как в этом случае он ставил себя вровень с богами. Этого представления, совпадавшего с требованием инстинкта, который повелевал утихомирить мужа, вернуть ему здравый смысл, вполне хватало, чтобы не ломать себе голову. Но загадочное предупреждение колхидской волшебницы мешало на этом остановиться. Уверенность Плеяды в неминуемых последствиях бунта была слишком безусловной, какой не могла быть кичливая вера человека. Это было знание, возможно проистекавшее из её нездешней природы. Повинуясь порыву, продиктованному, по существу, запретным расчётом, она оказывалась совсем не той земной женщиной, которой призывала её оставаться Медея.

Кем же на самом деле следовало себя считать Меропе?

Удивительных существ рождали в пору цветения своей созидательной силы и взаимной симпатии сын титана Иапета Атлант и океанида Плейона. Это были редкие, необходимые мирозданию души, чьей сутью оставалась чистая женственность, поскольку мыслимо было различать в мире мужское и женское естество. Все девы мира, пленявшие властным чудом красоты, даже сама богиня любви Афродита чувствовали бы себя потерянными, подчинёнными власти произвольных суждений, если бы не осеняла их

вечно мерцающая слава Плеяд. К ней они могли возвращаться духом, подвергшись унижению, вынужденные усомниться в своей бесценности, и, омывшись её лучами, неизменно возрождались, вновь повергая Вселенную к своим стопам и побуждая её восторженно себе служить, ибо не было высшей радости у людей и богов, чем трудом, подвигами и песнями воздавать беззаветную, всегда казавшуюся недостаточной дань женскому очарованию, предельной женственности, которая единственно соответствовала всеобъемлющему представлению о прекрасном.

Зов пола, опасная, змеиным языком раздваивающаяся тяга к смерти и продолжению рода не омрачала воздушного естества небесных сестёр, и потому не дано было вечному охотнику завершить свою погоню победой. Но олицетворяя собой недостижимое совершенство, Плеяды пробуждали в богах беспокойное желание произвести нечто ещё более высокое. Те как будто не выдерживали исступлённого напряжения, связанного с созерцанием истинной красоты. Пользуясь правом демиургов, они сливали свою творческую энергию с мерцанием то одной, то другой из сестёр. Ничего путного из этого не выходило, лишь иногда, в далёких поколениях, давно смешавшихся с земной кровью, возникали потомки, заслуживавшие некоторого внимания. Так поздними отпрысками Алкионы были крылатые братья Зет и Амфион. Потомком Тайгеты стал в восьмом поколении удивительный врач Асклепий. От Электры вёл своё происхождение Ганимед, любимчик и виночерпий Олимпийца, а ещё позднее – трагические жертвы Троянской войны Гектор и Кассандра. Но разве мыслимо было сравнивать значение этих, по-своему замечательных созданий с пронзительным ощущением прелести, исходящей от Плеяд!

Особая судьба ожидала, однако, Майю, часто уединявшуюся от сестёр и от пещинного кипения божественных самолюбий. Когда её всё же высмотрел в Килленийской пещере Зевс, плодом их тайного сотворчества стал бог обмана и заблуждений, чуждый обоим мирам и в оба вхожий властитель порога, вечный вестник и проводник Гермес, достигший пародийного равенства с двумя крайними полюсами бытия – гармонией и неистовством, Аполлоном и Дионисом.

Сильнейшая волна загадочности и новизны, прокатившаяся по миру с появлением этого, единственно значимого отпрыска Плеяд, особым образом коснулась Меропы, пробудив в ней беспокойство. Напрасной была попытка Зевса породить нечто, превышающее совершенство Плеяд, за которым творение соскальзывало обратно, к самым истокам непросветлённого животворящего естества. Но явившийся в мир благодаря редкому сочетанию высшей потенции и непревзойдённого совершенства демон обнаружил себя на самой, недоступной постижению, не существовавшей до него и никому, в сущности, не нужной границе между верхом и низом. Закрепившись на ней, он стремительно раздвинул её пространство, создав собственный, непроницаемый мир, в который мог по своему жела-

нию втягивать ту или иную жертву, и где она мгновенно терялась, ибо произвол, установленный Гермием в своих владениях, был беспределен и сокрыт от остального мира. Незаурядное божество смешивало все карты, способно было зло представить добром, а добро злом, по непринадлежности своей природы не отдавая предпочтения ни тому, ни другому. Обустроивая своё зловеще-независимое бытие, он пополнял его второстепенными или вспомогательными силами природы, тут же возводя их в главные принципы существования, и, добравшись до таинственной области взаимоотношения полов, немедленно вычленил из неё сферу вожделений, безликих, бесстыдных. Именно с его лёгкой руки она вскоре громогласно и открыто заявила о себе вставшими на перекрёстках всех дорог каменными гермами – назойливым напоминанием о мужской детородной силе. И именно Меропе, единственной из сестёр еще не испытавшей ничьих посягательств, предстояло первой ощутить напористое влияние этого духа, его устрашающую чуждость всему совершенному и прекрасному и, одновременно, прочную принадлежность самой природе бытия.

Удивительную дочь Атланта и Плейоны стали посещать удивительные мысли. Ей зябко стало вдруг сиять в таком безмерном отдалении от земли. Её ослепительной женской сути чего-то недоставало. Напряжение совершенства, которого не выдерживали даже боги, стало в тягость самому источнику чистоты и недоступности. Но всё это были лишь туманные догадки, девичьи грёзы, так сказать. Вероятно им суждено было бы рассеяться в ровном свечении безукоризненного небесного сестричества, если бы незримой ткани их существ не пришлось однажды отразиться в глазах юноши, упорство которого, неосознанное им самим, прервало привычный бег сестёр, преследуемых Орионом. В этот миг Меропа догадалась, какой её мучит образ – в его глазах она впервые увидела свои белоснежные руки, ощутила их мягкую тяжесть, показавшуюся блаженной, вообразила, что её пальцы согревает тепло мужских ладоней.

Не следует думать, что этим мгновением всё было решено. Как раз наоборот, острое чувство, пронизавшее Пляду, напомнило ей о неисполнимости её желания. Всё в этом чувстве было незнакомым – и восторг, который доньне Плядам дано было лишь внушать и наблюдать, а теперь схвативший в свои жаркие объятия её самоё, и сдавливающие контуры формы, внутри которой Пляда себя ощутила, неодолимые границы плоти, прекрасной, но обреченной. Восхитительное существование, пригрезившееся ей на мгновение, означало гибель, небытие, и эта возможность, во всей её мучительной очевидности, тоже явилась Меропе впервые.

Стоит ли пояснять, что не зуд вожделения и не инстинкт продолжения рода владели Плядой. Ни то, ни другое незнакомо было её божественной природе. Но чистая влюблённость, помышляющая лишь о прикосновении, о какой-то неведомой, неземной близости, могла сковать своими незримыми цепями и небожителей. Пляда была

влюблена.

Ещё некоторое время она старалась бороться с этим чувством – не избавиться от него ей хотелось, оно было ей уже слишком дорого, а хотя бы им овладеть, привести в порядок мысли, чтобы они не растекались жидким золотом при каждом воспоминании о вьющихся кольцами тёмных волосах, схваченных обручем. Вдруг ей открылось, чего хотел от них взмокший, тяжело пыхтевший гигант, и всё её прозрачное существо потемнело от негодования. Пробуждавшейся в ней женщине противостояло не мужское начало, не мужчины вообще вызывали это новое волнение. Оно было обращено к единственному из них, к избраннику, без которого Плеяда уже не могла представить себе того, что лежит впереди. Это было еще одним новым ощущением – будущее. Не явленное пока, оно, тем не менее, оттенило столь же эфемерное, но вполне возможное прошлое, создало образ границы между ними, порога, который Плеяде пришлось бы переступить, решилась она подчиниться своему влечению.

Предчувствие неминуемой гибели заставляло тускнеть свет, излучаемый одной из сестёр, но теперь она не спешила отбросить тяжкие мысли и вернуть себе полноценное сияние. Гибель ведь относилась к настоящему, которое, канув в небытие, станет всего лишь прошлым. А за порогом она родится вновь для какого-то другого бытия, о котором Плеяда ничего не знала, кроме того, что к нему стремится вся её звёздная душа.

Вместе с тем, как она привыкала к новым мыслям и обретала уверенность, лучи, посылаемые Плеядой к земле из чёрных небес, наливались необычно глубоким янтарным цветом и силой. И однажды, незаметно для обитателей дольного мира, одна из Плеяд погасла, а в оливковой роще на Фтиодитийской равнине, неподалёку от Анавры, там, где полноводный Энипей едва-едва набирал разбег, оказалась юная дева в грубом мужском хитоне, который она только что взяла в пустом пастушьем шалаше у подножья Ороса, чтобы прикрыть наготу. Дева стояла в нескольких шагах от потока, не решаясь подойти, так как на неё внезапно обрушился целый рой догадок, одна беспокойнее другой. Ей предстояло ещё совершить одинокий путь в Фессалию, в царство Эола, чтобы встретить одного из его сыновей. И если она нисколько не сомневалась, что увидит того, кто некогда протянул ей руку, совершенно неизвестно было, кого увидит он. Плеядой она больше не была, и лишь взглянув на своё отражение, могла узнать, кем теперь стала.

Но эта новая жизнь обладала неким властным свойством прямолинейного движения, и направление у него было только одно. Глубоко вздохнув, обеими руками подрав длинные каштановые волосы и придерживая их у затылка, Метропа шагнула к ручью. Сначала ей ничего не удалось увидеть в прозрачной, весело бегущей воде. Тогда она перешла повыше, где на берегу росла огромная ива, и в упавшей на воду тени разглядела своё лицо.

Могло оно быть и по красивее. Оно должно было бы быть неподражаемо прекрасным, чтобы Сизифа не сбивала с толку красота других девушек, наверняка окружавших его там, в многолюдной Лариссе. Губам наверно стоило быть чуть полнее, хотя небольшой рот создавал впечатление искренности и сдержанной силы чувств. Особенно разочаровали Меропу глаза. При довольно яркой синеве они как будто не могли сойтись в спокойном равновесии, правый глаз на какой-то, едва заметный волосок уходил ещё правее. Она оторвалась от воды и потом снова вгляделась в своё отражение, стараясь дожидаться ровного прогала в беспорядочных мелких струях. На этот раз она отнеслась к кажущемуся недостатку иначе. Глаза были достаточно велики, светились умом и добротой, а некоторая асимметричность прибавляла лицу выражение легкого лукавства. Таким сочетанием игривости и простодушия вряд ли могла похвастаться каждая эолийская девица.

Но лишь только она успела справиться со своим обликом, еще одна коварная догадка повергла Меропу в смятение. Здесь всё было чужим, неожиданным, и юноша, засмотревшийся на Пляду, вполне мог обойти своим вниманием одну из сверстниц. Да и откуда в самом деле появилась у неё уверенность в том, что он ждёт её, стремится к встрече с таким же нетерпением? А если её надежды ничем не оправданы, если ей не суждено прожить жизнь в головокружительной близости с этим человеком, уж лучше сразу броситься в равнодушно бормочущий ручей.

Много нового ожидало здесь трепещущую в неведении деву, многому она должна была научиться, лишь одно было ясным с самого начала – к прошлому, уже заволакивавшемуся мглой, возврата нет. Осторожно переставляя босые ступни, она вышла на каменистую дорогу, которая вела на север...

Так было всё это с нею или нет? Или это настойчивые, вопрошающие глаза юноши из Эолии, теперь её супруга и отца её детей, так странно оживили воображение Меропы?

- Остановить? - повторила она вслед за мужем, - Да, мне хотелось бы тебя остановить. Но я не вижу в тебе ни горячности, ни безумия. А без того или другого пытаться стать помехой Зевсу может только человек, который решил, что жизнь его прожита. Это значит, что ты оставляешь меня, Сизиф. Мне трудно это понять... Но я пришла в мир, чтобы отдать ему всё, что у меня есть. Никто не виноват, если я не приготовилась как следует к его крайней жестокости.

- Нет, нет, молчи! Не надо! - воскликнул Сизиф, вскочив и быстро подойдя к жене, - Я знаю. Я знаю даже боль твоих первых шагов по земле, я испытал её вместе с тобой., - он держал в ладонях опечаленное лицо Пляды, - Как ты красива! Тебе нельзя печалиться из-за таких пустяков. Что бы делал я, если бы ты не пришла? Искал бы,

наверно, способ подняться к тебе... Но раз ты нашла силы расстаться с небесной радостью и вечностью, должны найтись силы и у меня, чтобы всё это тебе вернуть, подарив полноценную земную судьбу.

- Ни слова не понимаю из того, что ты говоришь, - отвечала Мeroпа, - Разве лишь, что ты всё ещё любишь меня. Но неужели это так уж по-людски – желать себе зла?

- Ничего такого я не желаю ни себе, ни, тем более, тебе или детям. А теперь послушай, что я скажу. Я не оставляю тебя. И жизнь моя ещё не прожита. Она оказалась славной. Брак наш был благословен счастьем. Сыновья растут здоровыми, достаточно разумными, принося нам лишь обычные родительские тревоги. Нам хватило мудрости и терпения, чтобы одолеть многие беды – иногда вовсе необъяснимые – и надежды наши осуществились. Я говорю «наши», потому что моё желание встать во главе царства не по наследству и всё же справедливым путём сразу же стало твоим желанием, без твоей помощи я не смог бы его исполнить. Осталось ли нам чего-либо ещё желать, кроме того, чтобы окончить дни в покое и довольстве, в окружении потомства, которое, конечно же, не замедлит умножиться? Но если ты спросишь, в ладу ли с таким исходом моя душа, я признаюсь тебе в одной слабости, которая и теперь, когда все невзгоды вроде бы позади, всё ещё обременяет мне сердце. Если от неё не избавиться, жизнь окажется незавершенной, как будто я притворился незрячим, ухитрился сберечь часть отпущенных мне сил и обманул создавшую меня природу, так как силы эти ни на что другое не годны и никому больше не нужны. Эта слабость гложет меня, не даёт успокоиться. Я думаю теперь, что может быть похожие мысли мучали Медею... Нет, нет, я ни слова не скажу в её оправдание. Я говорю совсем о другом. О своём оракуле, о том, что однажды переступил черту на фессалийском поле, и с тех пор Большое время открывает мне себя без всяких усилий с моей стороны, а я делаю вид, что этого не замечаю.

Много раз боги вмешивались в нашу жизнь, жизнь моих родных и тех, кто по разным причинам становился нам близок. При всех страданиях, приносимых таким вмешательством, я признавал их право вершить наши судьбы, не мнил себя достойным того, чтобы они посвящали меня в тайный смысл своих деяний. Но разбитая жизнь Тиро, судьба Афаманта, нескладная кончина Салмоней и ужасная – нищего фракийца, бедные детишки Медеи и её собственное горе, то, наконец, что меня необратимо оторвали от семьи, или эта несчастная дева, чья свобода была сегодня попрана столь бесцеремонно – всего этого становится слишком много. А мы ведь знаем о разбитых судьбах и попранной свободе многих других, о которых нам довелось только услышать, в том числе – о гибели Кори, заставившей нас с тобой провести бессонную ночь и многое пережить. Пусть тщетны наши усилия разгадать их поступки, пусть нас с ними разделяет пропасть, но оставить неразрешённой эту боль, как будто мы её и не испытываем, не поспешить на помощь доче-

ри, подобно разгневанной Деметре – значит отказаться от самих себя.

Есть ещё две-три ступени вверх от этого дворца. Можно, например, объединить весь Пелопонес, сделав это огромное царство во сто крат богаче и счастливее, чем Коринф. Можно потом, показав свою мощь и процветание, уломать гордые Афины присоединиться к союзу, а за ними нетрудно будет втянуть в него и Беотию, и Фессалию, и просторную Эпир, и Македонию и создать великую единую Элладу, которой вряд ли кто возьмётся угрожать. Но почему бы тогда уж вслед за этим не обратить взоры к Персии или Египту? Я скажу тебе, почему. Даже если поторопиться и успеть всё это сделать на своём, не таком уж долгом веку, где же будет конец? Не окажется ли весь охваченный тобою мир всё тем же плодом без семени, который тут же начинает гнить – в твоей ли замешкавшейся ладони или в твоём, испытавшем мгновенное удовлетворение желудке? Куда же направим мы свои честолюбивые мечты с этой вершины? Мы ведь знаем, что мир не кончается ни Персией, ни Египтом, ни любым другим краем на земле. И если бы то, что лежит за её пределами, нас не касалось, нас оставили бы в покое. Нас не мотали бы взад и вперёд во времени, не совершали бы у нас на глазах насилия над нашими близкими, не дарили бы счастья вступить в благословенный союз с Плеядами. Мне не нужно карабкаться по этим ступеням, чтобы на самом вершине задуматься о том же, о чем я думаю сейчас – от самих ли Девкалиона и Пирей веду я своё происхождение? Или я всего лишь один из камней, брошенных через плечо сыном Прометея?

- Но разве твой отец...

- Спрошу то же и о нём. И не смогу себе ответить, был ли он простым царем Эолии, отцом шести сыновей и шести дочерей, или был Эол богом воздушных потоков, властителем ветров. Но я боюсь, что ввожу тебя в заблуждение. На самом деле это не так уж важно. Я долго верил, что, поступая по совести, смогу принести благо не только себе и близким, но и царству, которое у меня будет. Оказывается, этого мало. Всеми силами стремясь к добру, нужно быть готовым творить зло и не гнушаться этим. Но я никогда не поверю, что умножая зло, можно его победить. Я не тшусь постичь замысел богов и не надеюсь, что они нам его откроют. Всё, что нам дано, это чтобы в самую трудную минуту сверкнула догадка о том, что он существует, и что он благ. А если во всю оставшуюся жизнь мы только и делаем, что удивляемся, насколько далёк мир от этой предполагаемой благодати, то пусть об этом заботятся боги, это их дело. Я берусь отвечать только за себя и, поскольку ты разделяешь мои чувства – за тебя. Даже нашим сыновьям мы можем помочь только примером.

Я не счёл себя равным богам, разум мой не пострадал. Мне достаточно быть человеком, по-своему распоряжаясь своей судьбой, не закрывая глаз ни на косматых водяных, ни на свержестественных птиц, ни на быков с лоснящимися холками, ни на

безликих возникших, которые растаскивают во все стороны моих сестёр, а вместе с ними веру в своё величие и мой покой. Нет жить мы продолжим, с благодарностью принимая покровительство богов в добрых делах и отказываясь от него в делах неблагоприятных.

И вот что еще скажу тебе, моя единственная. Мы не знаем пока, за кем во всём этом последнее слово. Меня не удивило бы, если бы обнаружилась в мире справедливость, затмевающая высотой и вершину Олимпа. Тогда, поступая по совести, не впадая в упрямые заблуждения, подобные тому, которое овладело мученицей из Колхиды, мы всё-таки уцелеем. Может быть, и тебе суждено ещё просиять в небесах, а мне вечно оберегать тебя от распалённого гиганта-охотника.

- Что же ты собираешься делать?

- Ничего. Я не ищу ссоры и не собираюсь дразнить ни небесные, ни подземные силы. Но унижать своё достоинство больше не позволю ни тем, ни другим.

- Ты несколько не утешил меня, - говорила Плеяда, впиваясь испуганным взглядом в лицо мужа, - Но я давно во всём полагаюсь на тебя и буду с тобой бок о бок, куда бы ни завели тебя эти шальные мысли. Только умоляю, будь осторожен. Всего мы не знаем, ты сам это сказал.

Обнимая жену, вдыхая свежий запах её волос, Сизиф не думал о том, что от первого же шага, который ему придётся сделать, осуществляя своё решение, его отделяли всего несколько минут.

Худой старик с длинной, совершенно белой бородой давно уже дожидался Сизифа внизу, в главной зале дворца. Он сразу внушил слугам почтение своей осанкой, но кроме того был слеп, и глубоко запавшие глаза придавали всей его фигуре скорбное величие, так что притаившийся у выхода на террасу посыльный, не решаясь прервать уединение царствующих супругов, терпеливо ждал, когда ему позволено будет сообщить царю о посетителе. Подросток, сопровождавший слепого, носил простую пастушью рубаху, короткий плащ и шапку с наушниками, которые были подняты кверху, свисая по сторонам головы, как собачьи уши. В отличие от старика, прислушивавшегося к звукам с сосредоточенным вниманием, мальчик проявлял полное равнодушие к окружающему. Можно было подумать, что он ждёт лишь слова, чтобы исчезнуть, как будто, проводив спутника во дворец, он свою задачу выполнил. Но именно его пустой взгляд, безразлично скользнувший по лицу Сизифа тут же прогнал память о примирительной беседе с женой, заставив царя насторожиться.

- Не перед добрым ли властителем Коринфа стою я с моими незрячими глазами? - спросил старик неожиданно сильным, низким голосом.

- Это я, отец, - отвечал Сизиф, бережно беря гостя за предплечье и подводя к креслу, - садись и скажи, не хочешь ли глоток вина или кусок свежей лепёшки, прежде

чем расскажешь, что привело тебя в наши края?

- Нет, я не голоден, и совсем другая жажда меня мучает, Сизиф, спасибо тебе. Края же эти мне хорошо знакомы, хотя я не нашёл бы дороги без провожатого. Он всё ещё здесь, этот услужливый мальчик? Его наверно, следовало бы накормить.

- Как зовут тебя? - спросил Сизиф подростка, который так и не тронулся с места. Тот отвернулся в сторону, пожав плечами.

- У тебя нет имени или ты нем?

Вялый взгляд проводника вновь прошёлся по присутствовавшим, ни на ком не задержавшись, и опустился к полу.

- Он неразговорчив, - заметил старик, - За всю дорогу мне не удалось услышать от него и двух слов.

- Что ж, должно быть он привык сам о себе заботиться. Отведите его на кухню. - распорядился царь, - Пусть выберет то, что будет ему по вкусу... Я слушаю тебя, незнакомец. Ты говоришь, что хорошо знаешь Коринф. Как же получилось, что я вижу тебя впервые?

- Я редко покидаю своё место, а жильё моё находится западнее твоего города. Меня зовут Асоп. Многие считают, что я бог той мирной реки, что впадает в Коринфский залив у Сикиона.

- Особая честь для меня принимать бога, который приходит как сосед.

- Рад бы оказать эту честь, но скорее всего, люди преувеличивают моё значение. Я позволяю так себя называть только потому, что им этого хочется. Слишком давно живу я на земле и уже не помню за собой никакой особой власти. А река, имя которой нощу, течёт сама по себе и служит людям по собственному разумению.

- Но мы ведь обязаны тебе не только рекой. По праву ли принадлежит тебе это имя или лишь волею молвы, с ним связаны другие имена. Разве не в честь внуков Асопа названы оба наши порта – Лехей и Кенхрей, открывающие морские ворота в Пелопонес? И не именем ли их матери, дочери твоей Пирены мы называем обильный источник, дающий воду всему городу? Я слышал, что слёзы её по одному из сыновей были так жгучи, что пробили землю у входа на базар, и что недаром догадались коринфяне опускать в воду Пирены раскалённую бронзу, чтобы придать ей этот благородный темно-золотой отлив.

- Одиннадцать их было, - отвечал старик, поникнув головой, - одиннадцать дев, и судьба Пирены, чьего сына погубила случайная стрела Артемиды, не более печальна, чем участь остальных. Надеялся я уберечь от беды младшую свою, Эгину, но вот уже второй день как не слышу её певучего голоса. Не стряслось ли с ней несчастья? Немногим может помочь неопытной деве слепой отец, но ведь и не беззащитная же она сирота! Дочь я свою ищу, Сизиф. Пропала моя Эгина. Ты царь, ты зряч. Тебе должно быть известно, что

делается в округе. Не слышал ли ты о заблудшей деве? Или, не приведи всеильные боги, о каком разбое?

- Вот оно что... - пробормотал Сизиф, побледнев и поднимаясь с кресла. - Вот, значит, кого выбрал себе в утеху когтистый вор. Ну что ж, мужайся Асоп. Нелегко мне сообщить тебе весть, которая вряд ли тебя утешит. Я знаю, где твоя дочь. Менее часа назад я своими глазами видел, как уносил её в лапах к Эгейскому морю огромный орёл. Надо ли мне продолжать? Или ты знаешь, о ком я говорю?

- О да! - воскликнул старик, и лицо его просветлело. - Это имя мне известно.

- Чему же радуешься ты? - недоумевал Сизиф, - Не вижу, как ты мог бы спасти свою дочь. Или такая кража тебе льстит?

- Я слишком благодарен тебе, царь Коринфа, и твои слова не обижают меня. Если бы дева не противилась, богу не нужно было бы обращаться в хищную птицу. Кому же может польстить насилие, кем бы оно ни совершалось? А радуюсь я тому, что больше не мучит меня неизвестность. И не обманывайся моей слабостью. Кое на что еще способен старый Асоп. Однако, и речному богу надо поторопиться, если он хочет пристыдить своего могучего собрата. Прощай Сизиф, и еще раз спасибо тебе, ты снял с моих плеч непомерную тяжесть.

- Эй! - крикнул Сизиф слугам, пока старик, постукивая посохом, твёрдо шагал к выходу, - Где этот мальчишка-поводырь? Гоните его сюда.

- Его нет во дворце, царь, - ответил один из рабов, - Он сбежал от нас, даже не дойдя до кухни.

- Не беспокойся обо мне. - сказал Асоп, обернувшись в дверях, - Для того, что мне предстоит сделать, проводник не нужен.

Царь хотел подойти к дверям, чтобы посмотреть, как слепой справляется с дорогой, но почувствовал вдруг, что ноги его приросли к полу. А когда, спустя некоторое время, он всё-таки вышел к портику дворца, дорога, спускавшаяся с Акрокоринфа была пуста.

«Началось, - подумал Сизиф, оглядывая знакомые очертания гор и залива, - Ну, ничего, ничего... Мы тоже не первый день тут... оборачиваемся...».

11.

Земля не разверзлась под его ногами. И свирепый ливень, обрушившийся на город, его не затопил, а огненное громахание небес обошло стороной дворец на Акрокоринфе.

Сизиф вглядывался в каждое незнакомое лицо. Отказываясь искать поддержки с помощью прорицателей или гаданий, он ждал признаков возмездия. Но никто не приходил, и ничего не случалось. Разве что повыше дворца, у самого храма Афины забил вдруг свежий источник, вода которого по свойствам ничем не отличалась от живительных струй Пиренского ключа на базаре. А это ведь было скорее благодеянием и наградой.

О судьбе старика, которому он попытался помочь, ему вскоре донесли. Народу многое становилось известным гораздо раньше, хотя сведения эти, как прежде, щедро укрывали себя вымыслом. Асоп нагнал вора, но увидел только два камня – побольше и поменьше, растопить неподвижное безмолвие которых не смогли ни слезы отца, ни его гнев. Смирившись с утратой, он побрел было обратно, когда услышал за спиной шорох шагов и предпринял еще одну попытку. На этот раз никаких превращений не последовало – на глазах дочери речной бог был побит грохотом и опалён сверканием молний, после чего речушка у Сикиона понесла в своих водах горелый древесный сор и замутилась пеплом.

За что же он взялся облагодетельствовать коринфского царя таким роскошным подарком, как питьевой источник у самого дворца? Да ему это и в голову, оказывается, не пришло бы, не будь он связан условием, которое поставил ему Сизиф, в незапамятные времена умудрившийся сделать то-то и то-то, здесь в Коринфе обманувший такого-то и соблазвивший такую-то, а совсем недавно затеявший разбой на Истме. Теперь все это превратилось в его достоинства, люди гордились своим хитрым царем.

Но, правдоподобные или нет, слухи лишь подтверждали грозящую опасность. Сизиф так настойчиво прислушивался и присматривался ко всему вокруг, что пропустил начало настоящих перемен. Когда же наконец убедился, что его, пожалуй, снова оставили в покое, обнаружил вдруг, что не там ищет беду.

Он заметно старел. До дряхлости было еще далеко, его руки не утратили силы, на коже не появилось лишних морщин, но голова побелела, стали быстро уставать ноги, а сердце мешало по-прежнему в один прием подниматься из города домой.

Конечно, все это началось не вдруг, а он был не из тех, кто придает особое значение своим недугам, помнит, как выглядел вчера и может сравнить себя прежнего с нынешним. Однако, новые неудобства, которые доставляло ему собственное тело, казались единственным проявлением враждебных сил. Можно было решить, что годы, которые время некогда тайком спрятало ему за пазуху, оно вырывает теперь обратно, не прячась по ночам, открыто и безжалостно.

И Сизифа это не опечалило. Кончалось непрошенное избранничество, неведомо за что дарованное ему долгожительство, которое, как он теперь понимал, тяготило его все это время, будто невыплаченный долг, как если бы оно давало кому-то право в любой момент потребовать от него в уплату то, с чем он, может быть, оказался бы не в силах рас-

статься. Он возвращался к своему времени, к своим близким, которых его вынудили так стремительно покинуть, судьба обретала покойную весомость, хотя и не решено еще было, к кому из братьев ему суждено примкнуть – к удачливым или потерпевшим поражение. Его утешала мысль, что так долго удалось продержаться, не подчиняясь тому или иному капризу рока, а окончательный исход зависел теперь от него самого. Иногда он даже позволял себе думать, что оказался прав, что его решение распрячиться, дать волю чувству справедливости принесло неожиданные плоды, и сердце его обретает, наконец, желанное равновесие.

Но никак не шел из головы неразговорчивый, пренебрегший царской кухней мальчик. На вид ему было совсем немного лет, а равнодушие, с каким он исполнял свои обязанности, отсутствие всякого интереса к обратившемуся к нему за помощью и к цели путешествия, которая представляла собой, как-никак, царский дворец, совсем не вязались с образом проводника. И молчал он явно не из робости. Не похоже было и на то, что его отвлекли от более важных ребячьих забав. Ни нетерпения, ни любопытства не выражало лицо этого подростка, которого можно было бы счесть слабоумным, если бы за его сонным взглядом не мерещилась какая-то незнакомая, чужеродная сила, сродни той, что ставит нас в тупик крайней несправедливостью своих проявлений, не считаясь ни с одним, знакомым человеку правилом. Сочетание этой силы с внешним обликом обыкновенного уличного сорванца, озадачивало Сизифа, собравшегося было отправиться в Сикион к Асопу, чтобы расспросить, где тот нашел такого провожатого. Потом он раздумал, решив, что придает случайной встрече слишком большое значение, что неловко тревожить старика подобными пустяками.

Особую радость испытывал царь, глядя на жену, не уступавшую времени ни в чем. Перестал он терзаться и по поводу ее настоящего имени – там на террасе, перед встречей с речным богом ему открылась причина, по которой Меропа отказывалась признаться. Она не знала себя иной, на ее прежнем существовании лежал такой запрет, что вольное или невольное усилие его возродить отзывалось приступом необъяснимого страха. Задав ей неловкий вопрос, не намерена ли она препятствовать ему, он будто заглянул вместе с нею в пропасть и проклял свое любопытство.

Посетители явились после обеда, когда спала жара, и небо затянулось сплошной серой пеленой. Двое были ему незнакомы, а державшийся по обыкновению в стороне подросток, который уже приводил к нему непростого гостя, возник столь неожиданно, что у Сизифа стало пусто внутри, и ослабели колени.

С ним естественнее всего было бы заговорить, но царь знал, что ответа, вероятно, не дождетя. Стараясь больше не смотреть на юнца, он торопился сопоставить некоторые скудные приметы, чтобы угадать, кого перед собой видит, прежде, чем они себя назо-

вут. Ему казалось, что не прошло и мгновения, но, видимо, он все же что-то пропустил. Об этом свидетельствовали слова, которые зазвучали наконец в его ушах:

- Хорошо ли ты нас слышишь, старик? Ибо нам не хотелось бы повторять дважды то, что мы должны тебе поведать.

Они были похожи друг на друга – черноволосые, с крупными прямыми, как у ворона, носами и усами, сросшимися с бородой. Их можно было принять за близнецов, если бы тот, кто держал речь, не превосходил спутника ростом, плотным телосложением и более резкими чертами лица. Кто-то ведь из могущественных часто водил за собою брата...

- Мой слух открыт вашим словам, как открыты для вас двери моего дома, - отвечал Сизиф, не обращая внимания на фамильярность, - И я не настолько стар, чтобы не услышать добрую весть с первого раза. Хотя, добрые вести можно повторить и дважды, и трижды. Это доставляет только радость и вестнику, и тому, в чей дом он заглядывает.

Мальчик рассмеялся. Он запрокинул голову в долгом, громком хохоте, и торчавшие по сторонам наушники его шапки затрепетали. В первый момент Сизиф вздрогнул – до того не вязалось это веселье с унылым, отсутствующим обликом проводника. Но, хотя положение царя нисколько не прояснилось, он убедился, что выбрал верный тон, решив не отвлекаться на грубость пришельцев. Они же как будто и не заметили этого косвенного одобрения.

- А кто говорит о добрых вестях? - продолжал старший, - Вот и видно, что подозрения наши не напрасны. Привык ты, Сизиф, морочить головы простодушным. Придется позабыть свои замашки и принять от нас правду, как она есть, не увиливая, не пытаясь обратить ее себе на пользу.

От меньшого брата, с самого начала прилепившегося к Сизифу неотвязным взглядом, исходило какое-то расслабляющее воздействие. Царь почувствовал, как тяжелеют веки и по всему телу разливается сладкая истома.

- Ты не ошибся, проницательный. И я уверен, что у тебя есть причины поучать такого, как я, хоть я и прожил немало. Но не должно быть для тебя секрета и в том, насколько упорны наши привычки, как трудно с ними расставаться, - Сизиф намеренно не стал подавлять зевоту и звучно разинул рот, прикрыв его ладонью, - В любом случае, я всегда рад правде – ее так редко слышишь. Только хотелось бы насладиться ею в ясном уме, а меня что-то клонит в сон. Так не отложить ли вашу драгоценную весть до другого раза?

Безмолвный гость опустил глаза, и дремота тут же улетучилась. «Гипн! Вот это кто...» - вспыхнуло в голове Сизифа, и теперь он знал, с кем имеет дело. У бога сна и беспамятства был только один брат, который часто брал его с собой, отправляясь к очередно-

му обреченному. Царь Коринфа выслушивал назидания от ангела смерти, неумолимого Таната, и медлить было нельзя. Он едва успел подумать, что все кончено, что уже не попасть на могилу отца с матерью, не узнать о судьбе сестер... Только бы угадать третьего!..

- Кто бы ни был ты, всесильный Танат, но если это имя тебе нравится, я с ним к тебе и обращаюсь, - говорил Сизиф уверенным голосом, в котором звучало только уважение равно достойного к более могущественному. (Думай, думай! Видишь его во второй раз... Водит к тебе богов...), - Да не соблазнит меня чрезмерная сила Геракла, рискнувшего посягнуть на твою свободу только потому, что не его срок, а судьбу самоотверженной Алкесты ты приходил исполнить, и ничто ему не грозило. (Или не водит? Приходит поглазеть, если речь идет о жизни и смерти?) Не уподоблюсь и бешеным галоидам, не постеснявшимся заточить в узилище самого Ареса. (Приводил Асопа, чтобы я помог ему уличить Олимпийца. Теперь пришел смотреть, как по воле Зевеса лишат жизни меня самого... С кем он? Или ему все равно, кому служить провожатым?) Чужды мне и наклонности критян, которые опутывают цепями статуи самого Громовержца и чтут его могилы, объясняя свое чудачество тем, что не умирает только тот, кто не рождается (Не говорит... Радуетесь хитрости... Даже когда лукавят с самим Танатом...). Ты лучше всех знаешь дом и час, и не подобает смертному ни торговаться, ни меряться силой с богом последнего вздоха. (Такой юный... такой сонный... Поглядеть на него – черепахи не обидит...) Отраднa мне и твоя забота о моем спокойствии в этот час, внушившая тебе мысль привести с собой укротителя наших бдений, проникновенного Гипна. (Ох! Слыхали мы о грудных младенцах, срывавших панцирь с живой черепахи... угонявших стада самого Аполлона, без тени стыда клявшихся в невинности владыке Олимпа... Неужели...) А поскольку мне все еще служит мой разум, я должен подобающим образом почтить и третьего вашего спутника, ибо проводник заслуживает этого несколько не меньше, вас обоих.

Сизиф говорил наобум, еще не будучи уверен в своей догадке, но мальчик, который, отсмеявшись, вновь проявлял полное безразличие, сделал вялый отрицательный жест рукой и подтвердил тем самым свою суть независимого божества, свирепого и бесстыжого младенца.

- Я рад был бы представить молоджавому богу свою супругу, сестру матери его, но вы ведь пришли ко мне, а не к ней. И не женское дело наблюдать за работой Таната, раз отказывается смотреть на нее даже ослепительный Гелий, предусмотрительно заслонившийся облаками.

Гермес – а именно так, разумеется, звали подростка – был здесь лишним. Его присутствие убавляло Танату власти хозяина положения, лишая визит нужной прямоты. Потому, должно быть, и удавалось Сизифу без помех затягивать свое приветствие. Теперь же, еще не обрета спасения, но назвав всех троих, он поместил свершающееся в более спо-

койную перспективу, в столь счастливо открывшееся ему некогда Большое время.

Мальчик тем временем придвинулся поближе, впервые с любопытством разглядывая царя.

- Давно искал случая узнать у тебя, сын Майи, не хвастает ли один из моих подданных по имени Автолик своим родством с тобой? А если он говорит правду, отчего не все проделки ему удаются?

Гермий покачал головой и, дотянувшись палкой до Таната, мирно переживавшего речь Сизифа, постучал его по плечу. Простой жест накренил землю под ногами, как палубу галеры. Удерживая равновесие, царь постарался выдать взмах обеих рук за жест гостеприимства.

- Войдите в дом человека, о боги, позвольте мне самому позаботиться об угощении. А затем мы чинно совершим то, о чем распорядился ваш и мой хозяин.

Все это время ни во дворе, ни в доме, дверь которого оставалась открытой, не появилось ни единого лица. Мертвящее веяние, распространяемое братьями, но обтекавшее до поры Сизифа, держало в отдалении все живое. Это было хорошо. Сейчас не следовало отвлекаться даже на слуг.

Ничего не стоит верховному божеству умертвить простого смертного, если оно того захочет. Вправе ли оно творить такое своеволие – вопрос другой. Но если уж на людей насылают мор и прочие так называемые стихийные бедствия, истребляя их без счета, кто станет поднимать шум из-за одного малозаметного жителя земли? Когда же вместо болезни, шаровой молнии, чужой оплошности или рокового стечения обстоятельств обреченному посылают самого ангела смерти, случай представляется не таким уж простым. Нам должен бы льстить столь обстоятельный подход, а вместе с тем несет он с собой тончайший аромат неуверенности той самой высшей силы, ее тайного расчета на согласие жертвы, подавленной лицемерием абсолютного убийцы, на признание ею права вершить ее судьбу. И если приговоренный не взят врасплох, если он способен уловить непропорциональность фатальной церемонии, проявить находчивость, вот тут и раздается хохот с третьей стороны, которой чужды олимпийские сложности. Ее дух и воплощение бьет насмерть без размаха и обмена приветствиями, поскольку знает, чем все кончится и церемониями тяготится. Таков был Гермес, внушивший Атланту подставить плечи под небосвод, который навсегда сковал титана своей тяжестью, не колеблясь убивший тысячеглазого Аргуса только потому, что не нашел другого способа увести из-под надзора кроткого пастуха полюбившуюся Олимпийцу телку Ио, запросто спускающийся в Аид, куда не желает заглядывать никто из богов.

Но что он вообще здесь делает, бог воров и предпринимателей, исполнитель сложных Зевесовых поручений, проводник в обоих мирах, убийца лишь волею случая, а

не по призванию? Помощь его нужна, когда гибнут не в одиночку, когда посреди работы Танату некогда позаботиться о смятенных душах, в суতোлке покидающих тела. Их-то и увлекает за собой душевод, подравнивая ряды взмахами золотого жезла. Разыскать царя Коринфа, исторгнуть его душу и унести ее в преисподнюю вполне по силам одному Танату, который, судя по его виду, скорее терпит присутствие аргоубийцы, чем в нем нуждается.

Гермес мог явиться только сам по себе. А поскольку любопытством этот бог не отличался, так как способен был многое прозреть мгновенно и насквозь – как прозрел он будущую лиру в панцире несчастной черепахи – здесь, на подворье коринфского дворца должно быть творилось нечто из ряда вон выходящее, чреватое последствиями настолько неожиданными, что они могли развлечь и бестрепетного Гермия.

Его присутствие подавало некоторые надежды, но рассчитывать на помощь влиятельного племянника плеяды было нельзя. Обращаться с ним следовало соответственно его промежуточной природе, со снисходительным уважением, приближая и отстраняя одновременно. Однако, богов было трое, управляться с ними становилось все тяжелее. Танат был предельно опасен и – прост, Гипн сравнительно безвреден, но дар его, который Сизиф уже отчасти испытал, и который тот снова мог пустить в ход по первому знаку брата, грозил безволием, быстрой гибелью. Гермес же, чьи силы далеко перекрывали возможности обоих братьев, являл собой совершенную неопределенность. Неуловимый и прилипчивый, как редкий металл, что походил на жидкое серебро, он был так же смертельно ядовит.

Приглашать в дом приходилось всех троих. Он никак не мог придумать предложения, чтобы отделить братьев от Гермеса и, может быть, упросить того дать ему передышку. Все разрешилось, однако, само собой. Посторонившись в дверях, пропуская братьев, Сизиф заметил, что мальчик не двинулся с места.

- Не обидел ли я тебя неосторожным словом? - начал он, вновь спускаясь по ступеням.

Гермес переложил из одной руки в другую свой короткий посох, и у Сизифа вновь все поплыло перед глазами. Бог не дал ему упасть, подхватив под локоть, а когда царь вновь почувствовал твердую почву под ногами, он услышал первые слова нелюдимого отрока:

- Я не силен в пьянстве. Неверная поступь и заплетающиеся языки внушают мне отвращение. Впрочем, и тебе, кажется, тоже.

Глядя, как плавно, будто скользя по плитам двора, удаляется этот бог нежити, одним из прозвищ которого в народе было «дверная петля», Сизиф начал понемногу ощущать вечерние запахи каменной пыли, морских водорослей и кипарисовой смолы.

Встречаться с Танатом не захотел бы никто. Но если были у человека силы вообразить то, что еще страшнее – смерть внезапную и неосознанную, от руки того, кто не видит разницы между живым и мертвым, если есть у такого тупого провидения образ, то это был он, Гермес. Даже его расположение зияло бедой, как случайно найденные деньги, за которые завтра же придется заплатить чем-нибудь гораздо более ценным.

Расставшись с ним, Сизиф смотрел на все остальное, как на трудный, но вполне посильный поединок. Он еще раз вздохнул полной грудью и вошел в дом.

* * *

Гипн уснул первым. Сначала он еще просыпался, ворочаясь, но когда Сизиф приставил к узкой лежанке другую, тот свернулся калачом и затих. Хозяин накрыл бога легким шерстяным одеялом и вернулся к столу.

Ничего не поделаешь. Вынужденные участвовать в небесно-земной драме, души должны были облечься видимостью, а вместе с нею принять на себя некоторую меру дольных слабостей. Иначе им пришлось бы наделять жертву ясновидением, чтобы она оказалась в состоянии различать незримое, но тогда человек приобретал на время сверхъестественные способности, которые осложняли процедуру. Уверенность духов в своих силах была все-таки велика и вполне обоснована. В любом случае они приступали к делу с невероятным преимуществом, но подавляющим оно не было.

Гипн, очень добрый, в сущности, бог, ожидая от брата просьбы смягчить обреченному тяготы расставания с жизнью, с интересом исследовал возможности не так уж часто предоставлявшегося ему существования во плоти. И ему совсем немного надо было, чтобы эта, не задубевшая в земных передрыгах плоть уступила крепости отменной хиосской лозы.

Танат был покрепче и мог, в общем-то, обойтись без помощника, так что раннее отступление Гипна его не встревожило, скорее даже развеселило. Он попался на другом пороке, вместе с видимостью к нему прицепился вкус к мелкому соперничеству.

Удовлетворенный спокойствием и красноречивым согласием Сизифа отдать себя в его руки, мрачный ангел принял предложение царя придать столь важному для него событию вид торжественной сделки. За третьей чашей он даже пожурил сотрапезника за слишком робкий ответ на свое наглое приветствие. Сизиф отвечал, что да, мол, сплоховал, очень оробел.

Насытившись фруктами, а до того – бараниной, приготовленной Сизифом тут же, на домашней жаровне, Танат почел возможным завершить дело пятой порцией вина. Но тут увял Гипнос, а хозяин дома поспешил устроить бога поудобнее и действовал довольно ловко, хотя и покачиваясь на переходах. И тогда разыграла в Танате спесь, он захо-

тел увидеть свою жертву столь же беззащитной, как его не сдюживший брат.

Сизиф же невозмутимо, будто переходя к новой ступени обряда, достал из ларя сладости, поставил их на стол, снова наполнил чаши неразбавленным вином, улегся на свое место и сказал вестнику смерти следующее:

- Из тех вещей, что оставляешь тут, на поверхности земли, каждая по-своему дорога. Но меньше всего – поверишь ли, неумолимый Танат – меньше всего жаль тех немногих утех, которые доставляли радость. А вот печали кажутся столь желанными, что поневоле приходится сделать вывод. Должно быть, там, за чертою Ахеронта ждет существование вовсе беспечальное. Что ты на это скажешь, попечитель Аида?

- О! - отвечал Танат, широко взмахивая рукой с чашей и расплескивая вино. - Этого никто не знает. Ты, впрочем, не хитришь ли со мной снова, царь Коринфа? Но это неважно. Сам вскоре все увидишь. Я могу, пожалуй, познакомить тебя с порядком. Да будет тебе известно, что есть судьи. Их слова тяжелы и перевесят все твои сожаления. Их никому не дано отменить и даже оспорить. От них ты услышишь, печаль тебя ожидает или радость. Мне это все равно.

- Не удивительно, что ты утратил интерес, бог кончины. Мне трудно представить, что ты печешься о каждом смертном от начала времен. Но, похоже, не видно конца твоей почетной обязанности. И некогда тебе передохнуть, не то что задуматься.

- Ого-го!.. откликнулся Танат, вновь поливая стол вином.

В тяжелой голове Сизифа иногда пробуждалась мысль о тех, кто оставался в неведении по поводу происходящего, и душа его порывалась туда, за пределы прозрачного пузыря, замкнувшего дворцовую залу. Он воображал, как они страдают, не в силах ему помочь, как приходят в отчаяние, представляя, что могут лишиться отца и мужа. Гоня от себя эти видения, он вспоминал, что утешить их может только одним единственным способом, и что, скорее всего, они даже не догадываются, каким важным делом он занят. Язык слушался плохо. Разговаривать приходилось небольшими фразами. Но сотрапезник боролся с тем же недугом.

- Ну, а примерно? Как, примерно, могли бы мы... примериться? Давай, я – душа Сизифа. Ты – неподкупный Радамант.

Бог попробовал присесть на лежанке, потом, помогая упирившейся плоти, спустил ноги, но не помогло и это. Танат вернулся к прежнему положению, а ноги его так и остались свисающими на пол.

- Нет. Нельзя. Нужно еще других. Их там трое.

Он дотянулся до кувшина и, забыв о своем намерении, налил вина одному себе.

Подняв блюдо с финиками, Сизиф подождал, пока гость осушит чашу, и протя-

нул ему фрукты. Танат размашисто их оттолкнул.

- Не надо! Прекрасное вино! Выпьем вина.

Теперь Сизифу понадобилось собраться с силами, чтобы исполнить просьбу. Лицо его заливал пот. Сначала он проделал необходимые движения в уме, облегченно вздохнул и только потом спохватился, что еще не шевельнул пальцем. Преодолевая сопротивление членов, не желавших никаких перемещений, он встал. Опершись о стол одной рукой, другой взялся за кувшин. Остановило его внезапное чувство одиночества. Танат был неподвижен. Голова его, как и ноги, свешивалась с лежанки, на которой бога удерживал только его крупный торс. Сизиф сел обратно и замер, облокотившись на колени и уронив голову.

Он слышал, как шумно, учащенно ноздри его выдыхают воздух, чувствовал, как стекают по лицу и бокам капли пота, и ему казалось, что можно сидеть бесконечно, будто он заработал себе право никогда больше ничего не делать. Но это была не усталость. Постепенно стало доходить, что он только оттягивает следующий шаг, что разум его лишь притворяется ленивым и медлительным, не решаясь после всего, что он вынес, заглянуть вперед. Ему не дали ни крупницы времени, и действовать приходилось почти бессознательно. Теперь, освободившись от смертельной опасности, разум его отстранился от заторможенного вином тела и прояснел.

Что-то было не так. Представление о благородном страхе перед недостойной смертью быстро теряло вес, оставался только страх, тот самый, подобный мгновенному содроганию при внезапной встрече с голодным хищным зверем, и сам страх этот был недостойным. Что же он натворил!

Перед ним был поверженный бог. Но уж не решил ли он, что запутав бога в земных тенетах, он в самом деле одержал верх над судьбой? Какого исхода он ждал, вспыхнув однажды высоким гневом, и где собирался доказывать свою правоту? Ему не дали проститься с женой и детьми, но разве не отрекся он от них уже в тот миг, когда решил оспорить права Олимпийца? Его ведь не огрели сзади ударом дубины – вызов был принят, ему предложили продолжить спор на равных. Если он все еще верил в какую-то иную справедливость, надо было принимать предложение.

Не столь уж велики были, значит, его претензии – так, минутное раздражение. Но тогда следовало прикусить язык, не ввязываться, не замечать лишнего. Много дано человеку – сверхдостаточно, выше всякой меры, ибо видимый мир сам по себе велик и пахуч, и щедр, и прекрасен, и в огромной степени неизведан. И не такая уж это малость – научиться бегать быстрее зайца, выуживать рыбу, превосходящую размерами тебя самого, отыскивать в полной тьме по звездам дорогу домой, не хуже летучей мыши и, дурача себе подобных, приобретать сказочные богатства. Этого с лихвой хватило бы потомкам изна-

чального племени, посеянного камнями по камням Девкалионом и Пиррой. Но, может быть, нет и разницы между ними, и тем, кто ведет свое происхождение непосредственно от уцелевших в потоке праведников. И зря он тщился не только прорасти корнями в неуступчивую почву, но и вознестись главой к небесам.

Сизиф не узнавал самого себя. Он был ничтожнее любого каменного семени, а ненавистные небеса поднялись еще выше.

Он знал, что нужно делать, чтобы закрепить победу, но перестал понимать, в чем она заключается. Это будет уже не только его победа – именно так оборачивался смысл Дельфийского оракула – заперев смерть в своем доме, он освобождал от нее всех. Так далеко заходить он не собирался. Ведь ни великой богине не удалось наделить бессмертием невинное дитя, ни дерзостной Медее. И не усвоили ли они с Меропой той ночью, что бессмертия на земле не бывает, что нужна тайна, открытая матерью-богиней в уединении, чтобы перестать называть смерть гибелью. В его уловке тайны не было. Он, пожалуй, уподобился Гермесу, стал его земным отражением, столь же пренебрежительно поступив с высшей силой, сколь безразлично обращался Гермий с людскими множествами и их бесценными судьбами. Недаром тот так обрадовался находчивости Сизифа. Но смеялся-то он, пожалуй, и над ним.

Что делать? Подождать, пока Танат проснется... Просить прощения... Притвориться, что у него и в мыслях не было соперничать с богом в питейной стойкости... Смириться, наконец, с тем, что житейские нити оборваны несколько часов назад, и ни поцеловать жену, ни обнять детей не придется... Подчиниться и предстать перед Аидом мелким плутом... Да пусть бы даже и так, но он не готов, не в силах заставить себя расстаться с жизнью вот прямо сейчас. Не может, хоть убейте!

Унизительная, звериная тоска подбиралась к нему со всех сторон, как удушливые испарения из расщелин Дельфийского святилища. Нисколько не умаляя успеха, который ему принесли находчивость и терпение, Сизиф понимал, что случилось непоправимое, что даже если ему удастся уцелеть, на всю оставшуюся жизнь ляжет такая густая тень позорной слабости, что сухим песком заскрипит на зубах хлеб, и прольется вода, прежде чем он донесет до рта чашу. И все же этого было мало, чтобы разбудить Таната. Он не знал, есть ли еще способ вернуть себе достоинство и силу, но искать их теперь приходилось уже не на земле и еще не в преисподней, а в тесном пространстве дверной петли, во владениях Гермия. Ни на что другое он был сейчас не способен.

В эту минуту и простился с жизнью Сизиф, сын Эола, внук Девкалиона и Пирры, правнук Эллина, дальний потомок Прометея. Скользя взглядом по своему пути, длившемуся ни много, ни мало – полвека, на вдохе и новом коротком выдохе он сказал себе: «Жизнь прожита». Это были уже не те легковесные, с замиранием сердца

вскочившие в мозг слова, которые незадолго до того пробудили строптивый дух далекого предка. В нем занялся бесшумный, ровного синего накала пламень и разом выжег все оставшиеся надежды остаться в ладу с миром, созданным его богами, и с собой в этом мире.

Черноволосый атлет, безвольно громоздившийся перед ним в неуклюжей позе, значил сейчас не больше, чем пролитое вино. Сизиф поднялся и пошел к дверям во внутренние покои, даже не замечая, что его шатает из стороны в сторону.

- Главк! Орнитион! - крикнул он, зовя старших сыновей.

Они явились заспанные и недоумевающие.

- Разбуди Трифона, - сказал отец Орнитиону. - Скажи, что мне нужны конские путы. Не пеньковые – тяжелые с цепью. Сам принесешь. Его отправь спать.

- Кто эти люди, отец? - спрашивал тем временем Главк. - И почему ты едва держишься на ногах?

Они никогда не видели его таким. Сизиф в жизни не позволял себе выпить лишнего.

- Потом, - отвечал он. - Вот этого надо запереть в подвале. Он арголидский вор. Мы отдадим его соседям, как только за ним пришлют. Поможешь мне снести его вниз.

Спустилась Метропа. Стоя в дверях, она с ужасом наблюдала, как мужчины замкнули широкие медные кольца на руках и ногах одного из гостей, так и не проявившего признаков жизни, и не особенно заботясь о его сохранности, поволокли из залы.

Она все еще не могла решить, звать ли слуг или приниматься за уборку самой, а они уже вернулись и подняли второго. Он был намного легче, мальчики могли справиться сами, и отец предоставил им двоим нести тело, но сам, все так же нетвердо шагая и оступаясь, проводил их за ворота, где бога уложили на землю под черным, усыпанным звездами пелопонесским небом.

Отослав детей, Сизиф ждал расспросов жены, привалившись к колонне вдали от пиршественного стола и борясь с дурнотой.

- Я думаю, тебе сейчас не с руки рассказывать, - говорила Метропа, осторожно приближаясь к мужу.

- Не смогу. - он не шевельнулся навстречу ей и не оторвал взгляда, которым уставился на залитый вином, заброшенный едой стол, - Но уж конечно ты знаешь, кого нам бог послал.

- Я принесу воды и чистую рубаху.

Пока ее не было, царь положил в жаровню дров, раздул угли. Мокрый хитон,

прилипший к телу, быстро остывал, и возиться у огня было приятно, его знобило.

Огонь лизал красноватые бока чана с водой, а Сизиф сидел на придвинутой лежанке, протянув к жаровне руки, и жена вытирала ему виски и шею смоченным в винном уксусе платком.

Потом на заднем дворе она поливала ему из ковша, а он, опоясанный лишь полотенцем, смывал пот и дрожь, отстраняя от себя мягкую ночь с ее запахами морской воды и кипарисов.

- Я буду спать здесь.

- Хорошо.

- Завтра я не хочу никого видеть.

- Хорошо.

- Через день мы позовем старейшин, и ты устроишь щедрое угощение.

- Так и сделаем.

- Прощай, Меропа.

- Спокойной ночи, свет очей моих, - прошептала плеяда.

* * *

Это был конец. Больше Артур ничего не знал.

Ему известны были дальнейшие события мифа, и он мог бы наверно изложить их в меру увлекательно, но Сизиф, каким он его, как ему казалось, понимал, превратился в новое, чужое лицо, всякая связь с которым была потеряна. Он подумал, не поискать ли другое развитие последних событий, которое позволило бы обойти мертвую точку, но это выглядело еще более постыдным, чем простое завершение истории по следам мифа, без всякого права описывать жизнь – или смерть – о которой он понятия не имел.

Но он вообще не знал, как теперь быть. Нельзя было вернуться даже к прежнему своему житью, которое, при всей его никчемности, казалось все же предпочтительнее того, что он испытывал сейчас, когда не осталось никаких сомнений в том, что сочиняемый им мир существует. Не было, правда, никакого способа узнать, таков ли он. Скорее всего, нет. И неизвестно – каков, и совершенно ясно, что он никогда не узнает, что же там на самом деле творится. Но он был во много раз более реальным, чем то, что удалось Артуру узнать за всю свою жизнь. По сравнению с его полнотой земное существование выглядело как более или менее привлекательная, но ничтожная случайность. Не имело значения, что эти события были почти непредставимой давностью, потому что и эта давность, и еще более далекий период дикого и влажного безлюдья, и то, чего еще не случилось на земле – все это одновременно и единосущно обреталось в том недоступном, остро

желанном бытии, где только и стоило жить.

В растерянности Артур попытался вызвать в воображении своего многоликого гостя, но перед внутренним взором вставал лишь какой-то абстрактный современник, похожий на Наташиного приятеля. Все, что он мог из себя выжать, это вялые слова утешения: «Да, брат... Ничего, надо потерпеть. Отдохни, отвлекись. Потом попробуешь еще какую-нибудь историю раскрутить. Не обязательно, чтобы с первого раза выходило. Времени мало? Откуда ты знаешь, сколько у тебя времени? И сколько тебе в следующий раз понадобится – может быть день, час...»

«Ну, только нечистой совести мне еще не хватало, - Артур все заставлял себя поверить, что говорит с греком. - Не хочешь ли сказать, что я и тебя каким-то образом подвел?»

«Не ты первый, не ты последний. Это, в сущности, одна из интерполяций сизифова труда, ты тут не при чем. Все на своих местах, и ничего другого ожидать не следовало».

«Другое? Это – на что ты намекал? К чему ты, как бы, не готов?»

«Разве намекал? И до такого у нас доходило? Ну, не готов, да. Никто не готов. Вроде и соберешься в игольное ушко лезть, так говорят: рано, надо сначала верблюдом стать, а то мало чести будет.

«О чем же ты сокрушаешься?»

«О себе, Артур, голубчик. Не ты меня сюда загнал, где мне еще виноватых искать?»

«А подсказать не хочешь? Я не самолюбив».

«Могу. Теперь все можно. Дерзай, спрашивай. Я и скрывать ничего не стану. Ты ведь не поверишь. И тебе не поверят. Как будешь объяснять? Я, мол, не при чем? «Мне голос был?»

«Кому объяснять? Нехорошо мне, вот что».

«Ты что-то очень уж расплакался. Выйди-ка завтра с утра на лужайку, найди в своем хозяйстве что-нибудь потяжелее – да хоть ту же косилку и покатай. А когда уморишься, дай себе десять минут отдышаться – и снова за дело. Проведи так денек. Один день. Потом можешь повторить. Если ничего утешительного в голову не придет, хоть здоровья нагуляешь. В здоровом теле всякие неожиданные возможности заводятся. Ну, ты прости меня. Больше нам сказать друг другу, как видно, нечего. И – ты не обижайся – скучновато с тобой становится».

«Ухайдакал ты меня все-таки».

«Ухайдакал, да. Прощай».

Так мог бы говорить и тот картинный грек, который явился ему в первый раз.

Но тому было еще до него, Артура, какое-то дело. Теперь все концы выскальзывали из рук.

Впервые в жизни он готов был молиться. Не впопыхах и украдкой, как он пытался прежде, а в полный размах, подставив себя всего неведомому оку, встав ли на колени, бия ли поклоны, даже все с себя сняв, чтобы не оставалось последней видимости защиты и покрова. Он мог бы сделать это не только в присутствии других, но и в одиночестве, что было еще страшнее, ибо некому было бы его образумить. Он мог бы решиться на какое-то подобие магического гилларионова танца, мог нанести себе рану и только все пытался понять, о чем нужно просить и кого. Отчаяние подсказывало, что обращаться следовало к Самому. С восторжествовавшим Посредником он был знаком мало и не ощущал нужной близости с тем, кого можно было просить о поддержке. А занимать силы у Высшего, чья победа еще не пришла, казалось недостойным признанием своего, а стало быть и Его, поражения. О чем же просить – о возможности протереть глаза? О способности увидеть свет? Толку нет во всей его жизни, если цель может быть достигнута лишь случайной высшей щедростью.

Но хотелось именно этого. «Вот я весь перед тобой – наг и беззащитен, и слаб, и глуп. И взялся за дело, которое мне не по силам, но хочу довести его до конца. Если можешь – помоги, чем сочтешь нужным. Если не захочешь – не осуждай, сними с меня бремя человека, ибо я не знаю больше, что такое человек...».

Таковыми ли словами молил о своем достоинстве древний грек? Было ли ему к кому обращаться?

12.

Ангел глубоко увяз во плоти, запертой в подвале дворца на Акрокоринфе. Но даже если ему удавалось эту плоть покинуть, в своей истинной сути духа он был сейчас не опасен, ибо и духам не дано безнаказанно разбрасывать телесные оболочки, в которые им вздумалось облечься. Пронизать их собой было отнюдь не то же самое, что сунуть руки в вырезы хитона. Надо было отдать плоти, перелить в нее часть самого себя, претворив эту часть в некое земное существо, и эта двуликость убавляла духу прыти. Когда же тело застревало в жесткой паутине земной неразберихи, вместе с ним и дух терял некоторую долю свободы. В конце концов, можно было, конечно, восстановить единство, но для этого требовались чрезмерные расходы энергии, что свидетельствовало бы о неловкости духа в своем деле и вызвало бы серьезное неодобрение.

Танат – или тот, кем он постепенно становился – был очень оскорблен, с отвращением утолял ненужный ему, но неодолимый голод, даже не глядя на слуг, которые при-

носили ему еду. Говорить с ним Сизиф запретил, прибавив, что узник не в своем уме, и ничего толкового они от него все равно не услышат.

Да, Смерть понесла некоторый урон. Сизиф же, тем временем, нечто приобрел, но положение его было значительно хуже.

После заказанного им пиршества, на котором он между делом распределил среди старейшин многие из своих повседневных обязанностей, город довольно долго не замечал, каким нелюдимым стал царь. По прошествии же времени, привыкнув, что делами царства занимаются всем известные, уважаемые люди, а царь появляется все реже, коринфяне решили, что он и всегда-то был не очень общителен.

Это были черные годы. Во мраке пребывала его душа, не находившая выхода, казнившая себя за нелепость, в которую он вверг мироздание по своей слабости, и вместе с тем прозревшая во мглу, где струились исходные течения мироздания, где страшные в своей несоизмеримости с людскими силы водили океанские приливы, поворачивали над головою звездный небосвод, внушали ярость или внезапную кротость целым народам.

Длящееся соседство со смертью, которую он держал в подчинении, сообщило ему могущество, с которым он не знал, что делать. То, что произошло поздним вечером в зале дворца, уже не вспоминалось в подробностях житейского события, да в основе своей оно и совершилось не на земле. Каким-то чудом ему удалось произвести действие, как смерчем вознесшее его над живущими, поставившее вровень с мрачным узником и с остальным сонмом духов, владевших миром не по желанию или назначению, а самим существованием своим. Одиноко и пусто было ему там. Он не принадлежал к этой породе, и с ним не считались, как со своим, ничего от него не требуя, лишь презрительно мирясь с его присутствием. Пользоваться же новой властью он мог только на свой страх и риск, но употребив ее однажды столь безрассудно, он застыл в неподвижности, опасаясь, что следующее его телодвижение приведет к еще более катастрофическим последствиям. Не мог он и стряхнуть с себя бремя этой великой, ненужной силы, смутно ощущая, что только она и охраняет его до поры от посягательства соперничающих, но не превосходящих сил. Это равновесие неумолимо опустошало его душу.

Между тем, жизнь его продолжалась в том же Коринфе, где никто не спешил наказать его за произвол, хотя сам он был уверен, что наказание уже началось – так горька стала ему эта жизнь, едва ли не горше самой смерти. Иногда, обессилев, он стонал, пряча лицо в колени плеяды, прося у нее прощения за то, что по его вине так безрадостно завершалась ее земная судьба, и Мерепа, замирая от предчувствий, утешала мужа, напоминая ему во многих подробностях о лучших, счастливых часах их жизни.

По обоюдному согласию они отправили всех детей – старших самостоятельно в Спарту, где им надлежало расстаться с некоторыми привычками к роскоши и обучиться

военной сноровке, младших в сопровождении Трифона – к их кузенам в Фокиду, поручив сыновьям Деиона позаботиться о мальчиках ввиду непредвиденных трудностей, ожидавших в ближайшее время отца и мать. Для Трифона, который был чуть старше Сизифа и вместе с ним обретал все признаки старения, это было, пожалуй, последним путешествием. Он не осмелился расспрашивать хозяев, но догадывался, что видит их в последний раз. Да и не было нужды у царя притворяться перед верным слугой, который давно уже не чувствовал себя в доме рабом.

Совсем не так обстояло дело с детьми. Ни взглядом, ни вздохом им не было открыто, в какой долгий путь они отправляются, и сердца их веселились, предвкушая перемены, торопясь испробовать новую вольную жизнь вне родительского надзора. При всей любви и привязанности к ним, Сизиф тоже спешил оттолкнуть сыновей от себя, выпроводить из дома, где вот уже который месяц обитала смерть, потерявшая свободу, но не власть.

Для Меропы тоже не было тайной, что она расстанется с детьми навсегда. Трудно приходилось плеяде, когда она удерживала в себе рвущуюся наружу тоску материнского сердца и с сочувственной горечью вспоминала Медею, кожей ощущая, каких усилий стоило той лишиться себя последних недель прощания с Мермером и Феретом. Но ни словом не возразила она Сизифу, когда он объявил о своем решении, сразу поняв, от чего он стремится их уберечь, и нисколько не сомневаясь, что после близившейся кончины мужа, сама не проживет и дня.

С малышами они прощались так, будто отправляют их в веселую, недолгую прогулку. Старшим же отец почел нужным сделать короткое наставление.

- Вам приходилось уже слышать обо мне немало небылиц, - говорил царь Орнитиону и Главку, глазевшим по сторонам и в нетерпении переминавшимся с ноги на ногу. – Наверно, вам станут рассказывать еще и не такое. Не рвитесь первым делом опровергать слухи, даже если они покажутся вам обидными. Те из них, что рождены пустым вымыслом, так и останутся летать в пустоте. А в остальных постарайтесь отделить выдумку от того, что ее породило. И будьте твердо уверены в одном – что бы ни сочиняли люди, преступлений против них ваш отец не совершал. Не было злодеев во всем вашем роду, который восходит к самому Прометею. Помните об этом и не срамите себя ни жадностью, ни трусостью. Остальное придет к вам само.

Из дворца, еще полного движения, и звуков, удалилось все, что было связано с будущим. Дом опустел.

Три долгих года следила плеяда, как терзали ее супруга палящее желание уйти из жизни и студеной воля дожить до последних испытаний. Уже иссякали воспоминания, которыми ей удавалось время от времени его развлечь, уже не раз он прерывал ее в самом

начале, равнодушно напоминая: «Да, да, недавно мы говорили об этом». И хотя в те редкие дни, когда они покидали уединение, жизнь вокруг дворца изумляла их своим постоянством и равновесием, Сизифу открывалось то, чего не могла в полной мере различить Метропа – он видел, как покосился за эти годы мир, как угрожающе он кренился в отсутствие опоры, которую, как ни трудно было это постичь, составляла смерть.

Но обретя двойное существование, он не знал, как себя вести ни в одном из них. И совершенно невозможным было повернуть вспять. Никто не внушал Сизифу предсмертной робости, не учил его обману. Это был он сам, его собственный изъян. Ему захотелось стать самим собой, и если пришлось увидеть себя не совсем таким, как представлялось, изменить тут ничего было нельзя. Сколь ни желанна была ему теперь смерть низшей своей, земной ипостаси, пойти самому ей навстречу оказалось бы только еще одной слабостью, что было абсолютно открыто для ипостаси высшей. Надо было ждать, беспощадно напоминая себе о том, как труслив и самонадеян сын Эола, и разве что тут мерещилась еще мало-представимая возможность поправить дело. Если бы он все же решился погасить в себе адский огонь, загоревшийся от противоборства с Танатом, вновь остаться только царем Коринфа и мужем своей жены, и сумел бы в этом жалком состоянии не сплеховать при новых, скорее всего еще более сложных обстоятельствах, глядишь – и вернулась бы хоть доля уважения к себе.

Но это были пустые фантазии. Ничто не ожидало его впереди, кроме бесславной кончины. Все, что он мог сделать, это не испугаться в следующий раз. Игра же его была безнадежно проиграна.

* * *

Спутница, прогулка с которой по широкому Истмийскому тракту приснилась Сизифу, была красива незнакомой, невиданной прежде красотой. Он не предполагал, что существует такое диво. И оттого, что облеченная ею женщина была с ним проста и дружелюбна, он испытывал столь же незнакомое раньше чувство вселенского мужского достоинства. Его изнуренная душа расправлялась в этом сне, с каждым шагом их прогулки ослабевала тревога, возвращая сознанию ясность и безмятежность.

Сизиф с удовольствием разглядывал ее лицо с утяжеленными веками и чуть припухшими губами четко очерченного рта, стараясь понять, что в сочетании этих черт создает такую невыразимую притягательность. И встречал в ответ столь же внимательный, заинтересованный взгляд, не противящийся его любопытству, лишенный даже намека на тщеславие, как будто спутнице его известно было, насколько благодатна ее красота, и насколько она является ее сутью, исключая возможность гордиться ею, как

своей собственностью.

Ее темные, свитые в тяжелые косы, причудливо уложенные волосы поблескивали на солнце сплетениями, напоминая мирно спящих, исполненных премудрости змей.

Они шли молча, и, тем не менее, продолжался между ними немногословный обмен мыслями, полный смысла и новизны, как вдруг Сизиф догадался, с кем свело его провидение на знакомом перешейке. Пораженный несоответствием того, что видит, тому, что знал об этом существе, он застыл на месте и воскликнул:

- Как?! Как же позволено мне смотреть в твои глаза, Медуза?

Она остановилась тоже и, повернувшись к Сизифу, отвечала:

- Почему же не посмотреть в глаза правде, если у тебя есть силы выдержать ее взгляд.

- Но все остальные?..

- Ах, Сизиф! Не трогай остальных. Слишком дороги эти мгновенья, чтобы посвящать их заботам о чужом несовершенстве. Ну, представь хоть, что я тебе снюсь.

- Я не чувствую себя спящим.

- Вот и хорошо. Нам многое нужно обсудить.

Горгона была одного роста с ним и крупного телосложения, но будь она и великаншей, это не убавило бы ей прелести и нежности, которые составляли природу ее обаяния. Взывая к защите и опеке, она одновременно спрашивала: сумеешь ли? Достанет ли тебе самому равновеликой доброты, стойкости, и верности? И обжигала мысль, что не выдержав этого испытания, ты погубишь ее, а без нее обрушится весь мир.

- Ты совершил ошибку, Сизиф, - продолжала Медуза, положив ладонь ему на грудь, что вызвало в нем новый прилив горделивой радости. - Но она поправима. Мне кажется, ты можешь совершить еще одну, но и она не покроет тебя позором и не ввергнет в небытие, хотя, вероятно, будет стоить тебе жизни. Так должно быть. Так надлежит нам действовать – совершать промахи достаточно большие, чтобы никто не усомнился в нашем искреннем стремлении к правде. Нет никого под небом и в самих небесах, кто владел бы ею вполне. Не знают ее и боги, и ты вправе винить их во многих грехах, кроме одного – им незнакома робость. Ты ведь не думаешь, что они живут лишь в свое удовольствие. Им тоже не терпится устроить мир как можно лучше. А жадность и своеволие наши только отражаются друг в друге. Не забывай о нерожденном ребенке Фетиды – тебе, должно быть, говорила о нем Медея – о новой еще более могучей силе, которую им предстоит явить. Как же явить ее, не утратив своего могущества? Многое совершается неразумно, невпопад. Но и робость человека уродует лик мироздания, ибо с некоторых пор богам приходится с вами считаться. Она исказила и мой лик в глазах тех, кто не умеет побеждать, признав себя побежденным. О зловещей горгоне Медузе

рассказывают те, кто никогда ее не видел, кто считает это полезным, не желая испытывать себя более, чем того требует здравый смысл. Никого не пугает красота Афродиты или Елены из Спарты. Все знают, что делать с этой красотой. А всё, что превышает эти знания, легче отменить, и они превращают меня в чудовище. Но не так легко поработить истину, приходится снабдить это мерзкое существо странным свойством, запрещающим его увидеть. Однако, совершив это насилие и поселив горгону Медузу в отдаленное место, куда без труда не доберешься, они все еще испытывают неодолимую потребность туда попасть. И тогда, заглушая свою совесть, они губят горгону окончательно, хотя причина расправы вновь не поддается объяснению. Я смирилась с уродством, мудрой Афине не было нужды соперничать со мной. Она согласилась играть эту роль, потому что робость людей отражается в слабости богов. Но это грозит возвратным угасанием всему сущему.

Ты, пожалуй удивился бы, а то и ужаснулся, узнав, как мы с тобой похожи. У нас есть еще нерастраченные силы, мы сумели бы настоять на своем, да время пока не пришло, и не будет миру добра от нашего упорства. Надо нам учиться уступать свое право, не уступая в своем бытии, какой бы черной краской не малевали нас люди или боги.

Связав Таната, ты пошел против законов мироздания, но зла не сотворил. Тебе придется нести наказание, ибо таково устройство мира, и никакого другого мира еще не создано. Однако, небытие тебе не грозит, пусть даже мои слова не убеждают тебя, и ты не узнаешь об этом, пока не увидишь собственными глазами в утысяченном свете. Тебе не позволено нарушать законы, так не давай их нарушать и никому другому.

Ты стоишь перед горгоной Медузой и не превращаешься в камень, потому, что пришла я к тебе все-таки во сне. Но еще и потому, что вот уже много десятилетий ты неотрывно смотришь в другие глаза, которые отличаются от моих, может быть, лишь на волосок. Приободришься. Быть самим собой – большое дело. Еще важнее – оставаться собой, когда все, даже ты сам, даже боги, видят в тебе чудовище. Теперь мы расстанемся, сын Эола. И если по пути в Аид тебя все же испугает мой облик, помни, что это буду не я, а та, рожденная робостью выдумка, которую ты принесешь с собой. Я рада узнать, что ты существуешь на свете. Я буду думать о тебе, глядя на каменные изваяния тех, кто оказался на моем пути, и видеть того, кто так пристально и тепло разглядывал мои черты, кто смотрел мне в глаза так же открыто и прямо, как я сейчас смотрю в твои. Пусть даже и во сне...

Очнувшись, Сизиф долго лежал в темноте, не шевелясь, слушая дыхание Плектры. Это был только сон, что ничуть не умаляло его значения. Он ведь давно уже не мог с уверенностью сказать, во сне ли произошла его первая встреча с Меропой.

Он не помнил, что говорила ему женщина, и вспомнить не старался. Из памяти ускользнуло даже, кто это был. Осталась лишь волнующая догадка, что с видением этим связано какое-то важное открытие, хотя Сизиф не смог бы сказать, в чем оно заключается. Но мысли его сейчас занимало совсем другое.

Он пытался вспомнить женщин, чей облик удерживал его внимание и тревожил воображение какими-то неосуществленными возможностями. Их было немного, каждый раз ему удавалось прогнать это наваждение, но иногда он задумывался, не эту ли строгость нравов называют люди смирением, отказом от надежды, утратой необходимых жизненных сил для продолжения поисков того влекущего образа, который открылся ему однажды в пляде, а затем продолжал мелькать то тут, то там, смущая в сновидениях, и в случае внезапного появления в реальной жизни грозил тяжелыми душевными испытаниями.

Теперь у него открывались глаза. Он осознал внезапно, как ничтожно мал тот срок, которым привыкли измерять неудачные и даже удачные браки, и как наивно предполагать, что в такие сроки возможно целиком постичь другое человеческое существо. Если предчувствие не обмануло, что тоже случается сплошь и рядом, со временем узнаешь, что являющийся образ совершенства – это только напоминание о необходимости продолжать терпеливый труд любви, что твой спутник в жизни становится все больше и больше на него похожим. А если так ослепительно повезет, как повезло ему, увидишь, что любимое тобой существо как раз и есть то самое земное воплощение совершенства, и это его дух тревожил тебя, мелькая отражениями в дневной суете и посещая во снах, чтобы душа твоя не засыпала, не останавливалась на полдороге, училась отличать неживую мечту от живого счастья и обрела полноту бытия и совершенство чувств.

Сизиф смотрел на спящую Пляду и с волнением ждал рассвета.

Она проснулась, но не хотела открывать глаз. Солнечный свет не сулил ничего утешительного, ей вот уже несколько дней приходилось совершать усилие, чтобы сделать этот первый шаг все к тому же унынию, к тем же заботам о безутешной душе мужа, которыми были полны вчерашний день и тот, что ему предшествовал. Но первое, что она увидела, была улыбка Сизифа, не появлявшаяся на его лице много лет. Мерепа бросилась ему на шею, заливаясь счастливыми слезами.

- Позволь мне сказать, как счастлив я с тобой, - говорил Сизиф. - Как я горд тем, что ты выбрала меня среди живущих. Узнай также, что когда бы ни случилось то, чего мы с таким страхом ждали все это время – а мне кажется, что день этот настал – никакая сила не сумеет нас разлучить, ни на земле, ни где бы то ни было. А теперь я расскажу тебе, что мы будем делать.

Едва успела порадоваться пляда, впервые за много-много дней, как вновь от

нее требовали освоить одну из невыносимых причуд этого мира. Теперь ей надлежало остаться в полном одиночестве – не надолго, как утверждал Сизиф, но в этот раз она не могла знать, куда он отправляется, и в ожидании своем воображать его живым и невредимым, хотя бы и вдали от дома. Как раз напротив, вопреки его уверениям, Меропе предстояло увидеть мужа мертвым и, каким-то непонятным усилием удержавшись от отчаяния, ждать его возвращения ниоткуда.

Плеяда готовилась пережить то, о чем не могла и помыслить небесная дева, решительно обрекая себя на судьбу земной женщины. Эта судьба, которая некогда виделась ей столь желанной, а ныне предъявляла требования, одно невыносимее другого, заставляла ее спрашивать себя: к этому ли она стремилась, столь ли непреклонным было бы ее решение, знай она наперед обо всех его последствиях. К ней возвращалась память о том, чему не было места в ее новой жизни, и как только этот запрет оказался преодоленным, она уже не могла не увидеть, что во всем случившемся есть и ее вина. Нынешнее своеволие мужа было вполне подстать ее собственному своеволию. Так пристало ли ей, изменившей своей природе, сетовать, что не одно лишь блаженство она получает в награду. Горше всего было, что не ей приходится платить самую высокую цену, что расстаться с жизнью предстоит ее возлюбленному, что не знает она способа сделать это вместо него.

Будто слыша ее мысли, Сизиф продолжал утешать жену, стараясь передать ей уверенность, обретенную во сне.

- Ты умное и храброе существо. Ты сможешь это понять. Не с человеческой жизнью своей я хочу расстаться. Её-то как раз я надеюсь себе вернуть. Таким способом развязав этот узел, я сойду в Аид не мятежным и обузданным духом заблуждения, каковым меня сделал страх, и каковым мне быть не пристало, а обыкновенным смертным, чья судьба находится в руках богов. Но если, как я догадываюсь, они будут вынуждены считаться с их собственными правилами, они вернут меня обратно. И вновь – не потому, что я соперничаю с ними силой и могуществом, а лишь по той причине, что я – человек. Не думаю, что жизнь наша вслед за этим еще сколько-нибудь продлится, но то будет совсем другая кончина. Мы уйдем с миром, вместе, и что бы ни ожидало нас за этим порогом, нам не придется этого страшиться, как не пугало нас ничто здесь на земле, за исключением той проклятой встречи, когда я утратил самообладание. Если я вернусь, у нас не будет больше сомнений в том, какова наша доля.

- Если вернешься...

Сизиф нахмурился и ответил не сразу. В этот миг он не хотел лукавить и ничего не собирался скрывать от Меропы.

- Я по-прежнему боюсь смерти, - сказал он затем. - Все это вовсе не кажется мне увлекательным. Я не уверен даже, смогу ли выдержать то, что мне предстоит. Но по-

ступим мы именно так. Я надеюсь на твою силу и твою мудрость. Больше мне надеяться не на что.

Меропа не сумела с собой совладать, лицо ее исказила гримаса – рот судорожно раскрылся, между оскаленными зубами показался безвольно повисший кончик языка, вытаращенные глаза вдвое увеличились в размерах и округлились. Сизифу показалось даже, что поднялись, извиваясь как живые, несколько прядей ее волос темного шелка.

Но это был последний приступ страха. Через мгновение ни один из них не поверил бы, что лик плеяды способен на такие превращения.

Положив на грудь мужу обе ладони, Меропа сказала:

- Я сделаю все, как ты велишь. Положись на плеяду.

* * *

Остаток утра Сизиф провел на террасе, поглощенный зрелищем еще низко стоящего солнца, которое сверкало между кронами кипарисов, тесными рядами поднимавшихся по восточному склону Акрокоринфа. Не болью расставания было полно его сердце, но благодарностью за то, что ему дано почувствовать эту красоту всеми силами души.

Когда из полумрака комнат вышел к нему исполинского вида воин в полном вооружении и, не снимая шлема с острой гривой из медных пластин, громогласно объявил, что арголидцы прислали его забрать преступника, арестованного коринфским царем, Сизиф молча протянул ему ключи на большом кольце из золотистой пиренской бронзы, указал на лестницу, ведущую в подвал и вновь вытянул руку к богу войны, предлагая освободить его на время от тяжелого копья, облегчив спуск по узким ступеням. Пока тот шагал вниз, цокая подкованными сандалиями, Сизиф трижды стукнул древком копья в потолок, давая знать Меропе, что короткому дню пришел конец, и что должна она оставаться там, где застало предупреждение, пока все не завершится.

Затем царь поставил к стене Аресово оружие и сел в тронное кресло.

- Не стоит прятаться, сын Майи, - сказал он пустой зале, - сегодня ты не увидишь и не услышишь ничего примечательного.

- Так я тебе и поверил, старый плут, - ответил мальчик, появляясь из-за колонны, - Нет, я уж дождусь, пока тебя упекут как следует, чтобы убедиться, что нечему больше поучиться у Сизифа. Тук, тук, тук... - добавил юнец, передразнивая своим посохом царский жест.

- Почему бы тебе не оставить в покое свою палку, пока мы еще здесь, наверху. У людей принято прощаться. Разве это неведомо богу?

- От Таната сегодня не избавиться. Это, надеюсь, тебе известно. И с земли тебя уведут.

- Мне известно это. С надеждой предвкушаю, как сбросит моя душа эти кости, давно уже доставляющие одни неудобства.

- Так, так. Далеко же простираются твои тайные замыслы. Ну, увидимся еще – я слышу шаги нашего солдафона. Не хочу мозолить Танату глаза. Кажется, я подвел его в прошлый раз.

Тишина, к которой прислушивалась плеяда, оглушала. Она зажимала рот подушкой, чтобы не кричать вместо Сизифа, который конечно же решил не мучать ее своей болью. Потом внизу ударились о косяк широко распахнувшаяся дверь, и Меропа подбежала к окну.

Существо, которое выползло на плиты двора ничем не походило на Сизифа, как не было в нем уже и ничего человеческого. Этот – не то жеребенок, не то молодой олень с разорванным горлом пересекал двор на подламывающихся ногах и, ни к кому не обращаясь, никого не виня и не проклиная, кричал человеческим все же баском, по-человечески картинно готовясь к концу: «Погубили коняшечку!..» И по мере удаления от дворца – все тише и тише: «Помогите... помогите...»

А он, уже не владея членами, не чувствуя боли, видел, как до снежной белизны седеют стволы и кроны гордых кипарисов.

* * *

Гермес незаметно присоединился к ним почти у самого Ахеронта. Верховный небесный воитель отстал давно. Здесь в преддверии Аида ему появляться не хотелось, да и задачу свою он выполнил еще там, во дворце, выведя из заточения отощавшего, злого, но быстро вернувшего себе на воле силу, и самообладание Таната. У этих вод кончались и обязанности ангела смерти, он предпочел бы даже избежать препирательств с вечно капризничающим перевозчиком и с облегчением передал своего подопечного Гермия, который выглядел теперь вполне возмужавшим юношей, внушал скорее доверие, чем тревогу.

Они быстро просочились сквозь толпу качавшихся в тягостном ожидании те-ней, но у самого суденышка были остановлены энергичным стариком, который кричал своим беззубым ртом что-то неразборчивое для ушей Сизифа, протестуяще махая веслом. Не удостоив его даже взглядом, проводник отодвинул рукой тщедушную фигуру, и она плюхнулась через борт челна в темные воды. Удаляясь от берега, Сизиф видел Харона стоящим по грудь в медленном потоке, потерянно глядящим им вослед. В нем шевельнулась жалость к этому привратнику преисподней, в общем-то симпатии не

заслуживавшему. Он вновь оценил бесцеремонную власть своего проводника, но она больше не пугала.

Гермий остановил движение челна, подняв из воды весло, с которого беззвучно падали тяжелые крупные капли.

- Так что за хитрость припас ты на свой черный день? – спросил бог воров и торговцев. – Надеюсь, ты не разочаруешь меня какой-нибудь глупостью, вроде отсутствия похорон.

- Да это, может быть, вовсе не хитрость. А если глупость, то не моя, - отвечала душа Сизифа, рассеивавшаяся в пространстве и быстро терявшая силы чему-либо противостоять. - Один из вас внушил мне в Дельфах, что мыслью человеческой ничто не кончается, как бы ни была она ясна и глубока, что если стоит что-нибудь усилий, так это заглядывать вперед, где по привычным нашим меркам ничего не видно. Когда не закончены дела человека на земле – они не закончены. И никто кроме него не в силах их завершить – ни небеса, ни бездны Аида.

Моложавый бог прислушивался внимательно, казалось улавливая в словах Сизифа нечто, хорошо ему знакомое.

- Не знаю, надо ли говорить с тобой, - продолжал Сизиф, испытывая неодолимую тягу к молчанию. - Посмотри на меня: от того, что было Сизифом, ничего не осталось и ничего более не зависит. Отведи меня к судьям. Я остаюсь здесь.

- Погоди, погоди... - бормотал Гермес, обдумывая что-то свое, явно его заинтересовавшее. - Любезная наша тетушка, стало быть, всем теперь заправляет. Не могу сказать, что испытываю к ней особое расположение, но любоваться останками мужа и даже жирных ворон не отогнать – это чего-нибудь да стоит. Что же, папашино семя выиграло, или это ты обучил ее таким нелюдским делам?

- Ошибаешься, Гермий и тут, и там. Обряды люди не сами придумали, и не им одним распутывать, если где-то не так завязалось.

- Думаешь, небось, что в самую гущу здешних дел влез. Я тебе сразу скажу, как с тобой обойдутся. Гуща кипит, но не про вас, въедливых, варится. Тебя и коснутся-то лишь метлой, которой помои смахивают. «Что он там лепечет? – скажут. - Чем недоволен? Какого порядка требует?.. Требуется?! Пошел вон! Выметайся, прозрачный червяк!» Вот и вся твоя победа.

- Ты говоришь не только со знанием дела, похититель стад, я слышу в твоих словах изрядную горячность. Разве и тебе приходилось такое испытывать?

- Ну, ты со мной-то не равняйся, смертный. Наши раздоры вашим не чета.

- Тут и спорить не о чем. Но вновь прошу тебя, смири любопытство и не удерживай Сизифа. Мне, право, нечем тебя удивить. Ты все знаешь.

- Не суетись, лукавый муж. Я, кажется, больше для тебя стараюсь, - Гермес едва повел вверх кончиком своего жезла, светившегося золотом, и вслед за ним вновь распрямилась душа Сизифа, безвольно стлавшаяся перед тем по дну челна, - Скажи мне теперь, к чему твоя уловка? За то, что ты папашку нашего разок засветил или даже этого недотёпу накачал винищем, тебя сильно не накажут. Так, недолгую порку сочинят, да и то можно будет что-нибудь придумать. Но если им придётся тебя отсюда выпустить, не хотел бы я на твоём месте оказаться. Сюда по людским делам заходить нельзя. Тут тебя так от света закатают, что проклянёшь все хитрости свои. Меня же, небось, и пошлют за тобой опять.

- Далеко ли от света простираются их руки?

- Это непонятно мне. Насколько я знаю эти края, здесь всюду черным-черно. Потому и не заглядывают сюда никто из олимпийцев.

- Не заглядывают, потому что все о тьме знают? Или не знают, оттого, что не заглядывают?

- Фу, какая пустая болтовня. Как будто говоришь с самим собой. Затея-то твоя не так уж плоха, хотя и не слишком остроумна. Пожалуй, стоит даже стать твоими устами, чтобы не пришлось ждать разбирательства ваших запутанных прав. Но вот что. Два раза я за тебя просить не стану. Оставайся сразу, и я помогу тебе оправдаться – из солидарности пройдохи к пройдохе. Это будет, пожалуй, похитрее.

- Не придется ли тебе в этом случае самому позаботиться о моем прахе там, в Коринфе? Или ты веришь, что можно лишит плеяду надежды на мое возвращение?

- Верю? Эта вертихвостка и не от таких привычек отказывалась.

- С тех пор много воды утекло, дух соблазна, привычки плеяды отвердели. Но – воля твоя, поступай, как знаешь.

- Да мне что за дело! Много ли чести упрямую бабу уломать. Если тебе окончательно сгннуть охота, я отговаривать не стану. У всех вас свои причуды. Так говоришь – на Аполлона нужно ссылаться? Вот, значит, где наш светлый дух попался, - они ужеплыли меж стеблей осоки, далеко зашедшей в воду у противоположного берега. - Жди меня здесь, - продолжал Гермес, - Ни с кем не говори и не пугайся тех, кто подступит к тебе, как только я скроюсь. Это все – отбросы, видимость одна. И уж во всяком случае ничего в рот не бери.

Высокие стебли приняли на себя то, что было Сизифом. Он хотел лишит себя зрения, но обнаружил, что это невозможно. Подобно Аргусу, он весь состоял из сплошных глаз.

- Гермий! - позвал он вослед фигуре, поднимавшейся по пологому, заросшему седым камышом склону, - Почему ты берешься мне помочь?

- Для равновесия, - отвечало божество, продолжая удаляться, хотя голос его звучал рядом.

- Какой же расплатой грозит мне твое содействие?

- Да ты не так уж умен, оказывается. Что за вздорное мнение сложилось у тебя о Гермесе? Что может тебе грозить, если ничего худшего с тобой уже не случится? Не слишком ли далеко ты заглядываешь? Братец мой многое знает, конечно, и советы дает мудрые, но и он способен кое-что упустить. Ведут из одной пещеры в другую следы несметного стада. И здесь, куда приведены были коровы, следовало бы найти тесно сбившиеся туши. Но их нет. Не станешь же ты искать животных там, откуда выходят их следы? Однако, именно там, в пещере, которую поспешно опустошило твое воображение, они как раз и находятся. Как же, покинув убежище, стадо в нем осталось, а придя в другое, не смогло в нем задержаться и мгновения?

- Это не трудно. Но ведь доступно такое только вам. У нас времени не хватит снабдить коров четырежды несметным количеством перевернутых копыт.

- Но не в этом же дело, дальнзоркий сын Эола! Начинай работу, не считая копыт, время тебе уступит, о его проделках тебе должно быть известно не хуже моего. Разве не этому учил тебя в Дельфах мой благородный брат? Чего он по благородству своему не досказал, так это притчи о весах, с нижней чаши которых выветривается груз, а на легкую, взвившуюся к небесам, оседает пыль, и рано или поздно обе выравниваются. Так далеко он не предлагал тебе заглядывать? Но, чему быть, тому не миновать, незачем и откладывать. Да еще если речь о вас, чей век короток. Такому мог бы тебя научить я. Даже в стихах, но скучно тратить время на те же слова – они не станут от этого ни яснее, ни правдивее.

- Ты, стало быть, помогаешь тем, кто в беде, и когда они в благодарность славят тебя, осыпая приношениями, ты лишаешь их благоденствия, чтобы не слишком возносились чаша? Такое равновесие люди зовут справедливостью, а ты ведь бываешь несправедлив.

- Называть вы это можете как вам нравится. Беда в том, что о справедливости каждый из вас судит по-своему. Дано ли тебе знать, как отзовется твоя царская удача – в окруженном воинами храме, в двух шагах от тебя? Уж не говоря о более дальних местах и вовсе тебе незнакомых людях?

- Ты хочешь сказать, что такое страшное знание дано тебе?

- Оно мне не нужно. Я с полным правом забочусь о равновесии, везде, где только замечаю, что оно поколеблено. И если бы ты не кичился собственным благополучием там, на земле, Гермес не казался бы тебе исчадием преисподней. Ты и сейчас счел меня своим спасителем только потому, что пал ниже травы, и прибрежная

слякоть Ахеронта – это все, что постигает твой разум. Но пещера пуста. И стадо, отправившись в путь, не двинулось с места. А теперь дай мне помолчать и собраться с мыслями. Я не в первый раз собираюсь вступить в спор с судьями Аида, и красноречие меня никогда не подводило, но осторожность все же не помешает.

Гермеса давно уже не было видно. Теперь умолк и его голос. Но если смысл существования этого бога еще предстояло осознать, спешить было некуда. Главное, что необходимо было совершить, осталось позади. Конечно же не настоящее смирение, а тот самый, пробудившийся в нём могучий дух погнал его сюда, помог осуществить эту аферу, притвориться человеком. Конечно же ему не выйти сухим из воды. Но человеком-то он стал, хоть и осознал это, лишь когда увидел своё неподвижное тело в дорожной пыли. И теперь готов был нести любое наказание, терпеливо дожидаясь, когда им овладеет истинное смирение, ибо лучше Гермеса знал, в чём заключается его вина, и сильнее чем прежде верил, что для сумевшего повиниться не всё потеряно. Ему приходилось сейчас нелегко, но концом это не было.

Никто не тревожил зрячую душу Сизифа, и будучи не в силах ни на чем удерживать свой утысяченный взгляд, душа немела, слыша, как издалека долетает требовательный, по-прежнему невнятный крик Харона.

* * *

Мертвый человек лежал на обочине, от которой круто уходил вниз спуск каменистого холма. Прохожие и повозки, ускоряя ход, поднимали пыль, а ветер подносил и подгребал ее к телу, так что уже на исходе второго дня женщине, неотрывно глядевшей из окна на втором этаже, через пустой двор и раскрытые ворота труп казался камнем, серым и сглаженным временем, как и все горы вокруг, ближние и дальние.

Теперь Меропе хотелось угаснуть совсем, перестать кому бы то ни было светить и отражать свет. Сизиф не сказал, когда вернется, и если первую ночь она встретила дрожа, как тетива, полная решимости ничему не уступать, к следующему вечеру она сама превратилась в камень. Она не понимала, чего ждет. Ей мнилось, что если бы дали как следует проститься с сыновьями, извести себя в слезах по мужу, жизнь оказалась бы не такой уж пустой. И оставались еще считанные мгновения, когда можно было выбежать из дому, перелетев двор, упасть на пыльный холмик у дороги, забывшись в горе. Но не могла плеяда послушаться мужа и нарушить обещание. Ради него – да, ради него она могла сделать и не такое.

Противоречивые чувства разрывали ей сердце. Она готова была проклясть появление в мире нового бога, приготовившего ее к встрече, которой надлежало пройти не-

заметно, как это и случилось с сестрами. Одним только существованием своим сын Зевса и Майи стягивал друг к другу несоприкасавшиеся сферы, внушал духам земные надежды, а смертным – непосильные небесные мечты. Но и сейчас, глядя на свою судьбу, постигая, что надежды и мечты эти сулят лишь безрадостное угасание одним и преждевременную кончину другим, плеяда не отдала бы и мгновения своей земной жизни. Прежней жизни, ибо то, что с ней происходило теперь, вряд ли можно было так называть.

Мысли путались. Расплата оказывалась несоизмеримой с блаженством, если именно так называть вереницу радостей и печалей, составлявших ее здешнюю судьбу. Но если похожие чувства испытывал и Сизиф, у него были причины добиваться ответа на свой вопрос – зачем? Ведь это он имел в виду, делясь с нею своими переживаниями в то злополучное утро, когда их дворец посетил речной бог, и Сизиф впервые заглянул в пустые глаза Гермеса.

Нужно смириться, не оставлять надежды на мужа, который возложил свои последние надежды на нее. Но если он не придет... Так тяжело плеяде не было и в самую трудную пору ее звездного одиночества.

Черствость царицы, неожиданная, как землетрясение, завораживала коринфян. Они не только не решались подойти к дому, но с часу на час ждали сокрушающей божественной кары всему городу, которым еще вчера так уверенно правил покойный. Ни обида, ни злоба женщины не могли быть причиной такой жестокости. А чем-то ее надо было объяснить, чтобы совсем не растеряться, разом оставшись и без правителя, и без правил, и люди повторяли друг другу старые слухи, укладывая чужую жизнь на несоразмерное ложе, не подозревая о своем сходстве с легендарным разбойником.

Неправда это, будто не за что было Меропе гневаться на мужа. Поглядите вон на внука Автоликова – ни в мать, ни в отца, ни лицом, ни повадкой. Ваших сорванцов не облапошил еще? Скоро будут за него овец пасти. Или игрушки выменяет у них на ледяную сосульку. Не Лаэрту было такого прохиндея зачать. Разве что в деда уродился, который днем только и отсыпается. А вот когда Сизиф нас к нему привел, заставил овец осмотреть, и Автолика мы уличили – куда он сам-то пропал? Служанка говорит – ушел раньше всех через задний двор. Стало быть, пока мы там шумели, успел Сизиф в доме побывать. И делать там ему нечего было, кроме как невесту рассмотреть во всей ее красоте. Да Автолика не жаль, кто украдет – у того и пропадет. Но Меропе-то каково было всем нам в глаза смотреть? Это еще чужая девка была. А вот рассказывают, что в Фессалии он родную племянницу двойней обрюхатил. Такой бессовестный мужик мог столько натворить, что мы и половины не узнаем. От Меропы, однако, ему потрудней было свои пакости скрывать. Но правду говорят, что всякому терпению приходит конец. И все же надо бы ей пересилить себя. Какой-никакой, а муж был, детей ему родила... Де-

тей-то вот тоже что-то давно не видно... Хорошо бы намекнул ей кто, что не водилось у нас такого, чтобы день, и другой царь падалью валялся у дороги. Да как намекнешь? Как бы еще похуже чего не открылось...

Вороны вели себя смелее людей, которые приближались к мертвецу лишь по необходимости, только чтобы подстегнув осла или коня, побыстрее проскочить дикое место по единственной дороге. Но и лакомые до падали птицы удерживались все же поодаль, рассевшись на заборе и валунах, часами дожидаясь неизвестно чего. Редких прохожих они не пугались, поглядывали на них равнодушно, на мертвое тело вовсе не глядели, прислушиваясь лишь к инстинкту, который вопреки очевидному подсказывал, что нужно погодить.

Несколько раз на дню из города поднимался гончар Басс и, остановившись на повороте, подолгу смотрел на безжизненный дворец. Дома под навесом у него стоял старательно слепленный, раскрашенный и обожженный могильный ларь, но за ним не посылали, и редкая выручка таяла на глазах, потому что вряд ли кто решится приобрести себе царский ларнак. Утешая Басса, выслушивая его сетования, люди постепенно осознали, что это была первая смерть за долгое время. Город был большой, и обычно не то что года – месяца не проходило без похорон. Так что коринфянам, упустившим из виду, что вот уже многие годы никто здесь не умирал, кончина человека открылась вдруг во всей своей непостижимой новизне. И не было возможности смягчить ее пышными проводами.

На третий день пыльный холмик пропал. Но долго еще никто из горожан не решился заглянуть в умолкший дом с распахнутыми воротами.

* * *

- Пришел? – спросила Меропа, все еще сидевшая у окна, глядя во двор, - Ничего не готово. Ты уж прости. Не знала, когда тебя ждать. Побудешь немного? Или вновь отпавишься?

Сизифу трудно дались несколько десятков шагов, что привели его от ворот к дому. Поднимаясь в спальню, он чуть было не смирился со своей немощью и не позвал на помощь жену. Но ей, как видно, пришлось не легче. Переводя дух, стараясь не показать, каких усилий стоят ему слова, он сказал:

- Куда я пойду? Мое место здесь, с тобой. Теперь мой черед тешить тебя воспоминаниями. Или если хочешь, я расскажу тебе о трехголовом Кербере, ледяном Коките и огненном Флегетоне.

Меропа оторвалась от окна и взглянула на мужа. Его глаза светились радостью. Плеяда по-прежнему не видела смысла в своем пребывании на земле и во дворце, где вот

уже третий день по-хозяйски гулял ветер, но вдруг поняла, что горевать ей больше не о чем. Неуверенно улыбнувшись в ответ, она повторила:

- Ничего нет в доме...

- Ничего нам и не понадобится, - отвечал ей Сизиф, - Мне нужно только обнять тебя, коснуться губами твоих губ и глаз. Я взял бы тебя на руки, но, боюсь, даже это мне больше не под силу.

* * *

Юноша, сидевший в дальнем углу спальни, положив стопу одной ноги на колени другой, облокотившись на эту вывернутую в сторону ногу и подперев голову, смотрел на широкую царскую кровать, где покоились, устремив к потолку закрытые глаза и держась за руки, царь Коринфа и его супруга. Сизые голубиные крылышки свисали с его круглой шапки, как наушники пастушьего треуха. Он постукивал коротким жезлом с витой рукояткой по ножке стула, но удары не производили звука. Прикосновение этого, поблескивавшего в рассветном сумраке жезла легко могло бы разбудить спящих, как и погрузить их в вечный сон, но Гермес медлил, размышляя о том, что же выгадал этот путаник, столь упрямо избегавший его покровительства.

Все потерял смертный, получивший некогда солидный довесок к своему земному сроку, сумевший затем овладеть незавидным положением, поставить себя в нужную позицию и в удобный момент возглавить царство, приобретший значительное богатство, а незадолго до кончины вознесшийся во владения духов благодаря ловкому обращению с ангелом смерти. Все пошло прахом, и даже слава его оказалась попорченной, хотя ничто в этой дурной славе не соответствовало правде.

Умея и самого мудрого обвести вокруг пальца, Гермес отнюдь не ради тщеславия демонстрировал людям свое могущество. Он засвечивал им путеводный маяк, указывая – куда нужно стремиться человеку. И мало в чем преуспели бы люди без этой способности вести счет и учет таким вещам, на которые внимания не обращал ни обыкновенный мозг, ни даже простиравшееся за его пределы всеведение богов. Тут-то как раз не было никакого волшебства. Неожиданными причуды Гермеса казались только ленивым умам, не желавшим трудиться над своим совершенством, полагавшимся в этой убогой жизни лишь на редкие озарения, быстро выдыхавшиеся. Этих бог удивлял немало.

Не было ему равных в неодухотворенной, не сбиваемой с толку пристрастиями и потому безграничной изошренности. И никому из людей и богов не бывало в иные минуты так скучно. О, какая скука владела в это утро мальчиком, бесцельно и беззвучно барабанившим своей золотой палочкой по ножке кресла в коринфском дворце. Но был бес-

смертным духом Гермес. Он не мог отчаяться и махнуть рукой на вечное свое предназначение. А посему не свойственны были ему ни мстительность, ни злорадство.

Прозорливости его с избытком хватало на то, чтобы оценить неуместность жить бывшей плеяды в отсутствие Сизифа, ради которого ею и было предпринято снисхождение. Ей не было пути обратно в созвездие сестер, как не было пути назад ничему и никому, однажды возникшему, но оставить ее в живых было бы сущей бессмыслицей, тем более, что и вдовье горе она уже испытала в полную силу. Вот только это и выгадал в конце концов бестолковый смертный – право уйти из жизни вместе со своей половиной. Что ж, это было в меру хитро, с этим можно было согласиться.

Стремительный как мысль и никуда не спешивший бог остановил короткие взмахи жезла и откинулся в кресле, положив инструмент жизни и смерти себе на колени. Он ждал, когда глубокий сон окончательно впитает в себя последние удерживавшие в жизни видения, мысли и чувства обессилевших душ.

Во сне Сизиф и Метропа были вместе. Они навещали Ферсандера и Алма в Фокиде, следили, как побеждают на ристалище в спартанском палестре Главк и Орнитион, заглядывали во двор его отчего дома в Эолии, и все это время Сизиф убеждал жену, что жить стоило, что они еще вернутся во все эти места и побывают во многих других, и что в конце концов им непременно станет известным, зачем им все это дается.

* * *

Печаль Незримого о неудаче еще одного из созданий его неисчерпаемой мудрости была так же велика, как и Его доброта. Но он и не заблуждался в том, какие усилия нужны, чтобы не только постичь истину, а пропитать ею каждую пору недолговечного человеческого естества.

На всемогуществе Создателя лежала метафизическая тень небытия. Она не была настоящей угрозой, ибо не существовало ничего, что могло бы отменить Бога. Он и был всем. Но помыслить о таком было всё-таки возможно, и возможность эта висела в вечности дамокловым мечом.

Ее не преодолеть было в едином безначальном бытии, где вопрос решался мгновенно и окончательно, и где в случае неблагоприятного решения оставалось только ничто, о котором сказать больше нечего. Но его можно было решить иначе в опыте дольней схватки со временем, для которой и потребовалось Создателю Его другое Я, схваченное материальной формой, обреченное погибнуть и наделенное волей всем этим пренебречь во имя жертвенной любви, опрокидывая таким образом власть небытия.

Этой твари все нужно было испытать, накапливая по зерну – не Его – свою, че-

ловеческую мудрость, чтобы все познав, совершить выбор. Он был отнюдь не предопределен, что и доказывало все длящееся и длящееся чередование бесчисленных поколений. И хотя риск был ничтожным, как риск самоубийства для здорового человека, обзаведшегося смертоносным оружием, Создатель рисковал остаться без ответной жертвы.

Дело осложнялось тем, что каждый из них оказывался наделенным умеренной частицей Его света, был смущен желанием совершенства, которое упорно путал с идеей завершенности, спешил дотошно узнавать не только то, что таилось в созданном вместе с ним мире, но и то, что находилось вне его пределов, и что нельзя было охватить умом, пусть и высочайше организованным для земного существования. Самые сильные могли этой завершенности достичь, так и не поняв, что у нее и смерти – одна природа, что они изменяли Вечности, предпочтя ей простую бесконечность временных свершений. Такие являлись в преддверие Вечности бесполезными, потерянными для нее душами, и требовалось бережно освобождать их от обольщения, чтобы вернуть им жажду истинного знания, которая вновь вела их к горькой, опасной, конечной земной судьбе. Свободные и просветленные, они вновь проникались любовью к творению и готовы были еще раз переступить порог различения, из-за пределов добра и зла ступить в царство судьбы, природы и алгоритма. Но тяжек был этот страшный, нисколько не легче смерти, переход, хотя и приблизительно, но недаром названный «грехом». И в облеченном плотью духе тускнело просветление, а любовь к Творцу ослабевала до неистовой, но переменчивой земной любви.

Человек забывал.

Начинало течь медленное время, и каждый день он ждал несчастья, не зная, как с ним справиться, не угодив в сети иллюзорного совершенства. Всеми силами души он тянулся к запредельным мирам, теперь уже их полагая спасением и высшей целью. Наиболее умудренным эти взмахи маятника представлялись основой мироздания, непостижимой мудростью Часовщика. И еще предстояло человеку убедиться в том, что никакого Часовщика нет, что маяту можно остановить безо всякого ущерба для мысли, что в полной тишине и неподвижности приоткрывается истинная загадка бытия и его отсутствия. Но убедить себя в этом он должен был сам, к чему и двигался наощупь, оступаясь и нанося себе глубокие раны.

Вот и этому сыну земли предстояло нести любовное наказание, каким-нибудь жестоким образом усваивая мертвящую природу бесконечности, пагубность стремления к завершенности и его ничтожную цену, с завистью наблюдая, как мир движется дальше. Запуталась и его небесная шалунья-подруга, которой тоже придется рассыпаться в звездную пыль. Нет, однако, силы, способной помешать этим пылинкам вновь отыскивать своими лучами грани Сизифова камня. И будет казаться ему, что камень становится легче.

Полный любви и сострадания к ним Незримый печалился, но не терял надеж-

ДЫ.

13.

Мне осталось лишь ответить на вопрос, возможно беспокоивший некоторых из вас: кто такой Артур, и какова его дальнейшая судьба? К сожалению, я не смогу этого сделать в полной мере, так как здесь кончаются права, и без того не слишком охотно предоставленные мне автором рукописи и действующим лицом вышеизложенной истории. Все, что мне позволено сообщить, сводится к следующему.

Артур – это, разумеется, не настоящее его имя – по завершении своего труда пришел к категорическому решению о невозможности для него использовать рукопись в каких-либо иных целях, чем те, которых он, как ему думается, достиг в процессе работы над ней.

После долгих уговоров он согласился передать ее мне вместе с некоторыми сопутствующими записями, предоставив свободу в обращении с последними и запретив касаться основного текста. Было и еще одно условие: приложить все усилия для того, чтобы ни единый штрих в описании его работы не давал возможности будущим читателям догадаться о происхождении автора, месте его обитания и прочих личных обстоятельствах. Надеюсь, мне это удалось.

Мы продолжаем поддерживать отношения, хотя с того момента, как судьба этого труда перешла в мои руки, мы, опять же по настоянию Артура, не возвращались более ни к каким подробностям, связанным с новой формой его существования. В том виде, в каком она представлена читателю, книга незнакома и ее подлинному автору, что полностью соответствует его желанию устраниваться от неё, как от предмета общественного интереса.

Суть моего посредничества я, с вашего разрешения, оставляю при себе.

Послесловие

Е. Г. Рабинович

Позволю себе начать с пустячного напоминания: это – послесловие, а значит, если читатель почему-либо решил начать с малого, с этих вот нескольких страниц, а большое, роман «Сизиф», отложить на потом, он использует послесловие как предисловие, хотя послесловие потому и после, что адресовано тем, кто уже успел прочитать основной текст, а не готовится, как читатель предисловия, к нему приступить.

«Сизиф» Алексея Л. Ковалева в предисловиях не нуждается – как и преобладающее большинство произведений, написанных по-русски и сейчас, а стало быть, не отделенных от нас ни пространственно-временными, ни языковыми барьерами, преодолеть которые и призвано помочь предисловие. «Сизиф» к тому же в полной мере наделен требуемой от хорошего рассказа самодостаточностью: все, что нужно знать и понимать, сообщается и объясняется прямо в тексте. Короче, в мысленном книжном шкафу «Сизифа» можно и нужно ставить на полку современного русского романа – он свое место там заслужил. Некоторые тексты, однако, стоят в этом мысленном шкафу на двух полках сразу, как историческая беллетристика, чье место оказывается рядом как с беллетристической неисторической, так и с историческими трудами, числящимися по ведомству уже не занимательности, но познавательности, хотя о Мак-Грегорах или о Луизе де Лавальер мы если что-то знаем, знаем обычно из романов. Греческие мифы мы тем более знаем почти исключительно из художественных произведений, созданных древними авторами на мифологические сюжеты, хотя есть на этой полке место и для книжек поновее, в том числе и для «Сизифа»: наша культура находится с культурой классической древности в отношениях столь тесного преемства, что некоторые традиции оказываются сквозными – как биографическая, например. И тем более как традиция рассказывания мифов.

В науке мифом называется не только рассказ о том или ином событии одного времени, когда мир был молод и способен к превращениям, но и космологическое представление, лежащее в основе умозрительной картины космоса и (весьма косвенно) связанное с таким рассказом – связи эти отыскивают, обычно без особого успеха, лишь специалисты. Сами греки называли мифами только рассказы («миф» и значит «рассказ»), зато никаких ограничений способу и объему повествования не делали: драма, стихотворение, притча, эпическая поэма – в общем, любой текст мог иметь и очень часто имел мифологический сюжет и был, следовательно, версией мифа. Притом все эти тексты были по сути своей равноправны, хотя, конечно, как любые тексты, различались авторитетностью, которая

могла быть общепризнанной, но никогда не бывала непрекаемой – всякий миф, хотя бы то был миф о гневе Ахиллеса, Пелеева сына, всегда можно было рассказать по-другому. У софистов, начиная с собеседника Сократа Горгия, такое переименование было в моде, называлось «парадоксом», и Дион Хрисостом, например, через полтыщи лет после Горгия доказал, что Троянскую войну выиграли троянцы. Правда, парадокс числился по ведомству риторики (Дион доказывает, а не рассказывает), но любой миф, будучи по природе этиологичен, то есть повествуя о событиях, определивших во время оно структуру и функционирование сегодняшнего космоса, естественно способствует рефлексии – недаром философы часто подкрепляли рассуждения мифами, а то и сами их сочиняли, как Платон.

Конечно, в большинстве случаев мифологическая рефлексия отчетливо отличалась от мифологического повествования, поначалу в основном поэтического, а с распространением учености приобрел также форму, которую уместно назвать энциклопедической. Вот, скажем, у Гомера похищенная Парисом Елена живет в Трое, а у Еврипида Парис увез в Трою лишь ее призрак, а ее самое боги перенесли в Египет – но каждый поэт из имеющихся вариантов мифа выбирает один (часто им же самим доработанный) и затем следует уже только этому варианту. А ученый автор какого-нибудь из компендиумов, оставшихся нам в наследство в основном от римского времени, обычно знает все варианты и вполне может рассказать о Елене, что «соблазненная Парисом она бежала с ним в Трою, хотя иные утверждают, будто она была перенесена в Египет, а Парис тем временем...» – и так далее, порой вплоть до «а жители такого-то города говорят», и тут до нас долетает то ли отзвук устного предания, то ли пересказ праздничной речи гастролирующего софиста.

В древности эта энциклопедическая премудрость числилась в основном по ведомству грамматики (растолковывания текста) и имела тенденцию к тематической специализации, так что сочинения, посвященные мифам, называются обычно мифографическими, а их авторы – мифографами. Писали мифографы о многом, но кратко: в «Мифологической библиотеке» Аполлодора говорится, например, что «воротясь в Микены с Кассандрой Агамемнон был убит Эгисфом и Клитемстрой», а Эсхилу этого хватило на целую трагедию – зато книгу Аполлодора до сих пор можно использовать как очень хороший справочник. В рассуждения мифографы вдавались редко и рассуждали не особенно складно: так, Палефат в своей коллекции «невероятного» сначала, как положено, кратко пересказывает миф – скажем, что Ниоба от горя превратилась в камень, – а затем столь же кратко объявляет, что подобное совершенно невероятно, а просто, мол, над могилой

погибших детей поставили каменную статую скорбящей матери, вот потом и вышла путаница. Но Палефат нетипичен: мифографу полагалось просто собрать и представить в удобном для читателя виде максимум релевантной информации, а критика ее числилась по ведомству риторики и философии. После этих необходимых пояснений можно вернуться к «Сизифу».

Никакой поэмы или трагедии никто из древних о Сизифе не оставил, даже у мифографов о нем мало, а в итоге про «сизифов труд» знают все, а за какие-то грехи приходится тому катить в гору свой камень – тут сведения скудны и разноречивы (так же, кстати, обстоит дело и с другим преисподним страдальцем, Танталом, чьи «танталовы муки» тоже всем известны, а чем он их заслужил – тут сведения опять-таки скудны и разноречивы). Правда, греческие мифы не исчезали из тематического репертуара европейской литературы ни на миг, ибо всегда хуже или лучше изучались в школе, а потому мифологические сюжеты и образы шли в ход постоянно и сочинить, например, трагедию об Ифигении или оперу об Акиде и Галатее всегда было делом вполне естественным. Когда главным жанром сделался роман, не сдавший своих позиций до наших дней, постепенно и он обогатился греческим мифом – прежде всего, конечно, благодаря «Улиссу», написанному на сюжет «Одиссеи», но насыщенному современными автору персонажами и образами. Однако новоевропейскими авторами миф традиционно использовался, если вообще использовался, в своей более или менее хрестоматийной форме, будучи так же обязателен для узнавания, как «сизифов труд» и «танталовы муки»: ведь и «Улисс» адресован тем, кто хорошо помнит «Одиссею» Гомера, а рассказывать нам о настоящем Одиссее Джойс не собирался. А вот «Сизиф», хоть в нем и имеется современная сюжетная линия, написан о том самом – настоящем – Сизифе.

В XX веке есть примеры и такому и прежде всего «Иосиф и его братья» – не греческий миф, но действительно рассказ про того самого Иосифа, так как Томас Манн не использует библейский сюжет в качестве метафоры современной ему реальности, но добросовестно исследует именно реальность того времени. Однако, как ни немногословна Книга Бытия, об Иосифе там говорится довольно подробно, и эту основную сюжетную последовательность Томас Манн не нарушает ни на йоту. Про Сизифа так написать нельзя, тут опереться не на что, приходится все сочинять самому – хотя непременно из готовых сюжетных элементов, иначе получится уже не про настоящего Сизифа.

Вот так-то Алексей Л. Ковалев собирает все, что древние написали о Сизифе, а кстати

о его родне, о его жене, о Коринфе и о царях Коринфа – в общем, собирает всю релевантную информацию, пусть неизбежно фрагментарную и противоречивую, раз о Сизифе, как сказано, не было ни единого связного повествования. Однако мифограф, если уж передает все варианты мифа, не старается их примирить, а в «Сизифе» не так: иные версии автор отвергает, хотя всегда с объяснением (скажем, с чего это люди вдруг решили, будто Сизиф был незаконным отцом Одиссея), а иногда примиряет – и тоже с объяснением (скажем, как же вышло, что сын прародителя Эола, оказался почти одних лет с отцом Одиссея Лаэртом), и если объяснениям первого типа еще бывают параллели в мифографии, то объяснения второго типа – удел софистов. Уже упоминавшийся Дион Хрисостом доказывает, что троянцы выиграла Троянскую войну, именно на основании противоречий предания: вот, например, как известно, по завершении войны лишь у победителей является возможность основать новые города, а после Троянской войны новые города почему-то основывали как раз троянцы, недаром Эней стал праотцем римлян... и так далее. Миф здесь преобразуется уже на концептуальном уровне, и у Диона концепция парадоксальна, потому что на самом деле Троя все-таки была сожжена, а в «Сизифе» концепция не парадоксальна, потому что все важные события того времени остаются, какие были, и лишь само время лишается привычной линейности, ветвясь на разноприродные потоки и впадая в вечность, где все случается одновременно, что тоже в известном смысле есть свойство того времени.

Потому-то не только к пишущему о Сизифе депрессивному американцу его герой то и дело заходит с того света поболтать, но и в основном сюжете романа живой Сизиф не раз встречается с неким фракийцем Гилларионом, пророком и целителем, до странности похожим сразу на двух св. Илларионов – на знаменитого ученика св. Антония и на «местночтимого» далматинца, в честь которого назван замок близ Дубровника и вино «Святой Илларион». Отсюда отнюдь не следует, будто в «Сизифе» язычество меркнет под сенью христианской идеи, – никоим образом, просто есть в романе фракиец Гилларион, пророк и целитель, причастный вечности, которой причастен и Сизиф, а что был потом в тех краях другой Гилларион, а скорей всего тот же самый, так это уж свойство вечности, где все происходит одновременно. Или вот поминается в «Сизифе» коринфянин Басс, хотя имя у него римское и все известные Бассы были римляне – кроме одного, как раз коринфянина, жившего при Флавиях и вызвавшего к себе лютую ненависть Аполлония Тианского, вместе с которым он таким образом и вошел в историю. Трудно поверить, будто в «Сизифе» выведен тезка того Басса, скорей всего это он и есть, хотя с Аполлонием пока и не знаком. Автор навряд ли рассчитывал на читателя, исправно вспоминающего ad hoc местночтимых далматинцев и зложелателей божественного любомудра – да и я

поминаю тут о них лишь затем, чтобы нагляднее продемонстрировать извилистые русла текущих из вечности и в вечность хронологических потоков. Впрочем, как сказал тот же Аполлоний, «не только очам нужно солнце, но и солнцу очи», а стало быть, расчет на читательскую память или дотошность, если был, оказался не вовсе напрасен.

Итак, собрав все имеющееся на манер грамматика-мифографа, автор придает этому разноречивому изобилию новую концептуальную связность, то есть работает уже как софист, но и этим не ограничивается – в книге немало космологических рассуждений, не уступающих занимательностью сюжету, органично в него вплетенных и часто весьма остроумных, как, например, о творении (с. 81). Между тем рассуждения о космосе числятся по ведомству философии, а если философ вдобавок что-то рассказывает о богах и героях, рассказы эти (Платон называл их дидактическими мифами) не обладают независимой повествовательной ценностью, но лишь иллюстрируют общую концепцию, как миф о пещере иллюстрирует в «Государстве» учение об идеях. В сущности, сказанное в «Сизифе» тоже можно при желании считать иллюстрацией концепции разноприродного времени, доступной отдельному изложению, – ведь и учение об идеях можно изложить безо всяких пещер, как обычно и делается в учебниках философии.

В середине XX века Тойнби, убедительно опровергая опыты уподобления древней и нашей цивилизаций, начал с Плутарха: сам по себе он вроде бы типичный «викторианец», но отсюда никак не следует, будто можно уподобить его эпоху викторианской. Очевидно, однако, что частные сближения (например, Плутарха с викторианством) вполне возможны и, наверно, применительно не только к одному автору, но иногда и применительно к одной книге, – и «Сизиф» довольно отчетливо ассоциируется с эпохой, когда теоретическая космология все теснее сплеталась с космологией мифологической, а философия и вообще все, имеющее какое-либо отношение к мифам, чаще называлось богословием, потому что так или иначе речь там шла о богах. Другое дело, что, как у Плутарха нет определенного викторианского двойника, так и у «Сизифа» нет определенного аналога среди сочинений греко-язычных граждан Римской империи, уже почти готовой сгнуться под натиском исторической необходимости, и вот тогда-то, сознательно или бессознательно ощущая этот натиск, последние эллины сберегали драгоценную для них традицию, превращая чуть ли не каждую книгу в своего рода итог и синопсис этой традиции – чего только нет, например, в комментариях Прокла к «Тимею».

Также и в «Сизифе» текст густо насыщен традиционными мифологическими сюжетами, неизбежная противоречивость которых примиряется в софистическом духе,

иногда на манер Горгия или Еврипида: эти двое, Горгий в парадоксе и Еврипид в драме, пытались оправдать легкомыслие Елены, а в «Сизифе» задача труднее – представить детоубийство Медеи неким вариантом трогательной истории награжденных ранней смертью Клеобиса и Биттона (о них рассказывать не стану, оба есть во всех словарях), хотя в конце концов у царицы Коринфа остается слишком много общего с самой знаменитой из Медей, Медеей Еврипида, потому что все равно она убила – не детей, так родного брата. Софистическое примирение разноречивых версий мифа само по себе создает увлекательные сюжетные повороты, даже более увлекательные, чем оправдание Медеи, но это, как сказано, не мешает автору время от времени отвлекаться – иногда очень надолго – на рассуждения, например, о богах вообще и об иерархии богов в частности. А почему бы и нет? Вот ведь Платон в знаменитом Седьмом письме рассказывает «друзьям и родичам Диона» о своих отношениях с двумя сицилийскими тиранами, но это не мешает ему надолго отвлечься, чтобы объяснить про Единое и про Благо – и это важно, потому что лежит в основе всех событий, включая и политические интриги. Порой автор «Сизифа» отвлекается и на варварские предания – о том, например, как халдей Авраам готов был принести в жертву родного сына, и тут трудно удержаться от слова «элегантно»: действительно, к скольким бы Сизиф ни принадлежал поколениям, до Троянской войны он не дожил и никак не мог знать о жертвоприношении в Авлиде, а история такого жертвоприношения по ходу рассказа была нужна, и вот единственной подходящей оказалась история об Аврааме – элегантный прием, хотя не знаю, насколько осознанный. Вообще при чтении романа часто кажется, будто автор погружен в миф настолько глубоко, что на многое смотрит словно бы изнутри мифа, и это наверно иногда усложняет текст, но несомненно всегда его обогащает.

Современный роман не следует жестким жанровым нормам: романом разрешается называть любой прозаический текст солидного объема, а внутри может содержаться хоть детектив, хоть автобиография, хоть запись своих и чужих сновидений. Хоть миф. В этом смысле тот факт, что «Сизиф» очевидным образом является романом, вовсе не мешает ему быть также и мифом о Сизифе. А так как другого мифа о Сизифе попросту нет, этот мог бы, пожалуй, занять пустующее место – вот только для вхождения мифа в культурный обиход должны забыться и книга, и ее автор, и самая мысль, что кто-то когда-то все это сочинил, а кто-то прочитал, а потому не нам судить, ждет ли «Сизифа» столь славное забвение.

Notes

[←1]

* Антонин Либерал